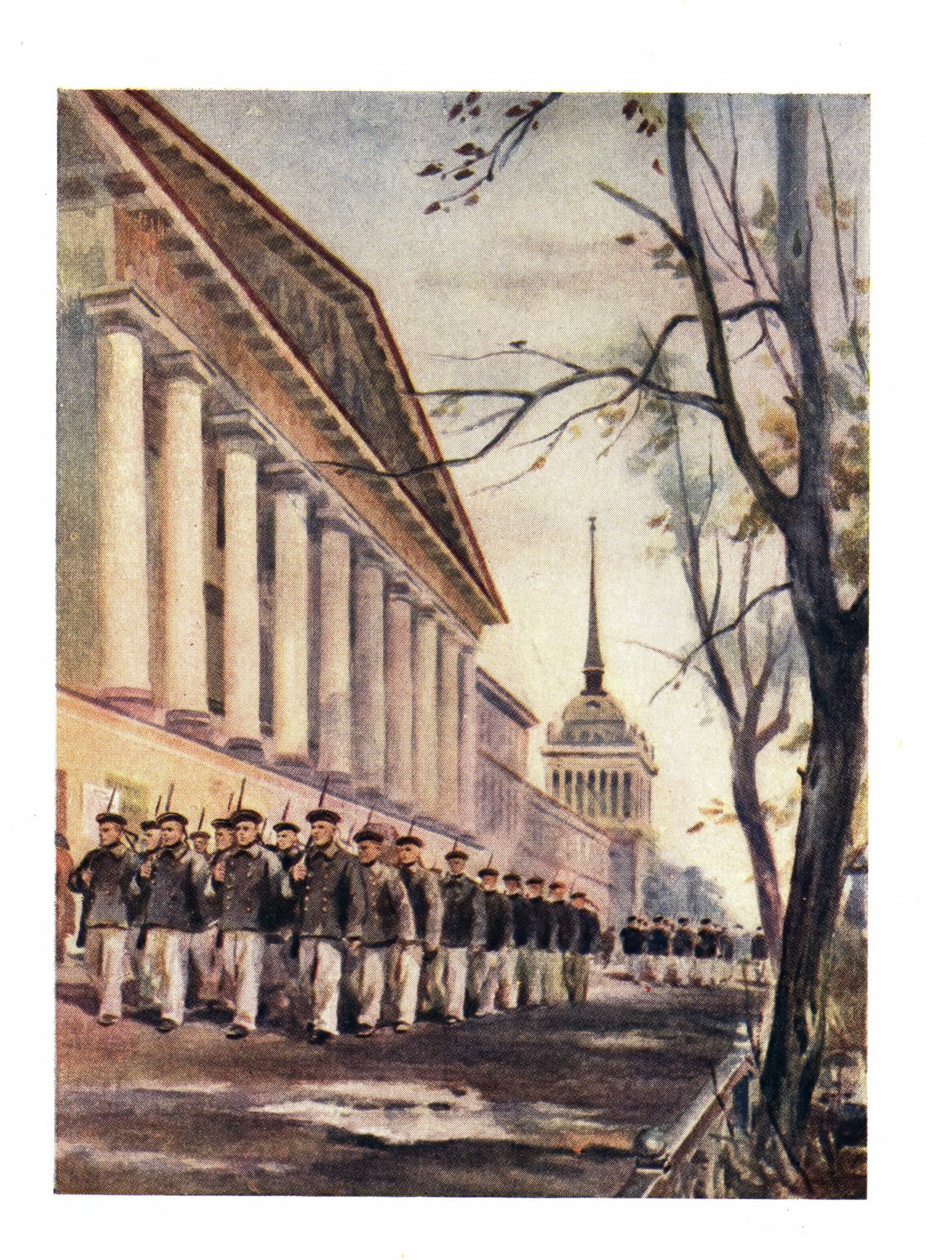

Г. Шеин
БУДНИ
Молодая гвардия
1954



Г. ШЕИН

БУДНИ

РОМАН

С[redacted]

Б. М.

Издательство ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
1954

В морозах и вьюгах проходила зима 1921 года. Мрачный зарылся в снег провинившийся Кронштадт, накрывшись серым низким небом. Пустынно на острове. Лишь ветер обжигает ледовым дыханием да поет свою однообразную, тоскливую песню.

Прижавшись друг к другу, стынут в гавани полузатопленные корабли. Словно хрустальный лес, причудливо высится обледенелый такелаж. Без тепла и света остались суда. Не дымят трубы. Не шумят машины. На бортах крейсеров, словно на утлых лайбах, подвешены скворечни-гальюны. Желтыми пятнами ржавчины наследила разруха всюду.

Не слышно разноголосого перезвона рынд, не играет горнист, не торопит боцманская дудка команду, и чадит жизнь на кораблях, как чадят трубы «буржуек», выставленные в иллюминаторы.

Спит военная гавань. Дремлют израненные, покинутые корабли, храня в своей памяти былую славу. Все замолкло в немом оцепенении. Только вьюга одна хороводит по палубам, наметая на опустевшие барбеты сугробы.

Флот отдал все: пушки, снаряды, уголь и, наконец, силу свою — людей. Разметало штормовое время моряков по необъятному русскому берегу.

В суровой борьбе гражданской войны славит имя свое бесстрашное морское племя.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Голодные, злые, в грязи и копоти ввалились на корабль моряки. Долго возились у замка, открывая кормовой люк. Толкая друг друга, озорно ругались.

На форту рвались минные погреба. Был общий гарнизонный аврал. Несколько дней продолжался пожар и взрывы. Кронштадтские домики вздрагивали, словно от землетрясения. Команды судов пропадали на заливе. Люди шли к минам, растаскивая их баграми, проваливались под лед.

Пожар на форту ходили тушить все, повесив висячий замок на входной люк. На аврале потеряли троих, остальных — ничего, так, поцарапало... А этих, Степана Гаева, кочегара, — хороший парень был! — Родиона Нечаева, минера, и брата его, Василия, сигнальщика, по второму году служил, стукнуло, да так, что и собирать было нечего.

Спустившись в палубу, люди бросились к холодной «буржуйке», скидывая с себя обледенелые, хрустящие робы. Старик-боцман разжег печку; зашумело пламя, захрустели трубы, и скоро стало тепло. Все расселись у огня, оттирая обмороженные руки и ноги.

Машинист Гулай, по-хозяйски закрыв люк, спустился с трапа, бросил на стол мерзлую ковригу черного хлеба. Худой, высокий, крепкий, как перлинь, он прошел вглубь, придерживая поврежденную руку. Гулая за его высокий рост звали в команде Длинный Степан. Дали ему эту кличку еще и потому, что было на корабле три Степана: Степан Гулай, Степан Тихомиров и Степан Гаев.

— Эй, Влас, дели на всех! — сказал Длинный Степан, снимая с себя сапог. — Заработали, кровное.

Он крякнул, поежился от боли, швырнул сапоги к печке.

Кочегар с прядью седых волос подошел к столу. Он поднял буханку, повертел ее в руках, словно взвешивая, вынул спичку, переломил надвое и стал размерять ею доли, отмечая порции грязным ногтем на корке.

Небольшая команда корабля жила на корме в бывшем адмиральском салоне, полукруглой каюте из красного дерева. Между роялем (адмиральская забава!) и книжным шкафом стояла на кирпичах «буржуйка» с подвешенными к трубам консервными банками. Старинный шкаф русской работы был сделан словно из кружева; в нем стояли бутылки, котелки и валялась всякая ветошь. Под круглым столом лежали шлюпочные доски и куски каната, нарубленные в запас для топлива. Кожа с тяжелых, уютных кресел — черная, с золотым тиснением — была срезана на подшивку валенок. Посредине висел, покачиваясь, фонарь, тускло освещая сквозь закоптелые стекла мрачную, покрытую инеем каюту.

Жара разморила уставших моряков, и они разошлись по койкам, лениво переговариваясь.

— Мы на палубу, — рассказывал Травин, — а зарево во какое! Искрой так и сыплет, то тихо, то как саданет!.. Снег на заливе черным стал.

— Да, было... — проговорил боцман вздыхая.

Травин тупым ножом кромсал хлеб.

— Отчего бы это? — спросил Голиченко, подбирая из-под ножа хлебные крошки.

— Поджег кто-нибудь, а может, так, — сказал Сафонов.

— Поджег? — переспросил Голиченко, точно испугавшись.

— А может, и так... — продолжал Сафонов, — это бывает. Мне старый минер рассказывал: «Лежат, лежат, — говорит, — и начнут лопаться»...

— Дальше-то что, Влас? — интересовался Голиченко.

Вестовой Голиченко был посыльным при коменданте города и не принимал участия в аврале.

— Ну, так вот, — продолжал Травин прерванный рассказ. — Нечаев-то будит меня и говорит...

Травин вдруг оборвал рассказ и резко ударил по руке Голиченко, который за разговором хотел незаметно стянуть ломоть.

— Ты смотри, рожа, — сказал он, грозя ему кулаком и ближе к себе подвигая хлеб. — Разбудил он меня, — продолжал Травин, придавая своему лицу таинственное выражение, — и говорит: «Слышишь, будто борта зудят?» Прислушиваюсь. Верно. Ну, выскочили на палубу, а там как трахнет!.. Потом опять нет ничего. Потом снова как хлобыстнет!.. У-у-у!.. Глядим — и разобрать ничего не можем: весь залив в огне...

О том, как рвались старые мины, подымая в небо глыбы земли и дикие камни форта петровской кладки, говорили долго.

Гулай рассказывал, как на северной стороне, где огонь был сильнее и взрывы чаще, они — человек десять было — выволокли по жидкому месиву снега через огонь и чад штук двести рогатых «шариков».

— Одна как ухнула — меня в сторону, лицом в лед. Загудело в голове, и ничего не помню. Очнулся — вокруг никого, все под лед ушли, только бескозырки буйками в полынье плавали...

— Много погибло, — проговорил тихо Терентий Ильич не то сам себе, не то соседу своему, Самбурскому.

— Я тоже было полез сдуру на северную, — сказал Самбурский, — да на счастье раненый подвернулся, пришлось доставить. А вот поначалу прожег дыру. — Он хотел еще что-то сказать, но не сказал, а только показал прожженный бушлат.

Самбурский, Голиченко и боцман сидели за столом, громко прихлебывая кипяток; однорукий Тихомиров сидел у печки, читая книгу, остальные лежали на койках.

Правую руку радист Степан Тихомиров потерял в начале года, когда вместе с делегатами партийного съезда шел на мятежников. С корабля он не списывался, — некуда было. В радиорубке делать было нечего. Иногда он стоял вахту, нес наряды, а больше читал.

— Дай покурить, Серега, — сказал он, обращаясь к Самбурскому.

Самбурский не отвечал.

— Дай, — повторил однорукий.

— Нету, чего привязался!

— Эх, сука, не жизнь, — проговорил Степан с досадой.

Он поднялся, потянулся и резко швырнул книгу.

— Чего психуешь? — спросил Самбурский.

— Ведь есть у тебя, дай!

— Ну, заклянчил, мало ли что у меня есть!

— Одолжи щепоточку, — молит Тихомиров. Голос его срывается, и он начинает кашлять, долго, болезненно, с надрывом.

— На хлеб сменяю, хочешь? — предлагает Самбурский.

Радист соглашается.

Самбурский долго выбирает хлеб, ощупывая каждый кусок; наконец, выбрав, прячет его в карман.

Трубка набита. В ней теплится вонючая, пополам с опилками, трава. Степан жадно курит, наслаждаясь едким дымом. Голиченко заискивающим голосом обращается к Степану и просит «курнуть». Травин, приподнявшись на койке, заказывает оставить. Кочегар Сафонов — тоже. От одного к другому переходит трубка по кругу и возвращается к радисту уже пустой и чуть теплой.

— Пожрать бы сейчас, — говорит Голиченко, продолжая пить кипяток. Ему никто не отвечает. Тогда он обращается к Травину:

— Влас, а Влас — ты не спишь?

— Ну, что тебе, — отвечает тот нехотя.

— Я говорю: пожрать бы...

— Э, ну тебя!..

— Вот если бы рояль этот или шкаф, к примеру, были бы из хлеба или бы из говядины, — мечтает он вслух, — вот бы я наелся!..

Голиченко долго говорит о еде, перечисляя блюда.

— Перестань, чего травишь? — прервал его Влас, натягивая на голову одеяло.

— Эх, нашего бы деревенского, с поджаренной корочкой! — не унимается Голиченко. — Или сала. Влас, ты хотел бы сала? Чуть розового, знаешь? Возьмешь его в рот, а оно тает...

— Иди ты к чорту! — раздается в ответ из-под одеяла.

Голиченко замолк. Выпив еще кипятку, он приворачивает фитиль и забирается на койку.

Наверху, над головой у трапа ходит вахтенный. Снег скрипит под его ногами. Нынче стоит «собачку», ночную вахту, инженер-кораблестроитель Преображенский. Это он ходит по полуюту, волоча свои усталые ноги. Скрип мешает спать Голиченко, он ворочается с боку на бок, ругая инженера.

После бессонных ночей, проведенных на заливе, старика знобит, и ему хочется спать. Тяжелая овчина давит на слабые плечи. Шквальный ветер сбивает с ног, швыряя в лицо колючим снегом. Метет вьюга. Ветер воет в снастях, где-то щелкая сорванным чехлом.

Давно ночь. В салоне мигает фонарь, готовый погаснуть. На столе в желтом круге света лежат три куска хлеба. Влас по привычке разделил на одиннадцать порций. Все заметили ошибку Власа, но никто не сказал.

II

Снова вечер, и снова горит печка. Жаром пышут ее раскаленные до малинового цвета стенки. Каждый занят своим делом. Старый инженер просматривает «Ниву». Самбурский, молодой вихрастый сигнальщик, с Травиным забивают «козла». Игра сопровождается выкриками, отчаянным стуком и руганью. Играют на «лимоны», на хлеб, на робу, на вахту...

Вестовой Голиченко, свесив ноги с койки, латает брюки.

— Вот раздолье, а не житье было! — говорит он. — Каждый божий день тебе чарочку, щец, кашки...

— Погоди, не все прозябать, будет и чарочка, — отвечает боцман, не отрываясь от своей вязки.

— Что, старик, будет, говоришь? Врешь, не верю.

Голиченко надкусил нитку, шмыгнул носом, сплюнул.

— А раньше, — продолжал он, — потрафил его благородию — тебе за усердие... Выпьешь за его здоровье — она по нутру огоньком разольется. Благодать!..

Голиченко чмокнул языком и от удовольствия закрыл свои маленькие глазки.

— А помнишь, Глеб, как его благородие по твоей нешабренной морде благодать разливало? — спросил Длинный Степан.

— Э, не бреши, то редко бывало, — возразил Голиченко. — А когда и случалось, так за дело. — Он вдел новую нитку, завязал узелок. — Меня когда-то сам вице-адмирал покойник Александр Александрович съездил, — с гордостью произнес Голиченко. — Мне тогда, кроме почета, старший офицер еще денег дал, да три дня велел допьяна поить. Просплюсь бывало, а мне: «На, пей, Голиченко, молодец!» Так неделю и пролежал в буфетной в хмелю и не заметил, как глаз прошел. Это ты, Длинный, забыл?

— Как забыть! Помню...

— То-то, что помню! Не подвернись тогда моя рожа, был бы нашему командиру Рудольфу Францевичу, капитану второго ранга, «фитиль». Ну, а он на мне выкипятился — и все в порядке. После адмирал у офицеров за меня прощения просил. «Извините, — говорит, — господа, погорячился». Это мне Семен наш, старший буфетчик, сказывал. Помнишь Семена-то, рыжий такой был?

— Странный ты человек, Голиченко, — сказал Травин.

— Чего?

— Врешь ты все, — ответил кочегар.

— Не веришь? Ей-богу, правда! Вот хоть провалиться мне на этом месте!

Длинный Степан перебил его:

— Перестань, ты. Зачем мерзость всякую несешь? — И, обращаясь к боцману, спросил: — Не пора ли, старик, вахту менять?

— А и правда, братва, чья очередь?

— Власа, он давно не стоял, — сказал Самбурский, пристукивая фишкой.

— Ну, ну, я вчера собачил.

— Тогда Гулаю, — продолжал Самбурский.

— Чего мелешь, я тебя до восьми менял.

О том, кому заступать, спорили долго, перебирая каждого. Все отказывались. Вахтенный несколько раз спускался в салон, требуя себе смену. Наконец он не выдержал, сбросил с себя овчину и присел к печке, дуя на руки и поеживаясь.

— Ну, тогда Голиченко... Голиченко, тебе, что ль? — спросил Терентий Ильич.

— Ну, мне, — нехотя отозвался тот. — Разорались!.. Поди о деле...

— А молчишь, дьявол!

— А я что, сам набиваться стану? Может, вы кого другого пошлете.

Игра кончилась. Самбурский спрятал выигранные деньги, улыбнулся, вынул из кармана письмо.

— Ну вот, хотя бы отсюда, — проговорил он, найдя нужное место. — Послушай, братва, наше внутреннее экономическое положение: «Положение у нас вот уже вторую весну тяжелое, — читал он, — неурожай, скот пал. Народ в уезде против совдепа шалит... Как жить будем — не ведаю. Сестра твоя — царство ей небесное! — еще на Покров преставилась. Я тоже на краю могилы. Торговлишки нет... Когда же наста-

нет раскрепощение?» — Самбурский совсем тихо произнес последнюю фразу и, посмотрев по сторонам, кончил читать.

Все сидели молча, опустив головы. Стало как-то тоскливее и мрачнее в салоне.

— Да, как жить будем? — повторил Терентий Ильич. — Тяжело народу. Подумаешь — страшно становится.

— Верши ставишь? — спросил Гулай, обращаясь к Самбурскому. — Да караси твои повывелись.

— Чего? — зло спросил Самбурский, укладываясь на койку.

— По роже, говорю, видать, что Сазоном звать...

Заговорили о голоде в Поволжье, о Махно, бежавшем в Румынию, о царских долгах, которые надо платить буржуям, о восстании белых в Карелии. Говорили о крестьянстве, разрухе, о своей жизни здесь и мировой революции.

Голиченко собирался долго. Он бродил по салону. Лениво посапывая, переобувался, перевертывал с ноги на ногу портянки, затыкая дыры валенок ветошью. Потом гремел замком у своего рундука. Наконец, когда на него цыкнули, ругаясь, вышел.

Наверху было тихо.

Медленно падал снег. Голиченко раз-другой прошелся вразвалку по юту, заметая рваным тулупом свои следы. Он подумал о еде, проглотил слюну, выругался и, запахнувшись с головой в овчину, привалился к люку и вскоре захрапел.

На восточном берегу острова на отмели валялась груда кораблей. Их много здесь, разных. Без труб, без мачт, наполовину затопленные, погруженные под лед. Это прикол — корабельное «кладбище». Иногда по обледенелым трапам, по холодному телу судов, прокладывая себе путь топором и ломом, бродят, озираясь, люди. Тогда скрипят ржавые петли люков, трещат перекошенные двери кают.

Рыщут люди повсюду, обстукивая переборки и палубы.

Под огнем фонаря искрится иней. Гулко стучат шаги: бум, бум, бум...

Самбурский ловко поддел крышку люка крюйт-камеры * и юркнул в люк. Сафонов, закутанный в башлык, поддерживает крышку. Он ежится, стуча зубами. Дрожь пробегает по всему телу от страха и холода. Он слышит в трюме гулкие шаги своего друга. Слышит, как трещит под ногами лед. От

* Пороховая камера.

холодной крышки, которую он держит, коченеют пальцы. Вдруг что-то загудело, протяжно и звонко, как будто кто ударил по гитаре.

— Давай сюда, Колька!

Голос Самбурского ухает по мертвому кораблю, словно в бочке.

«Смелый он, — думает Николай. — Полез туда один. Я бы не мог».

— Колька-а-а!.. — загудело снова.

Сафонов осторожно опускает крышку, щупает ногой трап и медленно задом спускается по нему на четвереньках.

У основания грот-мачты, согнувшись над ящиком, стоит Самбурский.

— Эй ты, шевелись! — говорит Сергей, подавая Николаю фонарь. — Держи-ка вот. Свети сюда. Так! Посмотрим.

Самбурский подсунул под доски лом, нажал; гвозди, отдираясь, взвизгнули. Когда разорвали слои промасленной бумаги, в ящике блеснула граненая синева наганов.

— Какого мы с тобой леща выловили! — проговорил Самбурский ухмыляясь. И он замурлыкал свою любимую песенку:

Я сел на лавочку и вспомнил Клавочку...

Чуть брезжил рассвет. В синем небе гасли звезды.

Самбурский и Сафонов возвращались крадучись. Взойдя на сходни, Сергей приложил палец к губам и кивком головы показал на вахтенного. На юте, похожий на снежную бабу, весь занесенный снегом, прислонясь к люку, спал Голиченко.

III

Утро и часть дня Самбурский проспал. Встал поздно. На корабле никого, кроме безрукого Степана, не было. Вся команда «Совета» была в расходе, на берегу. Работали в арсенале. По случаю субботы работу пошабашили раньше. Первым возвратился на борт Голиченко.

Самбурский встал с койки и за нуждой поднялся на верхнюю палубу. Спускаясь по трапу, он увидел Голиченко, стоявшего у чужого рундука.

— Смазал что-нибудь? — спросил он, оглядывая Голиченко.

— Я ниток хотел, — как ни в чем не бывало ответил тот.

— Ниток, говоришь? А это что у тебя? — и он ткнул пальцем в набитую пазуху Голиченко. — Показывай, чего стя-

нул! — и вытащил из-за ворота Глеба фланелевую рубаху. — Воруешь, нечисть, друга позоришь? У-у!.. — выкрикнул он, замахнувшись. — Чья роба? — спросил Самбурский строго, ударив в лицо краденым.

— Не знаю...

— Вот дать по форштевню! — сказал Самбурский.

Голиченко стоял съежившийся, жалкий. Он молчал, насупив брови, опустив голову.

— Положи, где лежало, гад! — и Самбурский швырнул фланелевую.

Голиченко, озираясь, быстро подхватил рубаху, свернул и положил в рундук.

— Застукаю еще когда, — продолжал Самбурский, — головой ответишь!..

Наверху послышались шаги. Люк открылся. Самбурский прервал разговор.

— Значит, ты вахту за меня постоишь? — спросил он, меняя тон голоса.

Возвратившись с работ и быстро похлебав похлебку, команда засуетилась, готовясь к увольнению в Питер, чтобы засветло перейти залив.

— Одолжи сапоги, дай уволиться, — приставал Травин к Гулаю необычно ласковым голосом.

— Он мне обещал, — проговорил Сафонов.

— Слабоват больно мои сапоги таскать, — ответил Длинный Степан, торопливо хлебая.

— Я тебе махорки привезу, — проговорил Сафонов

— На кой? Я сам в Питер топаю.

Команда обносилась, робы не хватало. Пара сапог приходилась на троих. На берег увольнялись по очереди.

— Всем уволиться я не позволю, — сказал инженер Преображенский, обращаясь к возбужденным парням.

— Это почему? — спросил Самбурский.

— Не положено, устав.

— Это верно, братва, — сказал Самбурский, ухмыляясь и подмигивая.

— Брось, богородица, не трави! — выкрикнул Голиченко, стряхивая перед лицом кораблестроителя свои брюки.

— Неладно, товарищи, кораблю без команды, — вмешался боцман. — Невесть что случится, тогда что?

— Ты, старый, помалкивай.

Братва «драилась», не обращая внимания на увещевания стариков.

— Дело говорит инженер, — продолжал Терентий Ильич.— Кто стоять вахту будет!

— Закройсь, боцман! Невелика беда, если на дно пойдете.

— Ой, Серега, довертишься! Попадешь жизни в лапы, смотри, попадешь!..

— Ты, кранец дырявый, уж не грозишь ли мне? — спросил Самбурский, резко взмахнув рукой перед лицом боцмана.

Боцман вздрогнул.

— Не бойсь, моряк шутит, — сказал Самбурский и отошел к рундукам.

Инженер хотел было задержать увольняющихся, загородив собою трап, но его оттолкнули и с грохотом поднялись на верхнюю палубу, хохоча и ругаясь.

Воспользовавшись шумом, Самбурский приподнял крышку рундука, незаметно извлек оттуда фланелевую рубашку, ту самую, которую хотел украсть Голиченко, и запрятал ее себе под ремень. Насвистывая, он поднялся за остальными.

На борту остались трое: инженер, боцман да безрукий Степан.

— Что ж это, Михаил Серафимович? — проговорил боцман, разводя руками. — До чего же мы дожили? До чего флот довели!

Старик замолчал, сел, опустил голову на колени.

Терентий Ильич Болтин — корабельный боцман, недавно ему исполнилось шестьдесят четыре года. Сорок лет плавал он на кораблях. На флот он пришел молодым деревенским парнем в 1880 году, еще в царствование Александра II.

Много ходил по свету старый моряк, много повидал на своем веку, а вот теперь от обиды и бессилия плачет, словно ребенок

Терентий Ильич любил море, любил флот. Три года тому назад он привел корабли из Гельсингфорса, проведя их сквозь льды, спасая от немецкого плена. Старик был одинок; все, что и было у него в жизни, — это корабль, на котором он доживал свой век. Работал он попрежнему, бегал в порт, стоял вахту.

— Жаль мне их, Михаил Серафимович, — проговорил Терентий Ильич после долгого молчания. — Куда они идут, о чем думают? Нам вахту сдавать, а им — жить. Ни любви, ни чувства, ни правды нет. Словно им головы кто повывихнул. Обманывают, ухарствуют, а кого обманывают, перед кем кочевряжутся?

Он встал, молча прошелся раз-другой, подобрал с палубы разбросанную бумагу и тихо добавил:

— Душу не обманешь, Михаил Серафимович, она чувствует, чувствует, что умирать скоро, — и голос его дрогнул.— Да не жаль, мы пожили. Дело кому оставить, чтобы честь сохранить?

А он знал, что там, на берегу, в Питере, горлопаня, гуляли клешники: фуражки блином, ленты до колен, бушлат настежь, — знай наших!..

Топает братва с Балтики по Невскому проспекту с бортовой качкой, заметая грязные тротуары клешем.

— Полундра!..

Под шинелью и форменкой тащили краденое. На табак, на вино, на пьяные ночи разменивали корабельное добро. Берешь?.. Нам, мол, этого не надоть! На кой ляд флот?.. Шуруй, братва, пользуйся!.. Ихнее, Николашки второго, имущество, буржуйское, даешь!

Спускались в городские щели и там, в тихих заводях, в самогонном угаре, под визг девочек, среди дезертиров и притаившихся «бывших» пропивали флот.

IV

В декабрьские дни 1921 года партия проводила мобилизацию коммунистов-моряков. Ржанова Петра вызвали в губком. Длинные коридоры Смольного напомнили ему октябрь семнадцатого.

«Четыре года прошло, а будто вчера было», — подумал он, вспоминая друзей, врагов и каждую долечку прожитого.

На втором этаже в большом кабинете, наполненном дымом, гужевался народ. Мужчина с женственным лицом, худой и болезненный, одетый в зеленый офицерский френч, на котором виднелись следы погон, разбирал списки. Люди сновали, шелестя бумагами. Все куда-то спешили.

Петр спросил одного-другого о своем деле. Никто ничего не ответил толком.

«Бухгалтерия», — подумал Петр, подходя к окну. Он сел на край стола и стал рассматривать висевший на стенке плакат, призывавший помочь голодающему Поволжью.

— Товарищ, одолжи закурить, — услышал он за спиной хриповатый мальчишеский голос.

Петр достал жестянку и, не оборачиваясь, положил ее возле себя на стол.

— Спасибо.

Петр спрятал коробку в карман, повернул голову и увидел перед собой высокую девушку, одетую в кожанку, с красной косынкой на голове. Тонкие пальцы женщины ловко свертывали папиросу.

— Мобилизуют? — спросила она, заклеивая на кончике языка самокрутку.

— Мобилизуют, — ответил Ржанов, давая ей прикурить от своей трубки.

Лицо ее, бледное, нежное, с тонкими чертами, приблизилось к Петру, и глаза их встретились.

Вдохнув в себя едкий дым, женщина хотела что-то спросить, но закашлялась и отошла, поблагодарив Петра.

«Хороша!» — подумал Ржанов, смотря ей вслед. Смутившись своих мыслей, он повернулся к стене и стал читать частушки под лубочной картинкой.

— Петька, друг, ты ли это? — раздался голос, и кто-то ударил его по плечу.

— Грязнов, здорово! О-о!.. — раскатилось по залу.

Друзья обнялись.

Грязнов был рулевой матрос, с которым Петр еще до революции плавал на «Гангуте». Был он отчаянная башка и прозвище имел Жми. После Октября Грязнов был на севере, был на Украине, служил при штабе Восьмой армии, выполняя боевые поручения строгого Подвойского. Там он и провел все эти годы.

— Кого из наших видел, рассказывай, — спросил Петр.

Вместо ответа Грязнов вложил пальцы в рот, пронзительно свистнул и рявкнул в гущу дыма:

— Братва, а ну, подходи! Прикладывайся! Еще один из царствия небесного прибыл!

Военморы обступили их.

Вон тот высокий жилистый — Максим с «Верного». Вон Вениаминов с «Океана», Карпенко с «Авроры», — все не то чтобы постарели, а как-то возмужали, окрепли.

...Спустя неделю Ржанов получил инструкции, путевку губкома и направился в Кронштадт.

V

От Рогожской, с Девички, с Таганки и Бронной шли парни. Кто с котомкой, сундуком, чемоданом, кто с узелком на плечах и связкой книг подмышкой. Были здесь гужоновцы, студенты Ломоносовского, были и те, кто только что вернулся

с польского фронта. Были и «идейные» — организаторы уездных, волостных комитетов Коммунистического Союза Молодежи.

Студеный январский вечер. Москва, сгорбленная маленькими домиками, укрывшись снегом, тихо дремлет. Воздух наполнен медным стоном колоколов. Они гудят, зовут ко всенощной православных. По узким заснеженным улицам, пробираясь через сугробы, бредут редкие прохожие. На Каланчевской площади, словно в поле, — никого. Редко когда, гикая, проскачет извозчик, катя в низких санках подгулявшего непмана.

Через улицу, от фонаря к фонарю, бежит с лестницей запоздалый фонарщик, чиркая спичками. Все дальше и дальше удаляется он. И вот замигала Краснопрудная желтым светом газовых фонарей.

Через площадь к Николаевскому вокзалу идет толпа. Шумной гурьбой ввалились на перрон. Кто-то приказал построиться. Встали. Нестройной изогнутой шеренгой протянулись вдоль перрона. Высокий человек в армейской шинели, в буденовке вышел вперед и начал говорить. Он говорил о революции, о наших успехах на Дальнем Востоке. Парни стояли молча, постукивая ногами. Легкий пар дыханий поднимался над строем. Было холодно. Только из-под заиндевевших ресниц сверкали горячие молодые глаза. Человек в буденовке говорил долго, стараясь осветить вопросы внутреннего и международного положения. Парни стыли и ежились. Хриплый голос громко отзывался под стеклянной крышей вокзала. Эхо словно дразнилось, повторяя слова. Раздался звонок. Стоящие вздрогнули. Глаза матерей были печальны, уста безмолвны. Опустились ресницы невест, скрывая накатившиеся слезы. Смех друзей был сдержан. Грустны улыбки подруг. Много хотелось сказать, но все молчали, как бы боясь словом спугнуть добрые мысли.

Брякнул второй звонок. Поезд медленно потянул.

— Не забывай, Владимир! — раздался женский голос, не то прося, не то требуя.

— Пиши, Ляпунов!

— Счастливо!..

Добрые слова напутствия раздавались со всех сторон. Кругом ожило, и все устремились вперед. Люди, находившиеся в вагонах, дышали на замерзшие стекла окон, торопливо протирая лед. Провожающие быстрыми, все ускоряющимися шагами, стараясь не отстать от вагонов, шли рядом.

Толкая друг друга, люди почти бегут по перрону, машут руками, кричат, заглядывая в окна. Но вот громыхнул последний вагон, пахнуло жгучим ветром и сразу все смолкло.

Давно ушел поезд, но люди продолжали стоять, вглядываясь в мерцающие красные огоньки на стрелках.

Состав, отгремев на подмосковных путях, пошел на запад, набирая скорость. Молодежь в вагонах долго толкалась, не находя себе места. Спустя некоторое время все успокоились. И вдруг в тишине взвизгнула гармошка и грянула песня, молодцеватая, игривая:

Ты прощай, Москва, с комсомольцами,
Уезжаем на флот добровольцами...

Владимир Ляпунов долго стоял у окна, всматриваясь в знакомые места. Анохин подошел и встал рядом, положив руку на плечо товарищу.

— Скучаешь? — спросил он.

— Посмотри, как хороша ночь, — сказал Ляпунов. — Небо какое бескрайное, словно море...

— Ты видел море?

— Нет, Дмитрий, не видел.

— А говоришь — море...

— Я чувствую, что оно будет такое же широкое и бескрайное.

«Мечтает», — подумал Анохин.

От окна дуло. Они отошли и легли вместе на полку.

— Знаешь, Дмитрий, — заговорил тихо Ляпунов, — я думаю, что когда-нибудь мы будем водить по морям корабли, рваться навстречу бурям, спасая людей, — понимаешь?

Анохин молчал. В сладкой дремоте лежал он, думая о словах друга.

Колеса поезда стучали, словно поддакивая их мыслям. На душе было легко и хорошо.

«Да, да, — думал он. — Буду водить корабли бурям навстречу. О море, море!..»

И много еще ярких картин рисовала молодость.

Трое суток тащились до Питера. Наконец прибыли.

Туманным морозным утром 6 января поезд подошел к станции. Вышли. На безлюдной Знаменской площади, перед царем, сидящим на ломовой лошади, построились, разобрались, рассчитались и зашагали к Поцелуеву мосту, в Первый гвардейский флотский экипаж.

VI

Вокзал был забит народом. Мешки, корзинки валялись всюду. На полу сидели и лежали люди. На скамейках сушились пеленки, женщины кормили детей Дети кричали. Взрослые, понурив головы, сидели задумавшись, смотря куда-то в клубящиеся пары под сводами. На всем был отпечаток полнейшего равнодушия.

По вокзалу бродили демобилизованные красноармейцы, перешагивая через людей; шныряли мешочники. От неумолчного говора тысяч людей здание гудело.

Петр протискался через толпу и вышел на перрон к неподвижным составам. Долго бродил Ржанов по путям между товарными эшелонами, разыскивая отходящий на Ораниенбаум поезд. После продолжительных поисков он, наконец, пристроился на тормозах в будке проводника. Часа через два тронулись. Ехали медленно, останавливаясь на каждом разъезде. Молодой проводник рассказывал Петру про свою деревню, про хлеб, про голод, и все одно и то же скучное, как болезнь. Под стук колес Петр задремал. Проснулся от толчка в Петергофе.

— Стоять будем. Дальше не пойдем, — сказал проводник. — Да ты валяй пешком. Здесь до залива недалеко, добежишь.

Петр соскочил с площадки, поблагодарил парня и зашагал по шпалам. Под ногами весело поскрипывал снег.

На заливе гулял ветер, — холодный и жгучий, дул он в лицо. Долго шел Петр через залив, проваливаясь в снег. Смеркалось. Вдали узкой полоской синел Кронштадт.

В густых сумерках Ржанов подошел к острову. На берегу, у часовни, его остановил патруль и проводил во внутрь церковного здания, где помещалась комендатура.

В часовне было темно. Сквозь оконную решетку виднелись мачты судов и густеющая синева неба.

— Кто там? — раздался грубый голос откуда-то снизу.

— До вас, товарищ комендант, — ответил патрульный.

— А ну, ходи сюда.

Петр заметил у стены на койке человека. Он лежал в шинели навзничь, заложив руки за голову. Комендант протянул руку и отвернул фитиль лампы. На стенах заметались тени.

— Давай, что там у тебя?

Петр подал бумагу.

— Зачем прибыл?

— Читай, — ответил Петр.

Комендант поднес бумагу ближе к лампе, потом вдруг вскочил с койки и бросился на Петра.

— Он, ей-ей — он! — вскричал комендант, сжимая в объятиях Ржанова и царапая его выбритые щеки щетиной усов. — А мне говорили — убит. У-у, баковые вестники! — Моряк сплюнул и выругался. — Стало быть, жив! Хорошо! — И комендант так молодецки стукнул Ржанова по плечу, что другой на месте Петра вылетел бы из часовни. — Это мой друг, — проговорил он, обращаясь к патрульному. — Вместе служили, вместе тужили. Ну, да ты валяй, ты иди, ты свободен, — сказал он, отпуская патрульного. — Стало быть, жив? — повторил он, смотря на Петра.

— Да что вы все — жив да жив!

— Удивительного ничего нет, Петруха. Годы-то какие! Немудрено и концы отдать. Да ты садись, раздевайся, — и он насильно усадил Петра на свою койку. — Смотрю я на тебя, — продолжал он ласково, — будто ты постарел. Морщинки на лбу, и взгляд другой. Возмужал! Раздался малость. — Он снова обнял Петра и прижал к себе. — Ну, рассказывай, каким ветром тебя задуло к нам?

Встреча с Егором Бусыгиным напомнила Петру многое из того, что давно забылось им.

— Снимай сапоги, суши, — сказал Бусыгин, присев на корточки и растопляя печку. — Сейчас мы насчет харчей сварганим, — и он быстро скрылся куда-то.

Пока грелся чайник и хлюпала пшенка, они вспоминали былое.

— После Гельсингфорса я перебрался в Кронштадт, — рассказывал Петр. — Потом Центрофлот направил меня в Севастополь, там расхлебывал черноморско-эсеровскую кашу... В августе снова сюда, а потом...

— Значит, ты колчаковскую делегацию помнишь? — прервал комендант рассказ Петра.

— Ну, как же? Баткин тогда агитировал.

— Верно, Баткин, — подтвердил Бусыгин.

— А офицеров корниловских при тебе судили, помнишь?

— Еще бы!

— Мы тогда обращение писали к революционным матросам.

— А меня после ледового похода на Волгу услали, — рассказывал Бусыгин. — Тралил на канонерских, дошел до Царицына. Осенью девятнадцатого всех на берег, меня на броне-

поезд. Катался, пока не расстукали... В двадцатом — Омск, Томск... Потом польский, и снова сюда, на пуп земли. Да, было время!... — сказал он помолчав. — Многих унесло оно...

...Давно была ночь. Третий раз гремел чайник крышкой, а Бусыгин все говорил.

— Помнишь, — говорил он, смотря на Петра, — помнишь стычки с Петергофской школой прапорщиков за Зимний? А юнкеров в Инженерном замке? А караулы у дворца? Графа Толстого — помнишь? Ты, что ль, ему тогда какую-то финтифлюшку в Эрмитаж принес? «Искусство, — говорил, — народу принадлежит, сохраните».

Никогда раньше Егор не вспоминал, да и не задумывался о своем прошлом. Некогда было. А вот теперь оглянулся и почувствовал какую-то неизъяснимую красоту во всем том, что было прожито. И защемило сердце.

«Ужель это со мной было? — думал он. — Уж больно все лихо!»

— Ты о чем задумался? — спросил Петр умолкнувшего друга.

— Да так...

Напившись морковного кофе, Петр скинул сапоги, забрался на койку и, растянувшись, наслаждался теплотой.

Бусыгин рассказывал, Петр слушал, дымя трубкой.

— Так ты говоришь — плохо? — переспросил Петр.

— Плохо, — со вздохом ответил Егор. — Ни угля, ни харчей, ни робы. Наползла всякая нечисть, которая не то что кораблей — телеги хорошей не видела. Словно мухи шпанские, суда загадили. А намедни... — и Бусыгин рассказал, как в гавани, у самой стенки, затонул миноносец. — Нарочно ли, нет — открыл кто-то кингстон, он и улегся на дно. Команды — никого, все на митинге в морском манеже были. Пьянство, воровство, — говорил он мрачно. — День-деньской по берегу шлендают. Вахты не держат. Но зато митинги... Ты мне, Петр, вот что скажи, — продолжал Бусыгин, понизив голос, — я, ты, кто другой, к примеру, загнали нас сюда, а зачем? Флот нам теперь не нужен, то, что осталось и ржавеет, — рванее рвани, его не воскресишь. Да и моря у нас нет, потому что... В тупике мы. Слышал я, что все это на лом, на железо, потому...

— Неправда! — рявкнул Петр, вставая с койки. — Кто это говорит? Те, кто топит свои эсминцы, те, кто ворует! А знаешь ли, Егор, для чего они слухи пускают, кто их этому учит? Нет, видно, не вся еще гниль перебита прошлой весной. А ты, старый балтиец, поверил!

VII

В полдень, простившись с комендантом, Петр вышел на улицу. Печные трубы разрушенных домов, словно гнилые зубы, торчали из снега. Окна многих зданий были раскрыты, стекла пробиты пулями. И разрушения и отсутствие людей нагоняли тоску. Петр хорошо знал этот маленький, вымощенный чугуном и камнем городок. Теперь, спустя четыре года, он видел перед собою и знакомое и чужое, будто смотрел в лицо мертвого друга.

Пройдя классы машинной школы, Петр свернул налево и пошел берегом канала. На стенке валялись баркасы, рубки судов со штурвалами, пушки, ящики, заржавелые машины. Ржанов прошел широкий заводский двор, доки и вышел на стенку военной гавани. Ни одной души не было вокруг.

Робкие, грязные, словно нищие в рубище, жались в гавани корабли. «Вон мой стоит», — подумал Петр, узнав сразу знакомые очертания. Он прошел по сходням и вступил на борт. Вахтенного не было. Разыскав люк, он спустился вниз.

На койках, укрытые с головой, лежали люди, тяжело дыша. Было грязно и холодно. Пахло сыростью, где-то сочилась вода, и капли громко долбили палубу. Петр вспомнил слова Бусыгина.

— Эй, братва! — крикнул он, но на его зов никто не отозвался.

Петр затопил печку, поставил котелок, набив его снегом для чая, и, найдя голик, стал убирать палубу.

— Ты чей будешь? — спросила высунувшаяся из-под шинели взъерошенная голова.

Петр сдвинул свои широкие брови и сам спросил строго:

— Чего дрыхнете? Больны, что ли?

— Больны, браток, больны, — ответила голова и, притворно застонав, снова спряталась.

Некоторое время спустя в салон спустились два военмора, укутанные в башлыки.

— Эк его забирает нынче! — говорил один из них, кряхтя и поеживаясь. — Ну-ка, развяжите меня, Михаил Серафимович. Пальцы совсем закоченели. Три часа простояли, — продолжал он, — а что получили? Грех один!

Второй молча снял с себя шинель, постукивая ногой об ногу в рваных башмаках и потирая руки.

Когда моряки разделись, Петр увидел перед собой пожилых людей. Безусый, небольшого роста старик с полысевшей голо-

вой, с крупными глазами был одет в китель. Вокруг его шеи был повязан женский пуховый платок, довольно рваный и непервой чистоты. Другой, такого же роста, с усами, был одет в засаленный комбинезон. Он казался моложе, голос его был звонкий и бодрый. Он быстро двигался по салону, размахивая длинными руками, как-то суетясь возле самого себя.

— Ты, что ль, растопил? — спросил усатый, заметив Петра.

— Я.

— Ты что же, новенький, что ли? Ты кто?

— Электрик.

— А зачем здесь?

— На корабль, служить, — ответил Петр, разглядывая морщинистое, худое лицо собеседника.

— Служить? — повторил старик. — Так, так... Специальность какую имеешь?

— Электрик, говорю, — повторил Петр.

— Хорошо. Стало быть, к нам, служить? — И он опять повторил свое «так, так».

Старик, ежась, потирал руки, дыша на ладони.

— Где у вас старший? — спросил Петр.

— Старший? Вон наш старший, — сказал он, указывая на моряка в кителе. — Михаил Серафимович, товарищ инженер, вас спрашивают.

Инженер, сидевший у печки, встал и вытянулся, когда Петр подошел к нему. Добрые усталые глаза смотрели на Ржанова. Петр подал мандат. Старик не спеша вынул пенсне, протер его, развернул бумагу.

— «Военным комиссаром корабля «Совет» назначается товарищ Ржанов, Петр Емельянович, — медленно шевеля губами, тихо читал инженер. — Предлагается всем...»

— Эй, боцман! Дели паек, жрать охота! — раздался хриплый голос.

— Чего орешь, Серега? — сказал усатый старик, которого назвали боцманом.

Красивый парень с длинными спутанными волосами спрыгнул с койки и подошел к Петру.

— Служить, говоришь? А? Зачем служить-то? — Он нахально в упор посмотрел прищуренными глазами на Петра. — Нам самим ни жрать, ни делать нечего, а ты служить...

«Настроеньице!» — подумал Петр.

— Ржаной, говоришь? Зря! — продолжал парень, покачиваясь перед Петром на носках. — Нам бы ситничка... — И он громко и деланно захохотал.

— Будет и ситничек, — ответил Петр, — а прежде ржаного испробуй...

Боцман подмигнул Петру: «Пробуют, дескать. Ничего, не трусь, браток!..»

Петр и сам знал, что пробуют.

— Степа! — обратился боцман ласково к лежащему на койке моряку. — Кто над тобой спит?

— Нечаев занимал, — ответил моряк басом.

— Нечаев, говоришь... Стало быть, ничья. Вот ты и занимай ее, слышишь, электрик? — обращаясь к Петру, сказал старый моряк.

VIII

Прошла неделя, и наступил март, звонкий, искристый.

Петр за эту неделю переговорил с каждым моряком, интересуясь сроком их службы, семьей, письмами, которые они получали из дому; с крестьянами он разговаривал о хозяйстве, расспрашивая о настроениях в уезде. Но больше всего Петра занимало состояние корабельных механизмов.

Вместе с инженером Преображенским он облазил корабль, прощупал каждый отсек.

На борт стали приходить гражданские. Они подолгу о чем-то совещались с Петром, что-то подсчитывая.

Команда прислушивалась к рослому, крепко сколоченному военмору, косилась на него и шушукалась.

Было известно, что Ржанов «идейный», что был прислан Петроградским губкомом, что он запросто вхож в Пубалт, а с какими полномочиями прислан — гадали.

С наступлением марта Петр по целым дням пропадал на берегу. То вызовет штаб, то ПУР, то какое дело в порту или на заводе. Совещаний, митингов было в городе пропасть. Петр ходил к рабочим, агитируя их, поднимая на ремонт.

Возвратясь однажды с берега, Петр собрал команду и радостно сказал:

— Ну, братва, корабль наш включили в состав флота. Будем его возрождать.

— На кой? — спросил Самбурский.

Петр в упор посмотрел в хитрые глаза Самбурского; тот не выдержал его взгляда и отворотился. Испытующий взгляд Петра показал сигнальщику, что его вопрос был понят. Петр знал, что Самбурский вел среди команды агитацию за ликвидацию армии и флота, за немедленный переход к милиционной системе на добровольных началах.

— Выгодно ли чинить? — продолжал Самбурский. — Конструкция старая. Пользы не вижу... Да к тому же свой флот хороший, в Бизерте ржавеет.

— Врангель не дурак. Увел корабли да и продал французскому графу, — вставил Травин.

— Ты что же предлагаешь, Самбурский? — спросил Петр.

— Предлагаю?.. Бизертовскую эскадру воротить, а не в гробах плавать.

— Поди возьми. Какой нашелся! — сказал Петр.

— Надо Коминтерн мобилизовать. Революционные массы... Пролетариев всех стран, — начал было Самбурский.

— Ну, уж это как-нибудь без нас сделают, — заметил Петр спокойно. — Ты что по ремонту предлагаешь?

Самбурский ничего не ответил.

Молодой моряк Сергей Самбурский был списан на корабль в прошлом году, незадолго до 2 марта. В команде поговаривали о нем, что был он делегатом собрания 2 марта на бригаде линейных кораблей, будто бы был выбран в президиум собрания и имел отношение к составу Временного революционного комитета восставших матросов. Из его послужного списка было известно мало. «Сигнальщик первой статьи Черноморского флота. Плавал на крейсере «Память Меркурия». Имел поощрения, срок службы — 1919-й».

— По нашим подсчетам, — продолжал Петр, — пробу машин можно будет произвести в мае. В апреле из школ спишут новобранцев. Легче будет. И тогда двинем на полный.

— Небось с богородицей подсчитывал? — спросил Голиченко.

— Товарищ Голиченко! — оборвал Петр вестового.

— Ну, с инженером, ошибся. Подумаешь, — слова сказать нельзя! — Он подмигнул и, шмыгнув носом, добавил: — А насчет пробы посмотрим...

— Работать будешь, так на «смотреть» времени не станет, — ответил Петр.

Самбурский встал из-за стола и вышел из салона. Вслед за ним поднялся Голиченко.

— В субботу всех прошу представить мне ремонтные заявки по каждому заведованию. Ты, товарищ Гулай, по машине, трюмам и кочегарке. А ты, Терентий Ильич, по палубе.

— Есть, Петр Емельянович, — ответил боцман.

Старику нравилась чеканная речь Петра, нравилась его крупная фигура, его собранность и какая-то таящаяся в нем сила.

IX

«Соберутся или нет?» — думал Петр, шагая по пустым улицам.

Было туманное утро. В матовом небе чуть тлело солнце. Посеребренные инеем, стыли на рогатке корабли. Ни дыма, ни искры над обледенелыми трубами. Замерло все. Словно степные курганы, высились форты на заливе. А дальше все снег да снег... Налево узкая синяя полоса отнятого, теперь чужого, берега.

Пустынно было кругом. Только в Петровском парке кричали вороны, словно деля что-то. Порой взметнется черная стая, покружится над вершинами и снова рассядется на сучьях, осыпая пушистый иней.

«Пойти предупредить», — решил Петр и зашагал к соборной площади.

Веригины, отец и сын, шли молча друг за другом вдоль чугунной ограды канала по следу, проложенному кем-то. Ослепительно чистый лежал вокруг снег, чуть розовый от невидимого солнца. Решетка ограды, деревья, голые кусты и каждый выступ на здании затейливо оторочены снеговой опушкой. У морского манежа повстречались с Петром.

— Здорово, начальник, — приветствовал Петра старший Веригин.

— Здравствуй, Михаил Григорьевич. А я к Рудину, — сказал Петр, вдруг выдумав фамилию. Петру было стыдно, что он усомнился в рабочем человеке и еще раз хотел напомнить ему о данном им слове.

— Это кто? — спросил Петр, указывая на молодого парня, остановившегося поодаль от них.

— Сын мой, Васька, — ответил Веригин.

— Наш, флотский? — спросил Петр.

— Куда там! Ему на троицын день только пятнадцать будет. Он у меня молодец. Молодой, а мастеровой, — добавил отец с гордостью. — Меньшой. Остальных война сдула...

Василий слушал, что говорил отец, и разглядывал Петра.

— Ну, давай познакомимся, — сказал Петр юноше, шагнув к нему и протягивая руку. — Ты, Михаил Григорьевич, про наше дело ему говорил?

— Как же, вот и двинулись. Он сам хотел с тобою повидаться. Васютка, ты чего же молчишь? Говори! — вмешался старик Веригин. — Он здесь на острове-то вроде как атаман над всеми такими-то...

— О чем говорит отец? — спросил Петр, глядя на юношу.

— При горкоме комсомола я ведаю отделом охраны труда.

— Это хорошо! — воскликнул Петр. — Теперь мы дело так двинем, что и чертям жарко станет! А ребят мы твоих обижать не будем.

— Их не обидишь, — проговорил баском Василий, потирая замерзшие уши.

— Ну да, я и говорю, — повторил Петр. — А ты приводи их на корабль. Приводи непременно! Работы много, всем хватит. Вот так, Василий, ей-богу! Что же ты мне, Михаил Григорьевич, раньше-то про него не говорил? Парень-то у тебя, а!

Петр обхватил плечи юноши и сжал в своих сильных объятиях.

— Впрочем, уже пора, — сказал он. — Вы ступайте, я мигом подгребу. Мне до совещания надо к технику насчет докования.

Петр приложил к бескозырке руку и быстро зашагал через мост.

— Гвоздь, а не парень! — сказал отец сыну, указывая на удалявшегося Петра. — Ты не замерз, Вася? Пойдем. Да закройсь! Чего грудь кажешь!

И они зашагали. Отец впереди, сын по его следу.

Когда поднялись по крутой лестнице на второй этаж, долго топтались у двери, отряхая ноги. Отец, наклонившись к сыну, тихо сказал:

— Шапку, Васютка, не забудь у инженера снять.

— Ладно.

— Не забудь, говорю, — повторил Михаил Григорьевич, робко постучав в дверь.

— Открыто, пожалуйста! — послышался женский голос из-за двери. Дверь отворилась, и навстречу вышла сестра инженера.

— Проходите, раздевайтесь, — сказала она. — Сегодня мы топим, у нас тепло.

— Как здоровье Михаила Серафимовича? — спросил отец.

— Спасибо, лучше, — отвечала женщина. — А я вас и не узнала, — проговорила она, глядя на Михаила Григорьевича.

— А я вас сразу узнал.

— Вы — Веригин? Я вас помню. Вы у нас бывали. Брат мне про вас рассказывал, когда вы с ним еще на «Руссуде»

служили. И про часы, подаренные вам государем императором в четырнадцатом году, тоже знаю.

Разговаривая, они прошли в заставленную вещами комнату.

За столом, с книгой в руках, сидел инженер.

— Здравия желаю, Михаил Серафимович, — сказал Веригин, переступая порог.

— А, Михаил Григорьевич, здравствуйте,— ответил инженер вставая. — Не ожидал вас видеть. Варварушка, — обратился он к сестре. — Помнишь Веригина-то? Ну, ничуть не изменился за девять-то лет.

— Да и вы по-старому. Чуть похудели только, — отвечал Веригин. — Меньшой мой, Василий, — продолжал он, знакомя сына с инженером.

Они поздоровались.

— Какие новости, Михаил Григорьевич? — спросил инженер, захлопывая томик.

— Что ж, Михаил Серафимович, какие у нас с вами на острове новости? Тишина.

— Тишина, Веригин, тишина, — повторил инженер. — Вы садитесь, молодой человек, — предложил он Василию.

— Ничего, Михаил Серафимович, он молодой, он постоит, — вмешался отец.

— Слышали, что у церквей делается? — спросил инженер.

— Видел, — ответил Веригин. — Был в Питере, сам видел.

— Что будет, что будет?! Господи!

— На голодающих будто бы, Михаил Серафимович, в пользу государственного фонда.

Инженер вздохнул.

— Говорят, Тихон противиться призывает, — продолжал Веригин. — Да только разве пойдешь против силы-то?

— Наверно, судить будут священников?

— А они не лезь. Народ дал, народ и взял. Богу-то оно на что, золото?

Про декрет ВЦИКа об изъятии церковных ценностей старики говорили долго.

X

Ранним утром 2 марта слесарь морского кронштадтского завода Михаил Веригин по просьбе Петра направился к своему приятелю слесарю Алексею Романовичу Дудину.

«Отца кое-как уговорю, а вот Кузьму его повернуть трудно. Ну, да ладно, пойду».

Вошел в дом, перекрестился на образа, поздоровался с хозяином, с хозяйкой и объявил, что пришел к ним от морского начальства с великой просьбой.

— Просьба моя, Романыч, вот какая, — сказал он, усаживаясь на скрипучую табуретку возле печки. — Принимай ты, Алексей Романович, старшинство по ремонту корабля. Артель собралась хорошая, и позору тебе от нас не будет.

И Михаил Григорьевич Веригин рассказал о деле.

Дудин слушал молча, насупив брови, о чем-то думая.

— Да-а... — произнес он, наконец, после долгого молчания.

Веригин не знал, что за этим «да» скрывались вещи значительные. Жить Алексею Романовичу с большой семьей в Кронштадте было трудно. Завод не работал, заработка не было, продавать было нечего, да этим и не прокормишься.

Давно еще, когда Кузька был маленький, Алексей Романович мечтал о жизни в деревне. Хотелось ему под старость пожить где-нибудь в тишине, на своей земле, на своем хлебе, да все не выходило. Накануне жена опять завела с ним разговор о старом. «Не трать время, Алексей, поедем», — говорила она.

Дудин слушал жену, слушал сына, а сам молчал, все примеривался, как ловчее. И жена приняла его молчание за согласие.

Когда Веригин начал свой разговор о корабельном ремонте, жена Дудина насторожилась.

— Выдумают тут корабли!.. — проговорила она, зло посмотрев на Веригина. — Только и осталось, что с кораблями маяться, — убеждала она мужа. — Небось, наработался, хватит...

Дудин молча сидел за столом, вертя в руках зажигалку.

— Ты решил, ты обещал. Сил моих нет, Алексей, — говорила женщина.

Она встала, прошлась по комнате, сбивая половики; открыла и снова захлопнула дверцу стеклянного шкафа, и пустая посуда звякнула в нем от сотрясения.

— Ты о нас, Алексей, подумай! Как жить дальше будем, на что? — Она всхлипнула, закрыв лицо распухшими, потрескавшимися от холода руками. — Кому, зачем понадобились эти проклятые корабли? — говорила она, но голос ее уже не протестовал, а робко жаловался, почти молил.

Взглянув на мужа, она поняла по выражению его лица, по тому, как он сидел, как молчал, как вертел зажигалку, поняла,

что ее мечты о деревне не осуществятся. Она замолчала и тяжело опустилась на стул, как-то вся съежившись.

— Ну что ты раскудахталась, дурында, на людях? Право, дурында!

— Мне его стыдиться нечего, он свой, — возразила было жена дрожащим голосом. Но муж прервал ее.

— Ты молчи и слушай, что я говорить буду, — спокойно, по-хозяйски сказал Алексей Романович. — Отец мой и дед мой, — продолжал он, — около кораблей весь свой век кормились, и я кормлюсь, а ты говоришь «решил»!.. Думаешь, легко мне поворотиться против всей жизни-то? Пойми: совесть моя в них, в кораблях-то! — Алексей Романович посмотрел из-под нависших бровей на жену и, не то осуждая, не то сочувствуя ей, покачал головой. — Думаю я, Веригин, вот о чем: что твоих да моих рук, ну, Кузьки моего для такого дела мало, а надо кадровиков поднимать.

— Верно, Романыч, подымать надо, — согласился Веригин. — А вот нынче...

— Рабочий норовит теперь в деревню. Человек — он вроде как птица, все к теплу тянется, к хлебу. Я не осуждаю, — рассуждал он, — жить надо. Меня самого тянут. Многие разъехались по деревням, да только то не настоящие. Настоящий — он не уйдет. Я про то говорю, Григорьевич, — продолжал Дудин, — что самому себе уступать нельзя. Я, может, ночи не сплю, все о заводе думаю. Как?.. Вот и стоит этот вопрос перед моей совестью, и тянет, и не пускает, — вот положение!

Дудин в душе досадовал на себя за то, что ему, как он думал, самой малости не хватило до измены заводу, где он пользовался всеобщим уважением.

«Да разве бы я покинул завод? — думал он, оправдываясь перед самим собой. — А ведь хотел! — возразил внутренний голос откуда-то из глубины, словно то был голос судьи, а судьей был Веригин. — Приди ты пораньше, — возражал он, оправдываясь перед этим внутренним голосом, смотря на Веригина, — все было бы просто».

— Смотрю я на завод, и душа разрывается, — продолжал Дудин после раздумья. — Грязь, ржавчина, станки поломаны, одни зажигалки... Все разорили...

Дудин замолчал, почесал затылок, посмотрел на свои ноги, обутые в рваные валенки, и, отрывая болтавшуюся дратву, произнес: «Да-а».

— Да-а, жизнь!.. — повторил он, тяжело вздыхая, и сердито посмотрел на жену.

За этим «да» Дудин скрыл от Веригина то, что день тому назад он отправил сына в Гдовский уезд разведать и подыскать хозяйство.

Алексей Романович думал о том, что простой, тихий Веригин никогда не выставлял своего мнения, не выдавал себя скорбящим за всех, не показывал, что его волнует судьба завода, не присваивал себе чужих слез и — главное — не выдавал их за свои, а скромно и просто делал свое незаметное дело, не оглядываясь и не выпрашивая одобрения. Дудин понял, что Веригин чище и порядочней его.

— Как ты насчет Генуэзской конференции полагаешь? — спросил он Веригина, желая прогнать свое смущение.

Они заговорили о политике, но разговор шел неловко и был не нужен обоим.

— Когда, говоришь, собираются у твоего инженера? — спросил Дудин, посмотрев на часы, и вдруг заторопился. — Пойдем, пойдем, — говорил он, одеваясь, словно желая как можно скорее покинуть свой дом со всеми его интересами и заботами.

XI

Все были в сборе, когда Дудин и Веригин вошли в душную комнату инженера Преображенского. На столе лежали корабельные чертежи, формуляры. Инженер водил по белым линиям карандашом, что-то показывая и объясняя Петру, а тот записывал.

— Так вот, товарищи, — обратился Петр к собравшимся, когда Веригин с Дудиным сели. — Стало быть, флоту жить. По мере сил наших и средств будем возрождать корабли Красного Флота.

Петр хотел о многом рассказать рабочим. Накануне он тщательно обдумывал свою речь, но сегодня, здесь, все придуманное показалось ему лишним. «Что они — не понимают, что ль?» — подумал Петр и сказал просто:

— Вот что, без вас нам кораблей не осилить. Дело общее. И вы, я думаю, займете свое место. Что ж тут говорить? Я кончил.

После Петра заговорил инженер. Он изложил план ремонта, поясняя чертежами и цифрами свой рассказ.

— Да-а, много делов, — сказал Дудин, когда инженер кончил.

— Аль боязно?

— Я не про то. Народу мало.

— На то и собрались, чтоб порешить, — сказал Терентий Ильич.

— Решай не решай, а людей мало.

Рабочие заспорили. Дело обсуждали долго; распределили механизмы, расставляли людей, припоминали фамилии, подсчитывали дни, и, как ни уплотняли сроки, все выходило, что раньше июля машинной работы не кончить.

— И то, если смены палубы, покраски трюмов и корпуса не считать, — сказал Дудин.

Молодой Веригин сидел у окна под длинным, как хлыст, фикусом. Слушал взрослых и никак не мог понять, о чем спорили старики, в чем они сомневались и почему осторожничали. Взрослые говорили степенно, не спеша, взвешивая все обстоятельства дела. А тон этот и неторопливый их разговор страшно раздражали Василия Веригина. «Не так, не так», — возражал он про себя на все их предложения. Ему казалось, что дело, о котором говорили, вовсе не сложно, и делать его надо не так, как предлагают они, и что так, как они предлагают, будет дольше. «Ведь можно иначе», — думал он. И Веригин удивлялся, как этого не видят взрослые.

«Вот если бы мне сказали сейчас: «Берись, Васютка, командуй!» — я бы вам показал», — сказал он про себя. «Скажи же им, что не так!» — говорил он себе, глядя на Петра, еле сдерживая свое волнение. Но Петр молчал. «Почему отец назвал Ржанова гвоздем — не понимаю». И это определение, данное Петру отцом, никак не укладывалось в его сознании.

Петр продолжал молча сидеть за столом, дымить трубкой и чертить на бумаге. Дым махорки застилал комнату, и инженер то и дело кашлял.

— Насчет харчей как? — спросил вдруг Дудин, обращаясь к Петру.

И все оживленно заговорили о пайках, дороговизне и трудностях жизни.

— Харч делить будем, — ответил Петр. — Что нам, то и вам. Невелик он, но тем дороже.

Уже вечером рабочие и военморы покинули дом Преображенского. Солнце садилось. Небо на западе было багровым, обещая мороз. Все шли шеренгой посредине улицы, громко разговаривая. У арсенала остановились, закурили, продолжая говорить о деле, точно не в силах были остановиться. Но, продрогнув, наконец разошлись.

— Так завтра к подъему! — крикнул Петр через улицу.

— Будем! — ответили рабочие и скрылись за сугробами.

Петр был доволен совещанием. «Застоялись кони», — подумал он, вспоминая, с каким жаром говорили они о предстоящем трудном деле.

— Ты куда? — спросил Терентий Ильич Петра, видя, что он сворачивает за угол.

— Мне к Рыбкину надо. У меня урок сегодня, — ответил Петр.

— Поди поешь сперва, успеешь, — возразил боцман сердитым голосом, но в этом голосе слышались забота и доброта.

Петр попросил боцмана оставить ему «расход» и зашагал в минные классы, к старому геометру.

Спустя минуту Петр очутился во дворе старого желтого казенного здания, штукатурка и рамы которого были выщерблены пулями, словно оспой.

Не раз приходил Петр в электроминные классы и каждый раз путался во множестве дверей, не сразу находя комнату, где жил учитель Рыбкин. Худенький маленький человек поднялся на стук из-за стола.

— Решили? — спросил он своим звонким голосом, как только Петр переступил порог.

— Нет, Петр Николаевич, — ответил Ржанов.

— За что же вы себя наказываете? Ведь мы же уговорились с вами, что все должно умещаться во времени. Вы не умещаетесь, следовательно, отстаете. — Старик говорил, картавя, и было что-то наивно-детское в его выговоре.

Петр смущенно садился за стол и начинал решать задачи. Рыбкин прохаживался по комнате, заглядывая через плечо Петра на желтый листок бумаги, на котором неровными, прыгающими цифрами писал Ржанов. Учитель смотрел своими кроткими глазами на ученика, тактично подсказывая ему ход решения.

— Тлидцать тли... Должно получиться тлидцать тли, — сказал он Ржанову, исправляя его ошибку.

Геометрия давалась Петру тяжело.

— Вы, небось, все о корабле и митингах думаете? — спросил Рыбкин ласково. — А вы теперь настройтесь на математику, выкиньте на час-другой все остальное, все ваши заботы.

Петр посмотрел на старика, на его доброе лицо.

— Нет, нет, совсем выкиньте, и тогда получится. Ну, настроились? Итак, пошли далее.

Если урок проходил успешно и оставалось время, учитель и ученик вместе пилили дрова, которых должно было хватить до следующего урока. Распилив два кругляша, они откладывали пилу, и Рыбкин, усевшись за стол, начинал что-либо рассказывать. Сегодня учитель говорил о знаменитом Попове, с которым, как он выражался, ему выпало счастье работать вместе.

В маленьком деревянном домике, стоявшем в саду школы, помещалась тогда лаборатория Попова.

— Здесь мы творили, мечтали и переживали, — говорил старик, накидывая на плечи свою шаль. — Все было, мой друг, — тихо, словно погружаясь в минувшее, говорил он. — Это был человек огромной фантазии и удивительной воли. Человек доброго сердца и чистой души. Простой, скромный, как все великие. Вы слышали о нем?

Петр отрицательно покачал головой.

— Вот посмотрите, — и он показал Ржанову стоявшую в золоченой рамочке фотографию. — Он открыл радио, и у этой науки большое будущее.

Он помолчал.

— Хотите, попилим еще? — сказал он, вставая и пристраивая на табуретке суковатое полено. Когда они распилили его, он сказал: — Мы очень часто забываем про своих людей.

Старик снова сел и долго молчал. В комнате было тихо. На стеклах окон, выходивших на запад, тускнели последние отблески заката.

— Да, радио родилось здесь, в тихой кронштадтской хижине, — проговорил он гордо. — А ведь вы, молодой человек, поди, не знали?

XII

Разводку в марте стали производить еще раньше. Длинному Степану пришлось сократить часы рыбной ловли. Теперь чуть забрезжит рассвет, а Гулай уже на ногах и отправляется со своими снастями на средину гавани. Осторожно вырубит тонкий ледок, которым за ночь затянется прорубь, поставит с подветренной стороны койку и сидит поджидает.

Крючков у него была уйма, и большие и маленькие, для каждой рыбы свой особенный. «С насадкой плохо», — говорил он.

Длинный Степан любил удить и часто подолгу рассказывал об этом.

Вечером, после работы военморы иногда собирались у печки вокруг лагуна, колупали мороженую картошку. От усталости и жары дремали, ведя незатейливые разговоры.

В салоне приятно попахивает ушицей, а Длинный Степан своим окающим говорком рассказывает о Нижнем, о ночах на Волге, о плесах...

В такие минуты Гулай становился совсем другим человеком, словно спадала с него его грубая оболочка, которой он, как панцырем, загораживался от людей и от трудной жизни. А душа его была широкая, добрая, русская.

В субботу четвертого марта инженер Преображенский после гриппа пришел на корабль и поместился в своей маленькой каютке, выходившей в кают-компанию.

На другой день провели воскресник по очистке корабля. В аврале принимали участие рабочие морского завода, их жены и молодежь лесопилки.

Грязи и хламу вынесли за этот день пропасть. Боцман ходил по палубе, заглядывая в корзины с мусором; больше всего хлама выгребли из тросовой ямы и носовых отсеков.

— Покажи, покажи! Может, ты чего дельное несешь.

— Какое там! Дрянь всякая, — говорила женщина.

— Ну, ты! — возражал с обидой Терентий Ильич, вынимая из корзинки какой-то ржавый круглый предмет. — К этому блочку только щечку приделать — и опять он служить будет. На корабле каждый гвоздь — матрос. Поди-ка сыщи его в море, а у меня он всегда наготове.

Вечером после аврала рабочие и команда сидели за сдвинутыми столами в салоне и ели чечевичную похлебку. За столом было шумно и весело. Странно, но приятно звучали на корабле молодые женские голоса.

Военморы наперебой ухаживали за девчатами, подкладывая им в миски чечевицу и угощая желудевым кофе по-турецки.

Когда кончился обед, парни и девушки пропели несколько песен, а потом под звуки травинской балалайки стали танцевать. Морякам было радостно не то от наступающей весны, не то от сознания проделанного тяжелого, но полезного труда, а быть может, просто от этих несвязных женских речей.

Разошлись поздно. Петр долго не мог заснуть. Образ молодой женщины не давал ему покоя. «Какая она нежная, тихая, чистая», — думал Петр, и мечта о семейном счастье уводила его далеко-далеко...

Наутро, как всегда, задолго до побудки, Длинный Степан, отправляясь на рыбную ловлю, разбудил Ржанова, и тот, спустившись в машину, принялся за свое динамо.

К восьми подошли Веригин и Дудин с сыновьями и тоже спустились в машину.

Работа шла споро. В пятницу 17 марта Ржанова срочно вызвали в Пубалт, а на другой день рано утром он уехал в Питер. Перед отъездом Петр провел на корабле совещание рабочих и команды, оставил каждому задание по своему заведованию и, крепко пожав всем руки, покинул корабль.

Прошла неделя после отъезда Петра. Самбурский и Голиченко стали опять вставать поздно. По целым дням слонялись из угла в угол, рассказывая друг другу анекдоты, либо шлялись по берегу. Снова застучал «козел» и зашелестели карты в рабочее время.

Попробовал было Терентий Ильич применить к ним строгость, но из этого ничего не получилось.

— Ты, боцман, старый дурак, — говорил Самбурский ухмыляясь. — Охота тебе время тратить! Тебе бы, старому, деревянный бушлат припасать, а ты — ремонт. Голиченко! — окликнул он вестового. — Как ты думаешь, какой покров больше пойдет к лицу этому старому чорту?

— Брезентовый.

И оба ржали, хлопая себя по ляжкам.

Время летело быстро, работа тянулась медленно. Самбурский ходил по кораблю и вел разговор.

— Посмотрю я на тебя, — говорил он Травину, спустившись в кочегарку, — парень ты как будто свой, а заболел. Чего ты здесь мерзнешь? Кому это нужно? Ржаной, небось, пополоскал язычком по ветру да смылся...

— Ну, это ты зря, — возразил Травин.

— Чего зря, верно говорю, — и, понизив голос, продолжал: — Вчера у Клавки был, знаешь... Встретил там одного. Начальник он. Ну, выпили. Он мне и рассказал: «Флота, говорит, нам теперь не надо, потому что море у нас отнято. Корабли, говорит, на слом, в счет царских долгов. Ленин, говорит, приказ подписал, и у вас не сегодня-завтра должна быть на корабле комиссия».

— Брешешь ты все, — возразил Травин, вставляя в котел горловину. — Ведь Ржанов тогда документы показывал насчет восстановления, а ты...

— Так что ж, показывал, — продолжал сигнальщик, — не спорю, было. А когда подсчитали, оказалось, что такую рвань чинить себе дороже стоит. И опять же — мы не империалисты, на кой нам флот! — Самбурский прошелся по кочегарке, стуча сапогами по ржавым плитам. Надвинул ниже на переносицу бескозырку, выпустил завиток волос на висок и продолжал: — Старшиной тебя ставили, а Ржаной за тебя командует. Идейный! Подумаешь! Фу-ты, ну-ты! — скорчив гримасу, говорил он. — Кто хозяин на корабле, я тебя спрашиваю? — произнес он строго. — Власть уступаешь, дурак! Мы его в комиссары не выбирали и знать не хотим! А ты доверие масс не оправдываешь.

Он помолчал, вынул махорку и, протянув ее Травину, продолжал, меняя разговор:

— Эх, вот Клавка баба!.. Пойдем завтра, я тебя с ней познакомлю.

Слух о непригодности и постановке корабля на прикол быстро расползся по команде. Работать перестали.

Как-то на разводке боцман сказал команде:

— Я за вас, чертей, один отвечать не буду. Ишь, какую моду выдумали — берег да берег! А работать кто будет? Петр приедет, все расскажу!

— Если ты, старая шкура, хоть раз еще когда заикнешься об этом, — скрипя зубами, произнес Самбурский, — то пойдешь за борт считать заклепки. Слышишь?..

Старик понял, что до поры до времени надо помалкивать. И он молчал.

Однажды команда вернулась с берега. Были на тяжелых работах: разбирали имущество главвоенпорта. Пришли голодные, злые, а на корабле есть было нечего. Усталые легли спать. Боцман, подождав час-другой, пришел в салон и просвистел.

— Команде построиться! — скомандовал он, но никто не пошевелился.

Терентий Ильич встряхнул свою дудку и снова свистнул. Никто не тронулся с места.

Старик еще раз повторил приказание.

— Вы что — ошалели, что ль? Становись!

— Отстань! — злобно проговорил Самбурский и, повернувшись на другой бок, добавил: — Старый режим вводишь, служака? Долой! — выкрикнул он.

— Долой! — подхватили голоса.

— Дай ему!

И озлобленные парни, соскочив со своих мест, обступили боцмана.

— Бей! — выкрикнул Самбурский.

И это слово, будто авральный колокол, загудело в ушах старика. Он побледнел и застыл на месте.

Матросы, беснуясь, кричали, грозя старику. А он спокойно стоял, смотря куда-то в одну точку, и только одни заскорузлые пальцы его нервно перебирали звенья цепочки, словно четки. Вдруг он приложил дудку к губам и свистнул. Горлопанившие парни, подчиняясь флотскому закону и привычке, смолкли на мгновение.

— Кобели вы, а не матросы революции! Кобели!... — проговорил старик в тишине и поднялся на палубу.

XIII

Зима заботилась о своем наряде попрежнему. Март уходил, а снег все шел да шел.

Кочегар Колька Сафонов стоял у трапа, поеживаясь от холода. От соленой похлебки бурчало в животе и хотелось пить. Крупные хлопья снега медленно опускались на землю. Кругом было тихо.

Вдруг из снежной мглы раздался голос:

— Здорово, браток!

— Здорово! — Николай обернулся и увидел перед собой занесенную снегом фигуру.

— Командир на борту? — спросил неизвестный.

— Таких не водится.

— Кто командир, я спрашиваю?

— Богородица...

— Кто?

— Главный механик, инженер наш, — ответил Николай.

— Богородица? — повторил пришедший. — Так он и есть старший?

Колька улыбнулся.

— Зовут как инженера?

— Преображенский.

— Преображенский? Старый?

— Гроб! — ответил Сафонов.

«Да я с ним, кажется, знаком?.. Неужели жив старик? Преображенский...» — подумал неизвестный.

— Интересно, — проговорил он вслух. — Ты что же, молодой? — спросил он Сафонова, отворачивая поднятый воротник.

— По второму служу.

— О доме скучаешь?

Колька снова улыбнулся.

— Ну, скоро по домам. Хватит!

— Это почему? — спросил, оживляясь, Сафонов.— Вот вы, товарищ командир, говорите — по домам. А служба?

— Без кораблей какая же служба?

— А вот...

И Николай головой показал на свой корабль.

— Посмотрим, годится ли ваша посуда.

— А вы что же — из комиссии, что ль?

— Комиссия... Да, я из комиссии. А вы на вахте? — спросил неизвестный.

— Дневалю.

— Надо, товарищ дневальный, мандаты спрашивать, — проговорил он строго.

— Зачем спрашивать, когда известно, — ответил Сафонов.

— Долг, служба, устав... — произнес инспектирующий скороговоркой. — Так где помещается инженер?

— Спуститесь, там за салоном направо, — начал было пояснять Николай.

Но человек в кожаном пальто, не дождавшись ответа дневального, быстро исчез в люке.

«Как бы правда! Да нет, куда там! — думал Сафонов. — Спишут в экипаж, и пойдет старая песня...»

В этот день инженер долго ходил по кораблю с председателем технической комиссии.

Это был стройный, худощавый мужчина средних лет в кожаном пальто, с чуть заметной сединой на висках, с чистым, приятным лицом, мягким и, как показалось инженеру, знакомым голосом. Он очень вежливо и внимательно разговаривал с инженером Преображенским, расспрашивая его о службе. Интересовался нормой пайка, выражал беспокойство о здоровье старика.

— Я думаю, Михаил Серафимович, — сказал он, — что вам было бы не плохо перейти на берег, на преподавательскую работу.

Он сидел в глубоком кресле против инженера, курил свою изящную трубку, как-то просто и свободно разговаривал о том, о сем.

— Хотите, я переговорю с наморси? — продолжал он. — В ближайшие дни у нас предполагается открытие нескольких учебных заведений. Ваши знания... Право, хотите?

Инженер поблагодарил его за предложение, но отказался.

— Вы меня обижаете, товарищ Васильев, — сказал он. — Мой возраст... Я полагал, что он не служит основанием для списывания на берег. И потом, знаете, привык.

Спустя час представитель Москвы переоделся в комбинезон, предоставленный ему инженером, и приступил к осмотру. Васильев тщательно осматривал отсеки, водонепроницаемые переборки, интересовался междудонным пространством, трюмами, водоотливной системой, измерял плотность обшивки корпуса и, наконец, спустился в главную машину.

— Теперь вы можете быть свободны, товарищ инженер, — сказал он улыбаясь. — Благодарю вас. Не мерзните и подымайтесь. Остальное мы, право, закончим без вас. Ваша фамилия Гулай? — обратился он к Длинному Степану, который стоял за Преображенским, несколько поодаль.

— Так точно, — пробасил машинист.

— Вот вас я попрошу остаться. А вы, Михаил Серафимович, ступайте, прошу вас.

И он, взяв механика под руку, проводил его до трапа.

А после обхода корабля состоялось техническое совещание, на котором инженер Преображенский резко возражал против предложений технической инспекции. Расстроенный, удалился он в свою каюту и, укрывшись чем было можно, погрузился в чтение.

В каюте было холодно и темно. Бродили тени сумерек. На столе чадила коптилка, робко освещая желтые страницы старой книги.

«И заревет на него в этот день как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померкли в облаках...» — читал старик, но думал иное: «Они хотят, чтобы я подписал им эту бумагу. Но нет, это было бы преступлением».

Глаза снова ищут строки, находят их, скользят по ним. Уже который раз перечитывает он это место из Исайи, но другие, совсем другие мысли занимают его.

«Боже, да где же я встречал этого человека? — произносит он вслух. — Васильев... Откуда так знакомо мне его лицо, его голос, его улыбка?..» — Старик напрягает память, но она изменяет ему.

Перед тем как лечь спать, инженер вынул из шелкового

мешочка свои маленькие иконки, развесил их на гвоздиках, встал на колени и начал молиться. Долго шептал он молитвы, что-то прося у бога.

Только глубокой ночью он заснул, но спал тяжело и тревожно.

Где-то скрипнула тяжелая дверь переборки. Кто-то осторожно шагал по вздутому линолеуму палубы. Шаги раздались совсем рядом, за дверью каюты инженера. Потом чиркнула зажигалка, и два голоса заговорили сдержанным шопотом. Преображенский поднялся, осторожно открыл дверь в кают-компанию. Здесь было темно. Две согнувшиеся фигуры что-то шарили по палубе.

— Кто здесь? — спросил инженер.

Человек в кожаном пальто быстро приподнялся, и глаза их встретились. Прищуренные глаза старика и широко раскрытые, горящие красным огоньком глаза Васильева. «Так вот кто этот человек!» — подумал старик и вспомнил все сразу.

— Зачем вы здесь, Валентин Арнольдович? — проговорил Преображенский.

— Кто это? А, это вы, господин инженер! Я вас вчера сразу узнал. А вы и виду не подали. Конспирируетесь? — И человек в кожанке попробовал улыбнуться.

— Здесь нет люка, — шептал второй, тот, который что-то искал на палубе. Это был Самбурский.

— Возьмите правее, две четверти. Да режьте же, чего вы стоите, чорт бы вас взял! Это свой, — сказал он грубо. — Это мой помощник, — добавил он, изменив голос, обращаясь к инженеру.

Преображенский застыл у порога своей каюты, прислонясь к двери. Волнение охватило его. Сердце стучало, готовое выскочить. Ноги подкашивались, и он еле держался, чтобы не упасть.

— Зачем вы здесь? — повторил старик, скрывая волнение.

— У меня поручение. Здесь документы, ценности...

— Вы должны оставить корабль. Слышите, Стучевский? Идите, или я...

Инженер не договорил. Рука, пахнущая керосином, зажала старику рот.

— Молчите! Вы мне мешаете, — прохрипел Стучевский, и в его руке сверкнула узкая полоска кортика.—Идите прочь!—

И он резко втолкнул старика в его каюту, захлопнув за ним дверь.

Старик сел на койку и долго сидел так, роняя слезы. И ему со всеми подробностями вспомнилась их первая встреча.

Преображенский познакомился с Валентином Арнольдовичем Стучевским в 1913 году в Николаеве, при спуске линейного корабля «Мария» со стапелей «Руссуда». Надменный флигель-адъютант с царскими вензелями на погонах расхаживал тогда по площадке, задрапированной красным сукном, делая главному инженеру выговор. Нарочито вежливо, подбирая каждое слово, прислушиваясь к своему голосу и посматривая на пеструю толпу свиты, откуда доносилась оживленная французская речь придворных, Стучевский читал нотацию Преображенскому. Когда же Преображенский позволил себе заметить флигель-адъютанту, что рабочие не были повинны в задержке спуска корабля, а дело было в том, что государь император изволил прибыть на торжество спуска несколькими минутами раньше положенного срока, Стучевский оскорбительно сказал: «Молчать! Идите прочь!»

И вот, как тогда, вновь явился перед ним этот самонадеянный человек, словно призрак минувшего. И после революции и гражданской войны, здесь, на чужом для него корабле, тем же оскорбительным голосом снова командует ему: «Молчать! Идите прочь!»

«Все это было точно во сне, — думал он. — Люди играли роли. Был целый мир. Но вот представление окончилось. Появились другие люди. Грубые, пахнущие пóтом. По-своему, неумело взялись они за строительство нового. Разрушать стало их девизом. Разрушать все на своем пути, еще ничего не создав. Началась борьба, кровавая, страшная, беспощадная... Во имя чего происходит все это?»

Он вспомнил страшные эпизоды войны, гибель своего сына. «Тогда шли в бой за царя, за бога, за родину,— думал он.— Прошло время, люди прогнали царя, перестают верить в бога. Но родина! Осталось же то, чего нельзя разрушить и прогнать из сердца...» — «Идите прочь!» — звучал попрежнему обидный голос в его сознании.

Старик думал о разбитом флоте, уведенных, искалеченных кораблях. Вспомнил пьяного Самбурского и его угрозы.

Где же порядок, в чем смысл всего? Голод, унижения, вечные оскорбления за прошлое!..

— Боже мой, боже мой!.. — произнес он с отчаянием. И острая тоска охватила его. — Кричать, надо было кричать, поднимать людей. Почему я так поступил? Жалкий, маленький я человек...

Долго, словно в оцепенении, просидел старик в думах, но ни думы, ни слезы не освободили его душу от печали.

XIV

Наконец в небе повеселело, повеяло весною и наступила оттепель. На развороченных снарядами крышах заблестели сосульки, зазвенела капель. На заливе показались полыньи. Зашумели мутные потоки, и долгожданное солнце явилось.

Только попрежнему мрачные, грязные стояли корабли в гавани. На ближнем рейде кладбищенским крестом чернел такелаж затонувшего «Рюрика».

Шли дни, а о Петре не было ни слуху, ни духу. Команда решила, что парень «утек». И все пошло попрежнему.

— Твой ход. Так... Семерка! Бита! Ходи, — говорил Самбурский, заглядывая в чужие карты.

— Теля, ты бы ее валетом, — сердился Влас Травин на Тихомирова.

— Так, так, так, — твердил Самбурский, беря с кона брюки.

— Сними на счастье, Сережа.

И снимали...

— Были «шхеры» — и нет, — подзуживал Сафонов, настраивая балалайку.

— А на что ему брюки? Он, словно сыч, — на корабле. Никуда не ходит.

— Вот бы денег найти! Поехал бы я в Питер, гульнул, — мечтает вслух Сафонов, подвинчивая колки.

— Николай, пойди прибери палубу, твоя очередь, — сказал боцман, обращаясь к Сафонову.

— Ну, вот еще!

— Поди замети, — повторил боцман. — Будет лежать-то! Поди!

— Э, пристал...

Боцман взял голик и пошел сам.

Целыми днями лежал Сафонов на койке кверху животом и тренькал.

Под небом сумрачным Кронштадта,
Где жизнь матроса хуже ада...

пел он на мотив танго, тихим, каким-то девичьим голосом. А все хором подтягивали ему.

— Ай да Ржаной! — ударяя картой по столу, говорил Самбурский. — И как это у него складно получалось: «По нашим подсчетам, будем восстанавливать...» Боцман! Когда опробовать будем? — обратился он к Терентию Ильичу. — А, ушел, чорт!

Сафонов, закатив глаза, рвал струны и, тряся грифом, продолжал петь:

Оставьте, папа, мы решили с маменькой,
Что моим мужем будет с Балтики матрос...

— Ну, ходи с козырного, чего ты его держишь?

— Так! Крой, Глеб! Тащи, наша.

— Да, будет проба машин, — язвил сигнальщик и долго смеялся, шипя по-гусиному.

Быстро летели дни, медленно продвигалась работа. Только четверо и работали: Веригин с Дудиным да инженер с боцманом. И то: поработают старики час-другой в холодной машине и отправляются в салон кипяток пить — греться.

Гулай пропадал на берегу. Травин схлестнулся с Самбурским и целыми днями резался с ним в очко. То выиграет, то проиграет. О работе забыл, котлы забросил, и холодная кочегарка снова зарастала грязью. Все чаще и чаще стал возвращаться Травин с берега пьяным.

Несмотря на угрозу Самбурского, инженер работал каждый день. 3 апреля старик, как всегда, спустился в машину. Он стоял у тисков, в выгородке, и шабрил подшипник. Наверху, у цилиндров, хлопнула дверь, и на площадке появился Самбурский.

— Эй ты, богородица, перестань стучать! — крикнул он вниз.

Инженер поднял глаза. «Пьян», — подумал старик, продолжая работу.

— Кому говорю, перестань! — заорал Самбурский и, громыхая по железным ступенькам трапа, соскочил вниз. — Я тебе сколько раз приказывал сюда не ходить, а? Ну, брось!

Он вырвал из рук инженера шабер.

— Вот ткнуть в твою офицерскую глотку, контра...

Самбурский каждый раз при встрече с Преображенским нахально скалил зубы, передавая привет от старого начальника.

— Потрудитесь удалиться из машины, — приказал инженер и весь затрясся от волнения.

— Что-о? — протянул сигнальщик. — Удалиться? Мне?..

— Я вам приказываю, — повторил инженер, и голос его взвизгнул.

Вместо ответа Самбурский резко ударил ногой старика в живот, как били жандармы. Преображенский рухнул, ударившись головой о вентиль.

Схватив кувалду, Самбурский потряс ею над головою лежащего, подошел к динамо-машине, размахнулся и со злобой ударил по ее корпусу, словно он бил по Ржанову. Чугун хрустнул и разлетелся, обнажая лакированную обмотку электромагнитов.

— На! Поработай! — сказал он, переступая через Преображенского. Забросив кувалду, Самбурский поднялся наверх.

К девяти утра пришли Веригин и Дудин с сыновьями, но их на борт не пустили.

— Делать нечего, старики, топайте по домам! Коробку разбирать будем. Приказ есть. Топайте!

В это утро впервые сигнальщик Самбурский сам стоял дневальным у трапа. Остальная команда работала на берегу.

XV

Долго пролежал инженер в холодной машине. Из его разбитого затылка сочилась кровь. Длинный Степан, вернувшись с берега уже под вечер, спустился в машину, чтобы заправить в лампу керосина, и впотьмах наткнулся на лежащего человека.

— Кто здесь? — спросил он, невольно вздрогнув.

Старик застонал. Гулай зажег свет и увидел Преображенского.

— Ты что, старый?

Инженер прохрипел. Степан поставил лампу и быстро побежал наверх. Спустя минуту несколько человек появились в машине. Гулай на ходу рассказывал:

— Спускаюсь, значит. Хлоп — ноги. Смотрю — старик. Спрашиваю — стонет, — говорил он оживленно. — А ну, берись, братва, поднимай! — проговорил он своим обычным грубым голосом. — Под спину держи, под спину! А ты голову поддерживай...

Три пары рук подхватили легкое тело старика, и, мешая друг другу и топая по железу, матросы понесли его наверх.

Преображенский лежал на койке в салоне, тяжело дыша. Гулай, разодрав свою форменку, перевязал старику голову.

— Эй, ты! Чего задвигал ногами? Не знаешь, что ль, — зашипел он на зашумевшего моряка и погрозил кулаком.

Длинный Степан по нескольку раз в день подходил к инженеру, касаясь рукой головы старика.

Старик лежал тихо.

Около него на скамейке лежала вобла, несколько кристалликов сахарина на бумажке, белый сухарь и пачка махорки. Команда поделилась с ним, чем могла.

— Значит, тебе плохо стало, ты и сковырнулся? — уже в который раз спрашивал Гулай инженера.

Больной смотрел на него печальными глазами и еле-еле шевелил губами.

— А динамо кто разбил? Не знаешь?

И, не добившись ответа, он отходил от старика.

Длинный Степан допускал, что старик ослабел, упал и при падении разбил себе голову. Но кто и зачем разрушил динамо, понять не мог.

На другой день инженеру стало еще хуже. Тяжелый беспрестанный кашель душил его. Температура поднялась, и он стал бредить. Молча поодаль сидела в полумраке команда, прислушиваясь к несвязным словам и глухому стону больного.

— Терентий Ильич, Степан, — прошептал старик очнувшись. — Отправьте меня на берег, к сестре. Худо мне. Отнесите. Там я и...

Инженер не договорил. Глаза его снова закрылись, и хотя он не договорил, но все поняли, что хотел сказать старик.

Несколько дней стояла пасмурная погода. Время от времени накрапывал дождь, стелился туман, вокруг было серо, скучно. Насупленный, мрачный обнажался из-под снега Кронштадт. Но теплые дни продолжались недолго. Снова похолодало, повалил снег, густой, крупный, и все стало вокруг чисто и светло, как в празднично прибранном доме. Только болтовня птиц, торопливо вьющих себе гнезда в парке, говорила о весне, да воздух, чудесный, пьянящий воздух кружил голову.

Три дня штормовала погода. Лед на заливе взломало и наторосило. Образовавшиеся было в оттепель полыньи запорошило снегом. Ослепительно яркий лежал снег под апрельским солнцем.

Путь с материка на остров был не безопасен.

Бодрый, с хорошим настроением, полный силы и веры в себя, сошел Петр в Ораниенбауме с поезда.

Он возвращался из Москвы со съезда. Но возвращался не один. Маленькая фигурка в женской старинной кацавейке с длинными рукавами вприпрыжку бежала за ним.

— Замерз, небось? — спрашивал Петр, наклоняясь и заглядывая в лицо малышу.

— Нет, дяденька.

— Скоро дойдем. Вон, видишь? Смотри!

Они спустились с берега на лед залива, и перед ними за снежной равниной показался Кронштадт.

Четко прорезывались знакомые очертания острова. Широкий, как чаша, купол морского собора с горящим на солнце крестом, знакомые бездымные трубы, маяки, вышки и, словно оголенный зимою лес, корабельные мачты.

А дальше — и вправо и влево — все сливалось в неширокую синюю полосу.

— Видишь? — Петр показал рукой. — Там мы с тобой жить будем... Да ты под ноги гляди! Шагай, где я, а то провалишься.

Он взял малыша за руку и зашагал с ним рядом.

Фарватер, проложенный ледоколом, переходили долго, прыгая с льдины на льдину, перебираясь по жердям. Вторую половину залива Петр нес ребенка на руках.

— Ну, вот мы и дома, — сказал он, поставив малыша на ноги и показав на корабль.

Вахтенного не было. «Странно», — подумал Петр, шагая по сходням.

Грязная палуба, кислый воздух кубрика, стук падающих капель, глухой храп сразу напомнили Петру его первый приход на корабль.

— Давай я с тебя этот бабий убор сниму, — сказал он, раздевая ребенка.

Звонкий голос мальчишки, запах печеной картошки разбудили спящих, и они заворочались на койках.

— Никак, баба? — тараща глаза, пробасил Травин. — Ржанов?! А мы думали, ты утек. Неделя, смотрим, другая, а тебя нет.

Он сел на койке, свесив ноги, и стал разглядывать маленького незнакомца.

— Верно, думали, что ты смылся, — подходя к столу, сказал Голиченко, поглядывая на хлеб.

— Девка, что ль? — спросил Травин почесываясь.

— Парень, — ответил Ржанов, подавая малышу кружку с чаем.

Ребенок жадно, словно волчонок, ел хлеб, вцепившись в него обеими ручонками.

— Это всем нам на счастье, — проговорил Петр, и что-то доброе, хорошее послышалось в его голосе.

— Ну, и зря, — сказал Сафонов. — Самим жрать нечего.

— Не объест, — возразил Тихомиров.

— Объест не объест, а щенят разводить незачем.

— Не твоего ума дело, ты!..—пробасил Длинный Степан.— Лежи там, помалкивай.

Сафонов что-то буркнул из своего угла еще, но Тихомиров прервал его.

— Мой, наверное, тоже таким был бы, — сказал он нежно, глядя на ребенка.

Команда поднялась с коек и обступила Ржанова.

В первый момент Петр почувствовал что-то похожее на ненависть к этим людям, которые были здесь и которые обманули не только его, но и то большое, чистое, от чьего имени он все это делал.

Петр был слишком взволнован своими новыми мыслями, и разгоревшееся в нем раздражение стало гаснуть перед тем огромным и важным, что занимало его все это последнее время и что хотел донести он этим людям.

Все сидели вокруг Петра, а он рассказывал о Москве, о решениях XI съезда. Петр говорил о товарообороте между городом и деревней, о нэпе, о всем том, что волновало республику. В его ушах все еще звучал голос Ленина, призывавший учиться работать.

— Первый этап революции — защита советской федерации от врагов внешних и внутренних — пройден, — говорил Ржанов. — Мы отстаивали право на свое существование. Теперь мы вступили во второй: укрепление материальной базы страны. Голод, разруха, — продолжал он, — задача трудная. Мы измучены двумя войнами. — Петр говорил тихо, сдерживая нервную дрожь в голосе. — Республика наша прошла через горнило революции. Да, прошла, — повторил он еще раз, вспоминая слова Владимира Ильича на съезде и подыскивая нужное слово, но никак не мог его подобрать. Волнение с новой силой охватило его.

Люди сидели за круглым столом, поглощенные едой. Они грязными руками ели картошку, обжигаясь, тряся пальцами и дуя на них.

Когда Степан Гулай спросил о смычке, что она означает, Петр ответил.

— Очередная агитнеделя!.. — фыркнул Травин.

— Нет, браток, не неделя, — возразил Петр.

Слушали Петра молча. Первым заговорил Гулай.

— Вот ты про Москву рассказываешь, — сказал он. — Может, оно, по-твоему, и верно, так. А ты мне вот что скажи, — Гулай говорил медленно, останавливаясь, повторяя и спрашивая. — Известно тебе, что у нас по кораблям комиссия ходит и акты составляет? — Он замолк, посмотрел по сторонам и добавил: — Факт!

— Нет, не знаю. Ну? — спросил Петр.

— Так вот, значит, ходит по кораблям комиссия, щупает коробочки и отправляет их на тот свет.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Факт, я тебе говорю — факт! — повторил Гулай.

— Была здесь без тебя комиссия, — объяснил Тихомиров, — приходили и будто бы подписали акт о непригодности нашего корабля.

«Еще новости!» — подумал Петр.

— Не подписали, — поправил Длинный Степан. — А что составлен, то верно.

— Ну, дальше?

— Все, — ответил Гулай.

— Кто такие, откуда?

— Чорт их знает! Пришло начальство, поди дотронься до него.

— Они все с богородицей больше шушукались, — вставил Сафонов, все еще продолжавший лежать на койке.

На трапе показался Терентий Ильич.

— Правду говорят, что комиссия была? — спросил Петр, увидев боцмана.

— Была, — ответил старик, протягивая руку Петру. — Здорово, пропащий! — произнес он, радостно смотря на Ржанова.

— Ну, здорово, — ответил Петр холодно. — Ты чего смотрел?

— С меня, Петр Емельянович, хватит!

Боцман хотел что-то сказать, но покачал головой и сел у печки, опустив голову.

— Инженер где? — спросил Петр. И вдруг закричал: — Ротозеи вы! Развели богадельню, братишечки!..

— Ты не авраль, ты послушай! — спокойно сказал Длин-

ный Степан. — Начальство строить нечего, видели! — И он рассказал про неизвестного человека, про акт, который не подписал инженер, и о том, как нашли инженера в машине. — Старику плохо, — добавил Гулай. — Выживет или нет — не знаю.

Все сидели молча. Петр ходил по салону, еле сдерживая себя от ярости.

Было обидно и больно. Хотелось кричать, бить их всех за их слабость, за доверие, за их пустые, никому не нужные рассуждения. «Я-то думал!..» — вспоминал он свои мысли на съезде в Москве.

Как противны ему были все их маленькие, ничтожные интересы, с разговорами о жратве, пайках, новой форме, девочках.

Петру казалось, что все было ясно. Он не представлял, как могут они не видеть того большого, что видел он. Как могли думать они о чем-либо ином, делать что-либо другое, как не то, что занимало самого Петра!..

— Самбурский где? — спросил Петр.

— Дезертировал.

— Упустили бандита... Так и знал! — ударяя кулаком по столу, сказал Петр.

XVI

Уложив на свою койку малыша и ничего никому не сказав, Петр сошел с корабля и направился к Преображенскому. Полдень был в разгаре. Солнце блистало в каждой капле, все было исполнено пробуждения и радости.

Петр постучал и тихо отворил дверь. В лицо пахнуло спертым запахом лекарства, пыли и керосиновой гари. Переступив порог, он увидел большую комнату, уставленную вещами и старинной, смешанной мебелью, как это бывает в домах, где родилось, воспиталось и выросло не одно поколение людей. Вещи громоздились друг на друга и властвовали, оставляя для обитателей жилища извилистые, едва проходимые тропинки.

Топилась «буржуйка», на конфорке что-то шипело. Синий дым наполнял комнату.

— Ух, душно, — произнес Петр, расстегивая ворот бушлата.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Вы бы форточку приоткрыли, — сказал Петр, пробираясь к занавешенному окну.

Из-за ширмы навстречу Петру вышла женщина, укутанная в шаль.

— Вам Михаила Серафимовича? — спросила она, не узнав Ржанова. — А ведь он болен.

— Знаю, я проведать пришел, — ответил Петр грубо и сам смутился. Им все еще владели раздражающие его мысли. Петр отстранил штору. Сноп солнечного света ворвался в комнату, осветив восковое лицо старика, высоко лежащего на подушках.

— Спит? — спросил Петр, указывая на больного.

Женщина молча пожала плечами.

— Ну? — произнес Петр, улыбаясь, заметив устремленный на себя взгляд Преображенского.

Вместо ответа старик закашлялся, уронив голову, и в груди у него заклокотало. «Не узнает», — подумал Петр и, обращаясь к сестре инженера, спросил:

— Простите, товарищ, забыл ваше имя?

— Варвара Серафимовна, — ответила она тихо.

— Вот, Варвара Серафимовна, — загудел Петр. — Возьмите для брата. — Он стал разгружать свои карманы, извлекая из них консервы, сухари, сахар. — Доктора что говорят?

— Плохо, — ответила женщина и грустными глазами, в которых не было ни сил, ни надежды, посмотрела на брата.

«В машине подцепил», — подумал Петр, вспоминая рассказ Длинного Степана и шушуканье команды.

Петр раскидывал умом по-разному. Молчание инженера Преображенского он объяснял себе (мы всегда ищем более сложных объяснений) тайными связями его с людьми старого мира. Петру и в голову не приходило, что молчание старика объяснялось его дворянской «честью».

«Мне, высшему офицеру, доносить на нижнего чина», — думал Преображенский и всякий раз при этом брезгливо морщился.

Когда Петр обратился к Преображенскому со своим «ну?», старик думал о своей чести.

Ржанов стоял у изголовья, широко расставив ноги. Он всматривался в лицо старика. Преображенский лежал с закрытыми глазами и глухо стонал не то от боли, не то во сне.

— Добро, — проговорил Петр, как бы определяя этим словом ход своих дум.

Заслонив инженера ширмой, он открыл форточку. В лицо с улицы плеснуло студеным воздухом. На дворе было тихо

и слышался звон капели. Старые часы глухо отбивали ритм времени. Петру казалось, что вот-вот они остановятся, робкий ход их замрет и все вместе с ними замолчит в этом доме.

«Жаль старика», — подумал Петр. Он отошел, сел за стол. Не умея зря тратить время, Петр вынул тетрадь и стал решать задачи, заданные ему геометром Рыбкиным.

Тонкий, как струйка, солнечный луч, в котором кружились пылинки, скользнул по столу, потом перебрался на стену и стал красться по ней слева направо, обходя комнату.

Петр долго считал, склонившись над столом, углубленный в свои мысли. В комнате было тихо, и только часы твердили все одно и то же, все то, что давно было известно Петру. «Штурмана надо, рулевого надо, угля... запасных частей... продовольствия...» — твердили часы, сбивая его.

«Э, да знаю, сам знаю», — мысленно возразил Петр, погружаясь в какой-то туман, чувствуя, что не успевает написать нужной формулы. «Надо, надо, надо...» — докучливо повторяли часы, но Петр уже не обращал на них никакого внимания. Потом и они замолчали, и все смолкло.

Все дальше и дальше уходил он в немую тишину. Перо выпало из рук, он опустил голову на исписанные страницы и задремал.

Незнакомый голос произнес его имя и звал куда-то. Холодный поток воздуха из раскрытого окна знобил плечи и будил его. Туман становился реже, и сквозь него отчетливее проступали заботы дня.

— Вы мне подсóбите, молодой человек? — сказал кто-то.

Петр открыл глаза и увидел перед собой пожилого человека. Это был госпитальный врач, приятель Преображенского.

— Подсóбите? — повторил он.

Петр кивнул головой.

За окном были сумерки. На столе под зеленым абажуром горела «молния». На печурке в маленьком чугунке кипятились инструменты. Врач возился около больного, приготовляя его к операции. Варвара Серафимовна подала большое, расшитое яркими узорами полотенце, от которого пахло лежалым. Этим полотенцем связали руки инженера. Доктор пояснил Петру, как и где надо поддерживать тело, и операция началась.

— Ну, вот и все. Теперь будет лучше, — сказал уверенно врач. — Теперь, батенька, ты будешь выздоравливать.

XVII

Прошло несколько дней. Возвращаясь как-то из штаба флота, Петр завернул в маленькую уличку, расположенную в западной части острова, где жил Преображенский. На небольшом дворике было сухо. Остатки грязного снега лежали под забором. У низкого крыльца пустовала собачья конура, и клок мокрой соломы торчал из лаза. Под водосточной трубой, доверху наполненная водой, забухала бочка. День был серый, скучный. Все вокруг словно дремало, лишь одни воробьи безумолку чирикали, то появляясь, то прячась под наличниками. С залива тянуло соленой влагой. Запах моря смешивался с запахом пряной, еще не обсохшей земли; и было приятно и весело на душе от этого запаха.

Петр быстро взбежал по лестнице и остановился на площадке, услышав за дверью музыку. Тихая, нежная, лилась она, повествуя о счастье. Но бодрые звуки постепенно ушли, повеяло увяданием и безнадежностью. Внимая мелодии, Петр забылся и долго стоял так, не в силах сделать движение, смотря через разбитое окно на унылую природу.

По берегу, вытянувшись, стояли скучные кирпичные корпуса казарм береговой обороны. За их крышами был виден залив, а дальше за ледовым простором туманный, чуть различаемый, тонущий в синеве берег «Красной Горки», Ораниенбаума и Петергофа.

— О, чорт, однако, — проговорил Петр, спохватившись, что он стоит у окна. «Словно хмелем отуманило, — подумал он. — Во сила!»

Петр вскинул голову, как бы желая резким движением прогнать странные, навеянные музыкой, чувства. Что-то непонятное испытывал он. Ему хотелось быть добрым и нежным и всех любить.

— Вот и хорошо, — сказал он, обрадованный, когда музыка за дверью прекратилась. Он почувствовал облегчение, словно высвободился из-под вериг. Петр отворил дверь и поспешно вошел в дом, машинально повторяя врезавшийся в память мотив.

Преображенский сидел за роялем, склонив голову над клавишами, положив свои сухие руки на крышку инструмента. Ворох мыслей теснился в его голове: кража золота Стучевским из потайной корабельной кассы; золотой, оставленный им, «в знак благодарности».

— Тоска, тоска!.. — шептал он тихо. — Боже мой, боже!..

Сознание своей ничтожности, одиночество тяготили его. Только музыка на мгновение смогла отвлечь его. Он забылся и погрузился в иные думы.

Всю жизнь ему казалось, что где-то там, впереди, он встретит свое счастье. Что значило это счастье, он не знал. Он только твердо верил во все хорошее и ждал его. Какой гордой радостью светились тогда его глаза, каких благородных влечений была полна его душа!.. Она была свободна, щедра и жила будущим. В ней таилась неисчислимая сила жизни, готовая вызвать на поединок весь мир. Не оглядываясь, шагал он в жизнь навстречу тому, ради чего жил. «Да, ради чего я жил? Что я сделал? Зачем я?..» Впервые он оглянулся и понял, понял, что жизнь пройдена. На душе стало печально, холодно, как на ниве поздней осенью. Все обнажилось, поблекло, все уже, казалось, было в прошлом. «Но чего же жаль мне? — подумал он. — Юности? Да, утраченных мечтаний», — промелькнуло где-то в сознании, и от этой мысли с новой силой защемило сердце. Петр несколько раз окликнул старика, но Преображенский не отвечал ему.

— О чем вы задумались? — спросил его Петр, прикасаясь до него рукой.

— А, это вы, Петр Емельянович! — встрепенулся старик, словно смутившись, что Ржанов застал его наедине с его мыслями. — О печали сердца задумался, — проговорил он со вздохом.

— Болит сердце, Михаил Серафимович?

— Да, пусто в душе...

Петру было жаль старика. Хотелось утешить его, прижать к себе, но он сдержался.

— Нет будущего, одно пережитое, — продолжал старик. — Вы не испытали этого, и вам едва ли понять то, о чем я говорю. Ну, да и слава богу!

Петр молчал, вслушиваясь в его слова. «Зачем они?» — подумал Петр. В словах старика было что-то схожее с той музыкой, которую Петр только что слышал.

Старик глядел на Петра и все тем же тоном, робким, чуждым жизни, опуская крышку рояля, словно то была крышка гроба, под которой он навсегда хоронил свои надежды, произнес:

— Настоящее... оно так ужасно, так страшно!..

— Шлаку много, Михаил Серафимович, выбросить надо!— сказал вдруг Петр.

«Неучтиво, грубо», — подумал старик.

— Кого страшитесь? — продолжал Петр сухо, словно допрашивая. — Страшна внутренняя подлость. Она, как ржавчина, разъедает человека и рано или поздно уничтожает его.

«Нравоучение или упрек? — думал инженер. — Как тошно и тяжело это слушать!..»

— Вы хнычете, ковыряетесь в себе. Зачем?..

«Жесткие люди. Как тяжело жить среди вас!..»

Но резкие слова Петра затронули в нем какую-то глубоко спрятанную струну. Она издала звук, неверный, робкий, но он оживился от этого звука. В глубине души инженера таилось сомнение, противоречивое и цепкое, как привычка. Ему хотелось освободиться от старого. Оно тяготило, унижало и причиняло всегда лишь только одну боль. Но как ни странно, боль эта была приятна ему. Он дорожил ею и расставаться с нею не хотел. «Что тогда останется мне?» — думал старик, поспешно пряча от самого себя эти чувства.

Пережитое было единственным наследством его души. Он оберегал его, ибо жил только прошлым.

— Чувство человеческой, если хотите, национальной гордости должно вселять в нас жизненную упругость, — говорил Петр.

— Чувство своей ненужности, моральной изношенности — таково сознание людей, живущих на переломе эпох.

— Бросьте, Михаил Серафимович! При чем тут эпоха, перелом?.. Просто гнилая интеллигентская кишка. Бурчит она и не дает вам покоя.

— Нечутко, грубо, Петр Емельянович.

— Вы все оглядываетесь на прошлое. А что вы там ищете? Оно ушло. Оно мертво. Посмотрите, сколько живого, нового, способного прет из народа, и то ли еще будет!..

«Для него все так просто и легко! — подумал старик. — Но не для меня». И он возразил и Петру и самому себе:

— Нет, не говорите. У меня все в прошлом. И мне осталось дожить дни, отсчитанные судьбой.

— Жизнь не в годах, — сказал Петр, — а как бы это вам объяснить... Ну, я хочу сказать, — продолжал Петр, — что только мертвец отстает от жизни. Родиться никогда не поздно. В любое время можно встать в строй, чтобы творить.

— Это не моя миссия. Я уже больше никому не нужен.

— Вы слишком заняты собой. Это и есть та самая кишка...

Старик вздохнул.

— Скажите, Михаил Серафимович, разве вы безразличны к флоту? К кораблю? К его людям?

Инженер молчал.

— Вы видите, у нас нет опыта. Многое мы не умеем, заточим — бросим. Материала и времени уходит пропасть. Но взгляните, как работают люди! Они трудятся по шестнадцати часов, упорно добиваясь того, чтобы собрать и запустить механизм. Посмотрите, — продолжал Петр, воодушевляясь, — как радуется своему труду наша братва и заводские рабочие!

— Вы, Петр Емельянович, в хаосе видите будущее. Я — слеп.

— Хорошо, Михаил Серафимович. Вы не верите в нашу правду. Но вы русский человек. Посмотрите с этой точки зрения на действительность и найдите в ней свое место.

Это была новая мысль, новая по своей простоте и ясности.

«Да, я русский человек, — рассуждал старик. — Но разве это имеет теперь какое-нибудь значение для вас?»

— Мы часто жестки и грубы, — говорил Петр, смотря на морщины старика. — Мы не заботимся о приличной фразе, мы спешим, не замечая порой ни характеров, ни настроений людей. Что поделаешь, Михаил Серафимович, время штормовое, аврал! Вы говорите — миссия, — продолжал Петр. — Она есть. Учите людей, оздоровляйте их трудом. Они заржавели от войн, от голода, от безделья.

Старые часы глухо, словно кашляя, отбили полночь. Петр простился с инженером и пошел на корабль.

XVIII

— Вы мне, Михаил Серафимович, обещали намедни корабли свои показать, — сказал Петр, переступая порог дома Преображенского. Был поздний вечер.

— Извольте... Варварушка, — обратился кораблестроитель к сестре, — где папка с проектами?

Инженер, шмыгая туфлями, заглянул за комод, за этажерку. Папка оказалась за книжным шкафом.

Преображенский вытащил огромную пыльную папку, обтер ее, развязал тесемки и, прибавив фитиля в лампе, стал показывать Петру изображения кораблей, исполненные акварелью.

У Петра загорелись глаза.

Это были линейные корабли «Мария», «Екатерина», «Александр», сверхлинейный корабль «Николай», быстроходнейшие турбинные крейсеры «Ушаков», «Истомин», «Лазарев»,

«Корнилов», «Макаров» и целый дивизион эскадренных миноносцев типа «Новик».

Ржанов знал, что из этой могущественной эскадры кораблей часть уже бороздила воды Черного моря, а часть должна была вступить в строй не позже семнадцатого года.

«Мария» и «Екатерина», вступившие в строй в пятнадцатом году, были вскоре взорваны предательской рукой и погибли. Крейсеры частью были спущены, частью только заложены, но в строй не вступали.

Петр смотрел то на корабли, то на сидящего перед ним старика с пледом на плечах и думал о том, какова должна быть мощь воли, сила энергии и широта ума этого человека, чтобы задумать и осуществить все это.

Петр на минуту мечтательно задумался. В своем воображении он видел эти корабли живыми, стоящими на большом рейде Кронштадта под красными флагами.

— И это будет! — сказал он себе.

— Вы о чем, Петр Емельянович? — спросил его Преображенский.

— Вам известно, какой флот строят Англия и Франция на основе новейших открытий и усовершенствований? — спросил Петр.

— Мне известно одно: в судостроительной промышленности Франции миллион двести тысяч рабочих, а в мировую войну их было всего двести тысяч, — сказал Преображенский.

— Ага, вот видите! — подхватил Петр и оживленно заговорил о флоте как о деле государственной важности. Он вспомнил совещание военных делегатов XI съезда, которым руководил Михаил Фрунзе, вспомнил бурные речи моряков о необходимости быстрого возрождения флота, о повышении его боеспособности, сокращении внешних нарядов, четком организационном и хозяйственном режиме. И, вспомнив, он рассказал обо всем этом Преображенскому.

Петр говорил, что если русские действительно дорожат своими революционными завоеваниями, дорожат возможностью использовать мирную передышку, добытую в боях, добытую путем величайшего национального унижения (речь шла о Брестском мире) и тяжелых потерь, то апатию нужно сбросить и все силы и средства отдать трудовой, строящей новую жизнь России.

— Народ так изморен, разорен и устал, — сказал Преображенский со вздохом. — Ему не под силу при данных условиях те задачи, о которых вы говорите.

— Кто же создаст нам эти условия? — спросил Петр. — Не благородные ли классы, как вы называете дворянство... «Их благородия» Россией ныне не дорожат. Они ее считали своей и защищали, когда Россия была страной кнута. Теперь они Россию предают и продают. А поставленную задачу мы должны решить, если вообще хотим жить и развиваться, — сказал Ржанов.

— Старый мир мечется по кровавым следам, в атмосфере вражды, ненависти, озверения. Это вы правду сказали, Петр Емельянович.

— Выход один: немедля, энергично ковать новое оружие и на суше и на море. Иначе нас загрызут. Одни мирные договоры и наши хорошие намерения нас не спасут, — сказал Петр.

— Тяжки пути революции, — проговорил Преображенский, глядя усталыми, грустными глазами на Петра.

Петр, набив трубку и попросив разрешения, закурил. Попыхивая дымом, он напомнил Преображенскому о том, как германские насильники не считались с Брестским договором, занимали русскую землю, грабили русское имущество, уничтожали русский Балтийский флот.

— Помните, как было в восемнадцатом? — спросил Петр.

— Помню, мой друг, помню...

— Мы создали тогда армию. Создали в момент полного распада старых государственных швов, в обстановке разрухи, усталости, голода, после мировой войны и Антанты. Тогда многие не верили в эту силу, но она есть! Теперь мы должны создать флот — квалифицированную военную силу, стоящую на уровне современных требований.

— Время не приспело, Петр Емельянович, — возразил Преображенский. — Для этого нужна благоприятная материальная обстановка.

— Ветром надует, что ль, благоприятную-то обстановку?— спросил Петр.

Преображенский хотел было сказать об условиях корабельной жизни, питании, общем снабжении флота, но Петр предупредил его.

— Все это полбеды, Михаил Серафимович, — сказал Петр, как бы поняв его мысли. — Главное — люди. Вот как заложим, построим да спустим, время придет, на воду ваших красавцев, — говорил Петр, указывая на крейсеры, — а людей для управления ими у нас не будет. Что тогда? — спросил Петр.

— Полно, что это вы такое говорите, Петр Емельянович? — сказал инженер. — Виданное ли это дело строить корабли теперь, когда... — Он не договорил и с удивлением посмотрел на Петра, как смотрят на фантазера.

— А вы думаете их здесь в пыли за шкафом похоронить? Ан нет! Не выйдет! — воскликнул Петр.

— Извините, Петр Емельянович, но это... — старик замялся. — Это не серьезно, не реально, — договорил он смущенно и принялся было убирать чертежи в папку.

— Погодите, — сказал Петр. — Давайте разочтем с вами, что требуется для этого.

— Бедны мы...

— Бедность не порок... А вот как залатаем прорехи, счистим ржавчину и начнем готовить людей, а соберем силы и, глядишь, через годок-другой двинем — начнем новые корабли строить. Я думаю вот на этом вашем красавце поплавать, — сказал Петр, указывая на «Ушакова». — Верно? — спросил он.

— Верно-то верно... — пробурчал старик.

— Еще что надобно?

— Ушаков имя старое, но славное, — сказал Преображенский. — А вы нас, стариков, считаете обломками отмершего государственного строя. Мы — старое, а все старое вами разрушено и выброшено.

— Не все за борт, Михаил Серафимович. Старые кадровые офицеры, что бок о бок с нами боролись за утверждение диктатуры пролетариата, эти не выкинуты. Еще что требуется? — спросил Петр.

— Требуется единство мысли и воли. Флот воспитывается и обучается на основе единых понятий, единых взглядов. Раньше это единство доктриной называлось; да знаю я, не любите вы теперь этого слова, — сказал Преображенский.

— Дело не в слове, Михаил Серафимович, а единство мысли и воли у нас имеется, — сказал Петр. — Воспитание и обучение мы построим на труде. Труд обучит и воспитает.

— ...Это единство, — продолжал Преображенский, — должно пропитать все стороны жизни флота. Жизнь флота складывается из двух моментов: политического и военно-технического. Политического я не касаюсь, — поспешил добавить инженер. — Организация и характер вооруженных сил страны, как вы правильно изволили заметить, теснейшим образом связаны с характером общего социального быта и, в частности, с природой общественного класса, стоящего у власти.

Здесь мы видим полную закономерность, определенность и ясность, — сказал Преображенский.

— Для вождя рабочего класса — Коммунистической партии — ясен и второй момент, — сказал Петр, и он пояснил его: — Флот призван защищать пролетарскую диктатуру от покушений контрреволюции, внутренней и мировой. И эту задачу выполнит лишь такой флот, который по своему составу и духу будет пролетарским, а по технике — передовым.

— Вы хотите сказать: народным?

— Нет, Михаил Серафимович, я точно сказал: пролетарским, флотом трудовых классов, дорожащих своим государством и держащих власть в своих руках. Но не народным в старом смысле этого слова. С этим представлением, Михаил Серафимович, необходимо порвать... Согласитесь, — продолжал Петр, — что и в прежнее время никакой народной армии не существовало и существовать не могло. Так называемые народные армии всегда являлись армиями, представлявшими интересы не народа, а господствующих классов. Мы говорим честно и прямо: наша армия рабоче-крестьянская. Принципам православия, самодержавия и народности мы противопоставили свои: революционный коммунизм, международную солидарность всех трудящихся, советскую власть.

— Да вот, — помолчав, сказал Петр, указывая на корабли Преображенского, носящие имена русских прославленных флотоводцев. — Этих адмиралов, я думаю, мы на советскую службу примем. Мы не всех выбросили, — добавил он, возвращаясь к теме, поднятой Преображенским.

Так они сидели и говорили. Давно была глухая ночь. Выгоревшая лампа-«молния» чуть мигала.

Преображенский, кутаясь в плед, слушал Петра, говорившего о мобилизационных планах для промышленности и сельского хозяйства; о желательности обобщения опыта мировой и гражданской войн; о необходимости связи с наукой, накапливании практических выводов и о том, что Преображенскому следует потрудиться над сплочением военно-научных сил флота.

Старик слушал логическую, уверенную речь Петра и невольно сравнивал его с честолюбивыми, надменными адмиралами минувшей эпохи — Воеводским, Григоровичем, Рождественским, Виреном, Русиным, Непениным, Эбергардом, Эссеном — вершителями судеб дореволюционного флота — и, сравнивая, сделал вывод не в пользу адмиралов.

Уже под утро, прощаясь с инженером, Петр на пороге ласково, по-хорошему спросил:

— Ну как, Михаил Серафимович, одолеем?

— Мы по-разному смотрим, — сказал старик устало.

— Вот, вот! «Вокруг темно и мрачно». Вы говорите: «Время идет к ночи», а мы говорим: «К рассвету». И правда за нами. Видите? — добавил он, указывая рукой на предрассветную алую полосу на горизонте. — Ступайте, ступайте, а то прохватит, — сказал Петр заботливо и сбежал с крыльца на хрустящий под ногами вешний ледок.

XIX

В огромном кабинете командира Кронштадтского военного порта было пусто. Голос и шаги под сводчатым потолком старого здания раздавались гулко.

Петр отворил дверь и в глубине комнаты увидел сидящего за письменным столом человека в накинутой на плечи шинели. В кабинете было холоднее, чем на улице, и пахло сыростью. Петр прошел через всю комнату и остановился у стола. Человек сидел, уткнувшись в бумаги, не обращая внимания на вошедшего.

— Что ж, получу я уголь, товарищ Затылкин? — проговорил Петр, выкладывая на стол требования.

Сидящий поднял голову и мутными, безразличными глазами посмотрел на Ржанова.

— Не могу, — ответил он после минутного раздумья по слогам, словно для того, чтобы сделать свой ответ более веским и значительным.

— Вы мне дело срываете, — сказал Петр. — Мне механизмы опробовать надо, а вы...

— Я вам ничего не срываю, товарищ, — перебил сидящий Ржанова. — Ваша заявка мною направлена в штаб для согласования. Понимаете? — И он снова опустил голову и уткнулся в свои бумаги.

В это время дверь приоткрылась и в кабинет тихо, на цыпочках вошел человек маленького роста.

— Позволите? — спросил он, осторожно прикрывая дверь.

— А, товарищ Стелькин! Пожалуйте, пожалуйте, — ответил Затылкин, приподымаясь навстречу и кланяясь. — Садитесь, любезный. Рассказывайте, какие новости? — спросил он, указывая на стул и снова усаживаясь в свое уютное мягкое кресло.

Они непринужденно заговорили о погоде, о весне и каких-то женщинах. И командир порта и неизвестный Петру человек разговаривали так, будто Ржанова и не было в этой комнате, и он

был не человек, а так, вещь, на которую не стоило обращать внимания.

— Так вы говорите, Юлия Владимировна изменилась? — озабоченно переспросил командир порта, качая головой.

— Вы бы ее теперь не узнали, товарищ Затылкин, даю вам благородное слово. А помните?.. Да, уважаемый Михаил Викторович, совсем было забыл передать вам вот это.

Стелькин вынул из бумажника маленький розовый конверт и с поклоном протянул его начальнику.

— Она так нуждается в вашем участии, ее муж... горе! — маленький человек вздохнул и робко улыбнулся какой-то готовой, заученной улыбкой.

Петр стоял рядом, невольно прислушиваясь к постороннему, неинтересному для него разговору. Сверху он видел лысую голову командира, которую прикрывали жидкие, зачесанные с висков и тщательно разложенные по черепу волосы.

Маленький человек встал и, перегнувшись через край стола, что-то тихо сказал командиру порта на неизвестном Петру языке. Они засмеялись. Маленький человек подал еще бумагу.

— Пожалуйста! — проговорил Затылкин по-русски и положил резолюцию.

— Благодарю и не смею задерживать вас, уважаемый товарищ Затылкин, — сказал незнакомец, улыбаясь и кланяясь, и, наклонив голову, как-то боком отошел от стола.

«Ведь не для себя же прошу, — думал Петр в это время. — Я работаю для революции. Партия сказала — вот я и делаю...»

Но дело часто наталкивалось на какое-то сопротивление; невидимое, неощутимое было это сопротивление. Те, к кому ему приходилось обращаться и мимо которых нельзя было пройти, рассуждал Петр, тоже говорили от имени революции и... тормозили дело. Канцелярская рутина, словно илистое дно, засасывала все живое. «Приходите завтра», «подумаем», «надо обсудить, согласовать», — говорили ему.

«Почему вечно приходится бороться, и против кого?» — не раз задавал он себе вопрос, и ответить на него было очень трудно.

Петр замечал, что появлялись какие-то новые люди, и люди эти несли с собой свои правила и новые отношения людей. Какими-то особыми средствами добивались для себя нужного, и все это не прямым путем, а боковыми, им одним известными ходами. Он невольно подумал о маленьком человеке с застывшей улыбкой, его довольной физиономии, угодливой позе и чужом, непонятном языке.

Петр продолжал стоять, погруженный в свои мысли. А начальник, сидящий за столом, не обращая на него ни малейшего внимания, шелестел бумагами. Так прошло несколько минут.

Через раскрытое окно под своды мрачного кабинета донесся какой-то шум, похожий на шум ливня. Этот звук пробудил Петра.

За окном по чугунным плитам мостовой, отбивая шаг, проходил батальон моряков.

Петр по какой-то связи вспомнил топот матросских ног тогда, в Октябре. Вспомнил стук прикладов по мрамору Зимнего, бурную громыхающую речь братвы и простое содержание этой речи: «Даешь!»

«Без угля не уйду», — решил Петр и, шагнув вперед, положил свои кулаки на стол командира порта.

— Уголь мне нужен, уголь! Слышите?! — произнес Петр, еле сдерживая себя.

И огромная комната загудела, наполнившись его голосом.

XX

Воздух дышал весною. Серые теплые дни быстро плавили остатки снега, заползшего в глубокие доки. По утрам от земли поднимался туман. Легкие заморозки на зорях еще сковывали ледяным узором лужи, но щебет птиц, звонкий стук колес и игра мальчишек у мутных потоков предвещали весну.

Зима напоминала о себе лишь снежным заливом, где попрежнему был лед, по которому с опаской все еще продолжали ходить люди.

Петр лежал на койке и глядел в пролом палубы, на паутину подвешенных проводов, сквозь которые виднелось небо.

В салоне было тихо, темно. Где-то внизу в машине с перебоями, то замирая, то словно куда-то спеша, стуча, работал насос, да где-то за бортом потрескивал отработанный пар.

Вчера, когда впервые заработал единственный живой кусочек корабля, маленькая, словно девочка капризная, донка, Петр радостно смотрел на нее, то ругая, то нежно гладя рукой ее хрупкое тельце.

Вернувшись поздно из штаба флота, Петр лег спать, но всю ночь, как ни старался, заснуть не мог. Мысли, быстро сменявшие друг друга, теснились в его голове.

То он думал о главной машине, и ему казалось, что работа по ремонту шла вяло и что могла она итти значительно быст-

рее; и Петр начинал думать, как сделать, чтобы ускорить эту работу; то он вспоминал свой вчерашний разговор с командиром порта Затылкиным, и перед его глазами четко проходили детали этого разговора. Он видел огромную комнату, фигуру начальника, его плешивую голову, скривленную гримасой физиономию, мутные глаза с нависшими косыми веками и белые чистые руки, все же подписавшие требование на выдачу угля.

То он напрягал усилия своей памяти, чтобы вспомнить фамилии малознакомых и теперь ненужных ему, давно ушедших людей.

«Хоть бы уснуть!» — думал Петр, смотря на бледнеющее небо, и принимался считать, чтобы хоть этим отвлечь себя от дум и как-нибудь убаюкать.

Он досчитывал до ста, до дзухсот, но новая мысль начинала сверлить ему голову и, наконец, сбив его со счета, ввинчивалась и овладевала им.

Так, волнуемый воспоминаниями, он не мог заснуть всю ночь. Мысли уносили его в прошлое — и далекое и близкое.

Петр встал, наконец, заправил койку, поднялся на верхнюю палубу, чтобы поупражнять свое тело на вантах и прогнать вялость организма после бессонной ночи.

После гимнастики он спустился в палубу, укрыл своей шинелью Егорку и пошел в салон зубрить трудную морскую науку.

И Егорка не спал. Он лежал, прислушиваясь к тихим шорохам раннего утра. Ребенок думал о матери, которую в третий раз видел во сне этой ночью. Ему виделось, как он, прижавшись к ее исхудалой груди, рассказывал ей о своем горе, громко плача. Не раз будил его Тихомиров, спрашивая: «Ты что, малый, о чем?»

Егорка очень смутно помнил своего отца. Его убили немцы в четырнадцатом году, когда Егорке было три года.

Враги сожгли их село, и они с матерью сделались беженцами; у них не стало ни дома, ни хлеба. Они жили под открытым небом на дороге, по которой они все время куда-то шли.

Дорогу эту, пыльную, грязную, снежную, Егорка запомнил хорошо. Он помнил мать, но не всю, а лишь ее печальные, полные слез глаза да протянутую за подаянием тонкую руку. Он и теперь все еще слышал ее робкие, плачущие слова, с которыми она обращалась к людям. «Ради христа, ребеночку», — говорила мать, выпрашивая корку хлеба.

Потом она заболела и умерла. Егорка остался один на дороге, так и не дойдя с нею до места, помня только печаль матери и ее слезы.

Когда Ржанов привел на корабль мальчонку, некоторые завопили: «Благодетель нашелся! Лишний рот на чужой счет».

Грубые взрослые парни всякий раз, когда делили хлеб или похлебку, с неприязнью посматривали на маленькое худенькое существо.

Петр запретил Гулаю выдавать Егорке особую порцию и делился с ним своей. Но Длинный Степан каждый раз при раздаче старался зачерпнуть лишнее для Петра — из расчета на двоих.

Петр с утра до ночи пропадал на берегу, обивая пороги, добывая для корабля и команды необходимое. Все приходилось брать с бою: касалось ли это мороженой гнилой картошки, хлеба, запасных частей, угля или обмундирования.

Для ребенка скоро нашлась работа. Он колол шлюпочные доски, каждое утро растапливал печку и кипятил чай. Малыш подметал салон, мыл за всеми посуду, ходил на стенку за «черносливом» *. В салоне то и дело раздавались выкрики:

— Эй, Егорка, поди сюда!

— Салажонок, сбегай!

— Егорка, подай!

Было и так, что от подгулявших братков Егорка получал затрещины, и тогда, забравшись куда-нибудь в угол, он плакал.

Вчера Голиченко нежным притворным голосом сказал:

— Иди, детынька, я тебе сладкого дам...

Мальчуган подошел, вытирая слезы. Голиченко достал из кармана коробочку, высыпал из нее на маленькую, покрасневшую от холода ладонь малыша несколько белых кристалликов сахарина.

— А сухаря белого, буржуйского, хочешь? — спросил он.— Давай мы его сладким посыплем.

Ребенок доверчивыми глазами смотрел на взрослых, утирая нос и все еще всхлипывая.

— Ну, теперь ешь. Ешь! — торопил вестовой. — Чего прячешь? Съешь — еще дам.

Егорка откусил сухой хлеб и начал кружиться, словно ужаленный, крича и плача, вытирая язык рукавом своей кацавейки.

---

* За углем.

Братва покатывалась со смеху.

— Утрись, салака, утрись! — кричали парни.

— Чем ты его угостил?

— Хиной! Ха-ха!.. Еще хочешь? — спрашивал Голиченко под одобрительный смех братишек.

— Ты Ржанову оставь, — советовал Сафонов.

И снова ржали от лени и злобы.

«Злые, злые, злые!» — твердил Егорка, припоминая вчерашнее.

Когда Петр укрыл Егорку своей шинелью, малышу стало еще горше. Ему хотелось ласки, чьей-нибудь ласки. Хотелось, чтобы Петр сел с ним рядом и снова рассказал ему о морях, необитаемых островах, далеких странах.

Егорка вспомнил то утро, когда впервые он пришел с Петром на этот хмурый остров. Гордая чугунная фигура царя, стоявшая в парке, первая встретила их. «Это был великий русский человек», — сказал ему Петр, показывая на статую.

Тогда было холодно, еще всюду лежал снег, дул сильный ветер и голые сучья деревьев, казалось, стучали от озноба.

Хорошо говорил тогда Петр о дальних странах, где никогда не бывает снега, где вечно греет доброе солнце. И Егорка представлял этот таинственный мир где-то там, за синей далью воды, и ему хотелось уйти туда.

Мальчик хотел подозвать Петра, но побоялся и не позвал. Кусая себе губы, он плакал.

Иногда, сидя на верхней палубе, ребенок подолгу смотрел на чаек.

Отчего свободные птицы не летят туда, в манящие дали, о которых говорил ему Петр? Почему они кружатся с криком над холодной, мутной водой залива? Вот если б он стал чайкой!

— Эй, салака! — теребя его за ноги, сказал Сафонов. — Вставай! — Кочегар грубо стащил его с койки и поставил на палубу. — За углем, быстро! — крикнул он, дав малышу подзатыльник.

Егорка, накинув на себя огромный, подаренный Петром старый бушлат и протирая глаза, поднялся по трапу.

Было туманно. В гавани дымил буксир, давая то передний, то задний ход, пробиваясь сквозь лед. Черный дым низко стелился над гаванью. Всюду на заливе виднелись пятна воды.

Еще вчера проходившая по льду через военную гавань дорога со следами санных полозьев сдвинулась в сторону, словно стрелки на железнодорожных путях. Уплыла и льдина с прорубью, у которой Длинный Степан удил рыбу.

Егорка забрал корзинку и, сойдя на берег, направился в глубь заводского двора.

Долго выковыривал он из снега маленькие черные камешки угля. Вокруг пруда, еще замерзшего и сравнительно чистого, стояли старые липы, посаженные во времена постройки Кронштадтского чугунолитейного завода. Грачи трепыхались на них, занятые устройством гнезд. Птицы кричали и ссорились, крадя друг у друга ветки.

XXI

Команда не спеша выходила на разводку. Лениво потягиваясь и зевая, строились.

— Равняйсь! — скомандовал боцман.

Равнялись долго, изгибаясь кривой дугой по юту.

— Равняйсь! Чего брюхо выпятил!

— Сойдет, чего надрываешься? — отвечал Голиченко.

— А ну, чище, чище! — настаивал боцман.

— Э, чорт, затеял!

— Рассчитайсь! — приказал Терентий Ильич.

— Сам знаешь, невелика команда.

— Первый, третий, восьмой!.. — выкрикивали голоса из неровного строя то тихо, то громко, дурачась.

Митингуя, разбирались, кого куда: кого в порт, кого на стенку за углем.

— В машину бы не надо, там гражданские.

— Знаю, молчи! — оборвал Длинный Степан.

— Чего молчи? Дело говорит, — вставил Сафонов.

— В строю стоите али где? Собачьи дети! — ругался боцман.

— Ладно, кончай!

Пошумев на разводке, расходились по работам.

Распустив команду, боцман подозвал Егорку и поднялся с ним на ростры. Пристроившись поудобней, где не дуло, он начинал:

— Значит, так, внучек, — говорил Терентий Ильич. — Берешь... Да ты погоди! Берешь, стало быть, вот этот конец, пропускаешь его сюда, потом обратно. Видишь, что получается. Ну, валяй сам.

Худенькие пальцы мальчика медленно плели неуклюжие боцманские принадлежности: маты, кранцы, тяжести.

— Добро, добро, внучек, — говорил старик, подолгу любуясь каким-нибудь оплетенным Егоркой концом.

Терентий Ильич обминал его, обглаживал и бережно укладывал в кису, словно то были драгоценные ювелирные изделия.

А за делом плели разговор. Много ходил по свету старый моряк, многое видел и про разное мог рассказать; и всегда так получалось — о чем бы ни говорил старик, люди его побеждали стихию.

— Деда, а море — оно сильное? — спросил Егорка.

— Сильнее моря ничего в свете нет.

— Деда, а человек? Он сильнее моря?

— Видишь ли, внучек, человек... — Терентий Ильич задумался. — Человек — он умный...

— Деда, а кто такие коммунисты? — спросил мальчик.

— Коммунисты-то? А это я тебе, внучек, скажу. Это сказать можно, секрету тут нету, — проговорил старик и замолк. Он хмыкнул в усы, почесал затылок, лицо его сделалось серьезным, пальцы, сучившие каболку каната, остановились. Старик думал, и думал напряженно. Егорка не спускал с него глаз.

— Коммунисты, брат, — продолжал боцман, — ежели попросту сказать, как народ понимает, — есть сила... наша... народная... Разумеешь? — спросил он Егора, разглаживая усы большим пальцем.

Малыш не понимал.

— Добро, расти! Ты Петра спроси, он слова такие знает, он тебе растолкует. Он коммунист.

На верхней палубе появились Ржанов и Бусыгин.

— Не могу, понимаешь, не могу, — говорил Егор Бусыгин, вылезая из люка. — Ну что я целый день в часовне, словно прокаженный? Нет, ты возьми меня на коробку. У тебя рулевого нет, ведь нет рулевого? Возьми!

Петр молчал, думая про себя: «Парень хороший, рулевое дело знает отлично. И человек свой».

— Ты, Егор, утрясай с начальством, — сказал Петр. — Я тебя поддержу.

— Ну, и спасибо. Вот и хорошо! Пока! — протягивая руку, сказал Бусыгин.

Они попрощались.

Петр подошел к боцману.

— Ну, как парень? — спросил Ржанов.

— Егорка-то? Ничего, работящий.

— Ты его в обиду не давай, слышишь?

Петр осмотрел работу малыша, похвалил ее, приласкав Егорку.

— Скоро, Терентий Ильич, у тебя команды прибудет!

Петр сообщил боцману, что через день-два из школ спишут комсомольцев и что встретить их надо хорошо.

— Кого, кого? — переспросил боцман.

— Комсомольцев, говорю.

— А-а... — старый моряк первый раз в жизни слышал это слово, но виду не подал.

— Грязно, боцман, — указывая на палубу, заметил Петр. — Порядка не вижу.

— Знаю, сам знаю.

— Знаешь, так приберись. Стыдно!

— Ничего с ними, с кобелями, поделать не могу, — жаловался старик. — Ведь что — палубу замести не могут!

Петр и боцман молча прошли на полуют и остановились у сходен.

— Носовые закончим сегодня?

— Еще вчера пошабашили.

— Кто отличился?

— Заводские. Они хорошо работали. Да и Гулай молодец, кочегаров обогнал. Влас теперь на него дуется.

— Ну, это хорошо, это на пользу, — сказал Петр, вступая на сходни. — А насчет порядка, смотри, построже.

— Эх, Петр! — проговорил старик со вздохом.

— Чего?

— Кабы мне старого режиму!.. Минут бы на пять, для порядка только...

К встрече молодых готовились всей командой. Средний кубрик отвели для «салак» и провели там аврал. Маленькие и большие рундуки оклеили бумагой. Гулай нарезал из газет занавески. Боцман на выдраенном до блеска лагуне вывел узоры в елочку. Печку складывать не стали. «Дело весеннее, незачем!»

Когда прибрали кубрик молодых, принялись за свой салон. Уж больно заметна разница была. Трудились честно. Грязи выгребли много.

Через неделю пришли новички. Они неслышно ходили по кораблю, внимательно разглядывали его, плутая в отсеках.

Петр приказал молодых не трогать. В наряд и вахту не ставить: «Пусть обвыкнут». Старички поглядывали косо, с нетерпением дожидались своей смены.

Прошло время, и «салаки» обжились, посмелели, и зазвенели на корабле молодые, веселые голоса.

— Своей дисциплинированностью, культурой развития и политической воспитанностью вы обязаны служить образцом для всей остальной беспартийной массы, — говорил Петр перед строем.

Он оглядел каждого из стоявших перед ним. Сделал несколько замечаний и потом спросил:

— Ну, так принимаете условия революции?

— Принимаем, — ответили в один голос молодые.

Петр крепко пожал каждому руку.

— Ребят своих учишь? — спросил Ржанов, обращаясь к старшине-сигнальщику.

— Каких своих?

— Про молодых спрашиваю.

— Все наши...

— Нет, я про твоих спрашиваю.

— Никого не знаю.

— Ну, так завтра же начинай учить. Сигнальщики, два шага вперед! — скомандовал Петр.

Из строя вышли два комсомольца.

— Вот они — твои, рекомендую. Познакомь их с хозяйством. Дела разного у тебя много. Болтаться не давай. — Он посмотрел на молодых. — Час-другой поучи, остальное на работы. Мостик в порядок приводить надо. Раздели кому что: кому левое, кому правое крыло; по заведованию, сам знаешь. Ясно? — спросил Петр.

— Ясно, — небрежно бросил старшина.

Петр распустил молодых и, подозвав к себе сигнальщика, сказал ему:

— Уставу непременно учи.

— Уж не царскому ли прикажешь?

— Корабельному, другого нет, чего спрашиваешь! Рухлядь разную выбрось, дело оставь и учи. Там много чего есть, что знать надо, понял?

— Ну, понял.

Петр подал книжку.

— Я здесь, что надо, карандашом отметил, увидишь. Тебе на первое время хватит. Требуй, проверять буду!

XXII

Развороченный, словно вздыбленный, стоял «Совет» в доке. А вокруг и внутри его все металось, лязгало и кружилось в каком-то сумасшедшем темпе, словно в неистовой радости. Казалось, будто все вешние бурные силы соединились в этом человеческом порыве и ничто в мире не могло бы удержать его.

Люди работали день и ночь, не отдыхая по нескольку суток сряду. Грязные, в масле и сурике подымались моряки из холодных машин и трюмов на верхнюю палубу, подставляя соленому дыханию ветра и добрым лучам солнца свои онемевшие, иззябшие, голодные тела. Иногда в короткие перерывы между работами забирались парни на ростры, ближе к солнцу, и отдавались мечтам, мешая правду с небылью.

Много думали о прекрасном, возвышенном, подстать юному. Что только ни рисовалось за синей, заманчивой далью моря!.. То волшебные страны и штормы, то приключения и горячие девичьи глаза... А они, молодые, красивые, словно белые лебеди, гордо проплывают мимо, все дальше и дальше, туда, навстречу неведомым далям будущего... О море, море! Но проходили минуты отдыха, и снова наступали долгие часы изнурительного труда.

— А ну, давай, взялись! — командовал Длинный Степан. — Раз, два! А ну, пошел! Навались, птенчики!..

Ноги, обутые в опорки, топали по палубе, грудью давили ребята на холодный металл, рванули... Треснуло прогнившее дерево, стронули ржавый брашпиль * и поволокли его, ухая, бороздя палубу.

Ветхое выбрасывали с корабля, годное несли на корабль. Запасных частей не хватало. Их добывали в беспризорных цехах завода, отыскивали среди ржавеющего хлама на стенке и на обреченных кораблях, стоящих на приколе. Нужное отмачивали в керосине, драили, шабрили, приспосабливали.

Для опробования механизмов сгребали угольную пыль и жалкой ношей кормили прожорливые топки.

«Голодные, худые... И откуда в них эта сила? — думал старый Преображенский, удивляясь бурному энтузиазму молодежи. Но, увлекаемый ею, он сам работал безустали и с таким упорством, с каким не работал еще никогда в своей жизни.

— А вы, Терентий Ильич, отстаете, — говорил инженер

---

* Во́рот на судах для подъема якоря.

боцману, вытирая ветошью руки. — Мы уже с банением котлов пошабашили, а вы со своими на четыре часа отстали.

Довольный, смеялся он, щурясь на солнце, отдавая через раскрытый машинный люк приказания в кочегарку.

— Цыплят по осени считают, Михаил Серафимович, — отвечал боцман, улыбаясь своими карими глазами.

Аркадий Наумов с приходом на корабль был разочарован, получив вместо мягкой суконной формы грубую брезентовую робу, вместо кортика — голик и швабру, вместо морских походов — грязную захламленную стенку гавани и мучительное, изо дня в день продолжающееся состояние голода. И ко всему этому еще грубые постоянные окрики и подначку. Словно тень, всегда и везде подстерегал молодых Длинный Степан. Его голос раздавался по всему кораблю. Он всегда требовал, всегда быстро, всегда грубо: «Даешь!»

«Скажу, непременно скажу! — думал Наумов, поднимаясь по скоб-трапу тросовой ямы *. — Как смеет он так кричать на меня? Если б он знал, что я был организатором укома КСМ, то, пожалуй, он бы стал иначе относиться ко мне!»

— А ну, давай! — рявкнул Степан, заглядывая в люк тросовой ямы. — Или ноги отсохли? Бегом, черепашья порода!

Когда Наумов занес ногу, вылезая на палубу, Гулай, обращаясь к нему, сказал:

— Ты, парень, все хандришь? А ты это брось! Надо работать! Обижаться тут нечего. Слышал я, что был ты секретарем укома, а примера от тебя мало.

«Откуда он знает?» — подумал Наумов, покраснев.

— Я тоже и командиром бронепоезда был, и полком командовал в гражданскую, — продолжал Длинный Степан,— всякую нечисть с земли соскребал. Да мало ли чего было!.. А вот не чинюсь. Да ты вылезай, чего застыл? Дай-ка!

Степан взял конец троса и стал крепить им беседку. Закрепив, раздернул, приказав повторить. Комсомолец попробовал, но не мог освоить правильной вязки узла.

— Вот видишь! Кажется, не сложно, а тоже знать надо, потому что наука.

Гулай несколько раз закрепил и раздернул узел, пока Наумов не повторил его без ошибки.

— Ну, крой теперь! — сказал Гулай.

И юноша впервые услышал в голосе Длинного Степана что-то похожее на доброту.

---

* Помещение, где хранятся тросы, паруса, кранцы.

Каждый вечер машинная команда и комсомольцы собирались в кают-компании на учебу. Пока инженер разбирал бумаги, ученики свертывали по маленькой и жадно курили. Каюта быстро наполнялась сизым дымом махорки. Старик кашлял, долго дрожащей рукой сажал пенсне на нос. Наконец, разобрав бумаги и осмотрев присутствующих, он начинал:

— Итак, мы остановились на вспомогательных механизмах. Не так ли, господа?

Длинный Степан раньше, на первых уроках, при слове «господа» вскакивал с места, стучал по столу кулаком, призывая в свидетели всех святых. Тогда требовалось немалое усилие присутствующих, чтобы его успокоить. Теперь при этом слове Гулай пренебрежительно произносил: «Господа ваши, инженер, там, на подкильной вахте!»

— Бога ради, прошу извинить, — говорил смущенный старик.

— А нам что за дело до твоего бога? Да ты не божись, ты крой, мы слушаем.

Тихо и нерешительно продолжал Преображенский:

— Вы объясните мне, пожалуйста, действие этого механизма, — обращаясь к развалившемуся в кресле Сафонову, спрашивал инженер.

Сафонов долго думал, блуждая глазами по сторонам.

Инженер, заложив руки в карман своего старенького, как и он сам, кителя, прохаживался по каюте.

— Это... ну, это такая... Вот забыл эту хреновину, — говорил Сафонов. — Ну, вот она, как ее?.. Да ты сам знаешь, ну тебя к чортовой бабушке!..

От такого ответа ученика Преображенский терялся, как-то сразу становился маленьким. Он с недоумением смотрел на моряков, как бы спрашивая их: «Что же это, а? За что же это, товарищи?» В подобных случаях встревал Гулай:

— Ну, ты, треска!.. Ты эти выходки брось! Отвечать не умеешь. Катись!!!

Он брал Сафонова за воротник и выставлял за дверь кают-компании.

— Тоже мне, штука!.. — говорил он, отряхая свои ладони, словно они были в пыли.

Гулай подошел к инженеру, положил ему на плечо руку и нежно сказал:

— Ты, старик, не обижайся. Брось! Он от природы такой. Ему мать при родах вместо головы кранец приделала. Вали, дуй, мы слушаем.

Прерванный урок продолжался. Преображенский объяснял, а каждый будто видел перед глазами детали машин, о которых говорил инженер. Военморы любили его уроки и слушали со вниманием.

— Действия этой донки надо бы записать, — обращался он робко к слушателям.

— Ясно, чего записывать? — возражал Влас Травин.

— Понятно, крой дальше! — басили ученики, и механик «крыл» дальше.

Проходил час, и Длинный Степан командовал:

— Стоп! Давай завернем очередную!

И снова заворачивали, и снова дымили.

Усталый, в полночь возвратясь с берега, Петр заходил к инженеру. Он подробно расспрашивал его о работе и учебе.

— Чему сегодня учились? — спросил Петр.

— Вспомогательные проходили, — ответил Преображенский. — Прошло хорошо, — добавил он.

— А у меня новость есть, — сказал Петр, сияя улыбкой и вынимая письмо, присланное ему из Севастополя.

Комиссар Василий Грязнов, командированный ПУРом на Черное море, писал Петру:

«Ты знаешь, какую печальную картину еще так недавно представлял наш Черноморский флот. Следы мировой и гражданской войн были повсюду. Суда, взорванные и потопленные белогвардейцами и интервентами перед своим бегством из Крыма, теперь возвращаются к жизни. Моральный перелом произошел, материальный происходит. Комсомол дал флоту своих лучших людей. Молодежь, словно живая сказочная вода, окропила мертвые корабли, и стальные богатыри, разрубленные на части, теперь воскресают. Бухта гудит, как улей. Мы подняли десяток подводных лодок, потопленных Врангелем; крейсер «Коминтерн», на котором, помнишь, проводили мы совещание коммунистов, что стоял с изуродованными машинами у стенки морского завода, начинает дышать... Встали на воду миноносцы «Рабочий», «Крестьянин», и целая флотилия тральщиков скоро выйдет в поход, на очистку моря от мин...»

— А ведь светает, Михаил Серафимович, а? — спросил Петр, подавая письмо Преображенскому. — И на Белом так, и на Каспии...

— Завидую я вам, Петр Емельянович, — сказал Преображенский, блестя влажными глазами. — Экая бездна веры в вас!

XXIII

На последние дни перед походом свалилось много работы. Электромеханическая команда уже вторую неделю не выходила из машины, приводя в порядок свои заведования. Кочегары испытывали котлы, трюмные возились с цистернами, а машинисты со своими главными машинами. Об использовании машинистов на верхних работах не могло быть и речи. Боцман хмурился и ворчал. Дела было много, а людей, как старик ни изворачивался, не хватало. Уже второй день покачивалась у борта груженная углем баржа. Впереди предстояли погрузка, покраска корпуса, такелажа и большой аврал.

На борту была пропасть чужого народу. Флагманские комиссии дневали и ночевали. То штурманы придут, то инженеры, а то и партийные из Пубалта. Рабочие последние дни вовсе не сходили с корабля.

— Клуб, а не корабль! — ворчал Терентий Ильич, смотря на оживленно снующих людей. Но ему нравилось это бурное оживление, участником которого он был сам.

«Скоро, скоро выйдем в море, и начнется спокойное плавание», — думал он.

Терентий Ильич тихо радовался и шуму, и чужим людям, и неумолкавшим голосам, зовущим его на помощь отовсюду: то с беседок из-за борта, то сверху, с рей и мачт. И ворчал он скорее по привычке, а не от сердца.

Дни стояли яркие и теплые. Вода искрилась под солнцем и манила к себе. Казалось, теперь, когда все уже было сделано и можно было бы отдохнуть, люди все еще продолжали куда-то торопиться, о чем-то заботиться и что-то делать. Если кончалась одна работа, они подыскивали для себя новую и все делали, делали, словно не в силах были остановиться.

Так шли дни.

Моряки постирались на берегу, приоделись и, несмотря на то, что уже более трех суток не отдыхали, чувствовали себя бодро и весело.

Экипаж с минуты на минуту ожидал сигнала к съемке с якоря. Но корабль продолжал стоять в гавани, и в этом ожидании прошла еще неделя.

Ранним июньским утром, наконец, прозвучали колокола громкого боя, и команда, суетясь и волнуясь, заняла свои места. Долго возились, но, наконец, с берегом все было покончено, убрали сходни, отдали швартовы, и корабль выдвинулся на треть гавани.

Свежевыкрашенный, умытый, обтянутый белыми чехлами, стоял он, словно молодой красивый парень в новой полотняной рубахе, гордый своей молодостью.

Подняли сигнал, прося разрешения на выход, и стали полегонечку выбирать якорь. Застучал брашпиль, и цепь, скрежеща на клюзе, поползла вверх. Густой черный ил поднимался вместе с цепью, растекаясь по полубаку. Струи воды, шумя и потрескивая, вылетали из брандспойта, смывая его.

Боцман стоял на баке за леерами, окачиваемый блестящими брызгами, и, перевалившись за борт, громко кричал:

— Встал якорь! Панер! Якорь нечист! — И уже третий раз травили его. Корабль кружился на месте.

— Подшуруй! — приказывал командир в кочегарку. Он волновался: падало давление пара.

— Вира! — приказывали с мостика.

И снова взбиралась цепь, и снова выкрикивал боцман, наблюдая за якорем.

— Пожалуй, придется рубить, — сказал командир, обращаясь к Ржанову.

Петр не отвечал. Он стоял, облокотясь на поручни, и разбирал свод сигналов, поднятых на вышке штаба флота.

— Разрешаю, — произнес Петр. — И дальше? — спросил он командира, не различая сигналов.

— Желаю успеха, — ответил командир. — Так как же, Петр Емельяныч, рубить? — повторил он вновь свой вопрос.

— Рубить, так рубить! — выкрикнул по-молодецки Петр и, подойдя к переднему краю мостика, приказал боцману отклепать цепь.

Корабль заносило на стенку. С кормы на мостик докладывали:

— Двадцать сажен... пятнадцать сажен.. десять...

— Прикажи подработать, товарищ Яковлев, а то сядем, — проговорил Петр, смотря на быстро уменьшающееся расстояние между кораблем и стенкой.

Яковлев, пожилой человек с крупными чертами лица, с надвинутой на лоб фуражкой, все это время спокойно наблюдавший за брашпилем, взглянул с улыбкой на Петра и повернул рукоятку машинного телеграфа.

На соседних кораблях производили побудку. Гавань просыпалась, наполняясь шумом. На борту судов толпилась команда, наблюдая за уходящими, переговариваясь и посмеиваясь, язвя над неумелой съемкой с якоря. Прошло более часа, а аврал все продолжался. Время приблизилось к восьми.

Егорка стоял у грот-мачты, сжимая в руках фалы, прижимая к груди шерстяной сверток флага.

— Скомандуют с мостика: «На флаг!» — ты стой, молчи, тебя это не касается. Потом еще скомандуют: «Флаг поднять!» Вот тогда ты плавно, не торопясь, потянешь этот конец. Вот, что в правой руке, — учил Тихомиров мальчонку. А тот, впившись глазами, следил за его жестами. — Выберешь доотказа, возьми и раздерни вот так!..

В третий раз подходил к Егорке Степан Тихомиров и репетировал с ним подъем флага.

Малыш, озираясь по сторонам, с замиранием сердца вздрагивал от каждого выкрика, боясь пропустить торжественную минуту.

Обмотанный полотенцами, весь красный, появился на мостике Травин. Он отозвал инженера в сторону и шопотом доложил ему, что у двух котлов вырвало горловины и что шуровать пока нельзя.

— Так, — произнес Преображенский и быстрой качающейся походкой направился в кочегарку ликвидировать повреждение.

Пар падал. Волнение командиров на мостике усиливалось.

— Подшуруй! — приказывал командир, не зная об аварии.

В ответ из переговорной трубы раздался злой голос Длинного Степана:

— Эй, там, на мостике, черти! Весь пар стравили! Кончай волынить!..

— В машине! — крикнул Петр, прерывая Гулая.

— Ну?

— В машине! — повторил Ржанов строго.

— Ну, есть в машине, — ответил Степан.

— Прекратить бузу! — приказал Петр.

— Ладно.

— Товарищ Гулай!

— Есть! — ответил голос.

Наконец цепь расклепали, и она, отмеченная буйком, юркнула на дно.

— На флаг, смирно! — скомандовал Петр, и через мгновение в голубом небе красным пламенем вспыхнуло, развеваясь, морское знамя Советской республики.

За кормой зашумело. Корабль затрепетал от работы машин и развернулся. Все сразу переместилось: ворота гавани, стенка мола, Кроншлот, форты — и все поплыло назад.

Петр видел с мостика, как люди, находившиеся вокруг, — и на молу, и на судах, и там, на южной стенке, где разгружали шаланды, и на закопченном буксире, и там, на маленьком ялике, который стоял у якорной бочки и с которого красили эту бочку, — всюду приветствовали их поход — поход в море, в новую отныне жизнь.

Вышли из гавани. Длинный Степан выскочил из машины и, размахивая над головой бескозыркой, забасил:

— Братва, топает! Вот истинный, наш топает!.. Да радуйтесь же!.. Ура-а!.. — закричал он неистовым голосом.

— Ура-а-а!.. — поддержали стоявшие на кранцах.

— Ура-а! — подхватили рабочие на стенке.

— Ура! Ура-а!!. — отозвались на других кораблях; и раскатилось это могучее слово по военной гавани, словно салют, приветствуя возрождение и утверждая победу.

А в кубрике звучало «Яблочко», и парни, свободные от вахты, лихо плясали, выделывая друг перед другом заковыристые коленца.

А в тихой кают-компании вестовой Голиченко в белой чистой робе накрывал к завтраку, подавая ржаные пироги с картошкой.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло восемь лет. За эти годы произошло много значительных событий как в жизни страны, так и в жизни отдельных людей.

И то, что в 1921 году многим казалось утопией, экономическим миражем, подобно тому миражу, что чудится измученным людям, находящимся среди моря и пустыни, — теперь эта ленинская мечта преобразования России и людей уж не казалась несбыточной, и не казалась потому, что она была осуществлена, стала явью.

Еще тогда, в ненастные мартовские дни 1921 года, когда русский флот был потоплен, украден, заброшен и перестал существовать, русские коммунисты сказали о том, что флоту быть. Коммунистический съезд нашел необходимым, в соответствии с общим положением и материальными ресурсами Советской республики, принять меры к возрождению и укреплению Красного военного флота. И флот был возрожден.

Сперва возрожден, потом реконструирован. Пережив возраст своей юности, флот стал расти и мужать физически и морально, то-есть отвечать потребностям жизни.

И люди, жившие в гуще насыщенной событиями жизни, сами творившие эти события, трудом своим возрождавшие флот и сами выросшие на этом возрождении, — люди эти ушли далеко вперед по дороге жизни. Те же, что находились в стороне от жизни, не участвовали в ее сложном процессе преобразования, а лишь наблюдали жизнь со стороны, не только не прилагали к ней своих усилий, а порой хандрили, нередко ворчали, часто бывали недовольны, разумеется, не собой, а складывающимися новыми условиями жизни, — люди эти, что очень естественно, оказались за бортом новой жизни.

А жизнь, настоящая жизнь с ее заботами и радостями шла внешне все так же своим неизменно изменяемым порядком. И такой жизнью жил Петр Ржанов, который плавал теперь на флагманском корабле отряда. Это был новый, недавно вступивший в строй крейсер «Ушаков».

Темнозеленый ковер, золото бра, стильная мебель, шкаф со множеством русских и иностранных книг, тяжелые бархатные портьеры, висящие на толстых, до блеска надраенных медных кольцах, рояль, отражающий в себе, как в водоеме, все предметы, составляли убранство большой полукруглой каюты на корме, где жил Ржанов.

Было утро. Было тихо, если не считать того легкого содрогания и шума, которые бывают на корабле на походе, во время работы главных машин.

Ржанов встал из-за стола, на котором грудой лежали книги, и несколько раз прошелся по салону. Иногда он снова подходил к столу, брал карандаш, листал лежавшую на нем рукопись и делал в ней исправления.

Петр прочел статью, поставил точку. Потом он позвонил на вахту, чтоб узнать место нахождения корабля, и, рассчитав время, вызвал дежурного командира.

— Передайте в радиорубку, — сказал он вошедшему и вытянувшемуся перед ним командиру.

Ржанов подал ему текст радиограммы и, отдавая, спросил:

— Так как вы толкуете, товарищ Девятов, о политике ликвидации кулачества?

Девятов объяснил.

— Нет, на семинаре вы говорили иначе, — возразил Петр Ржанов.

— Я то же говорил и на занятиях, товарищ комиссар отряда.

— Точно вы говорили вот как, — и он, вынув записную книжку, прочитал.

— Я не вижу разницы.

— Поэтому я и решил переговорить с вами. Вы сказали: «В период восстановительный мы проводили политику ограничения капиталистических элементов города и деревни. С началом реконструктивного периода мы перешли от политики ограничения к политике их вытеснения». Вы помните, так?

— Да.

— Это не верно. Это одна и та же политика. Политика ограничения и вытеснения проводилась нами не только во время восстановления, — продолжал Ржанов, — но и во время реконструкции и после Пятнадцатого съезда. Мы проводили ее и до лета нынешнего года, когда перешли к сплошной коллективизации, когда партия на основе сплошной коллективизации от политики ограничения и вытеснения круто повернула в сторону ликвидации кулачества как класса. Вы понимаете свою ошибку, Девятов?

— Да, товарищ комиссар отряда.

— Объясните на следующих занятиях, и хорошенько объясните, факт перелома в развитии деревни и подчеркните поворот в политике нашей партии.

— Есть, товарищ комиссар, — сказал дежурный командир и вышел.

Петр Ржанов снова сел за стол и принялся писать. За восемь прошедших лет Петр внешне почти не изменился, если не считать седины на висках, которая к нему шла и придавала то, что в команде нередко называют солидностью. Он выглядел моложавым, здоровым и сильным, как выглядит живущий на море, следящий за собой и занимающийся спортом человек его лет.

Ржанову шел тридцать шестой год.

К выражению его энергичного лица прибавилось теперь выражение внутренней сосредоточенности и заботы. Партийная работа, постоянная занятость, занимаемый им пост, темп всей его жизни и, наконец, напряженная учеба — все это оставило на его характере и внешнем облике известный отпечаток. Петр был тот и не тот; в нем не было теперь излишней порывистости, угловатости. Он был собраннее: не было резких и лишних движений.

От работы его оторвал вошедший в салон военком крейсера, который доложил, что начинается сейчас собрание коммунистов-отпускников. Потом вошел дежурный командир и доложил, что через пять минут подъем флага.

С приходом кораблей на Кронштадтский рейд предстояло совещание командно-политического состава отряда по итогам похода.

«Это будет в десять ноль-ноль. В двенадцать я буду в Пубалте, — обдумывал Ржанов, рассчитывая часы. — В восемнадцать часов конференция молодежи Балтфлота, и все... Нет, что-то было еще? — думал он. — Ах, да, статья в «Морской сборник»... Ну, за нее сяду после совещания»,— решил Ржанов.

— Да, что-то было еще?.. — спросил он самого себя, заглядывая в записную книжку. Но в книжке ничего не было.

Когда отыграл горнист и пробили четыре склянки, на верхней палубе — над каютой — послышался топот ног. Команда, свободная от вахты, выбегала на разведку. После подъема флага в салон вошел вестовой, приглашая Ржанова в кают-компанию на завтрак.

За столом в кают-компании сидели: Алексей Алексеевич Митин, плотный, сияющий здоровьем и весь исполненный энергии командир отряда, командир корабля Яковлев, комиссар корабля Вениаминов, механик Гулай и несколько командиров и политруков корабля.

— Как наш комиссар оценивает работу людей? — спросил командир отряда, обращаясь к Ржанову, как только он вошел в каюту.

— Это зависит от того, как наш командир отряда оценивает результаты, достигнутые людьми, — ответил Ржанов.

Он поздоровался и сел.

— Сказать по душам — я доволен. А вы? — спросил он, глядя на Ржанова.

— Вы редко даете такие оценки, — сказал Ржанов.

— Ниже нельзя. Если анализировать детали, — продолжал командир отряда, — то, конечно, будут места, которые необходимо еще шлифовать и шлифовать с наждачком... — добавил он, взглянув на командира корабля.

Он отрезал кусок мяса, положил в рот, закусил хлебом и, прожевав, продолжал:

— Но я должен вам сказать, товарищи, что, несмотря на шероховатости, вырос каждый и выросли все. Вы меня понимаете? Люди проделали по весне огромный ремонт, наше соединение сэкономило около миллиона рублей, так, Степан Данилович?

— Так точно, Алексей Алексеевич.

— У нас не было аварий, — продолжал командир отряда. — Я хочу сказать — серьезных аварий, — пояснил он. —

Мы имеем хорошие, прямо надо сказать, данные в эскадренном плавании. По стрельбе мы заняли второе место во флоте, правда, могли бы занять первое... — И он снова посмотрел на командира крейсера Яковлева. — Количество дисциплинарных взысканий резко понизилось, — но это не наша заслуга, товарищи, это заслуга моря. Чем больше в море, тем меньше дисциплинарных эксцессов. Это достижение необходимо закрепить и на берегу. Рост поощрений свидетельствует прежде всего о правильном воспитании команды. Командиры кораблей показали себя отлично. Многие обладают превосходным чувством моря. Ну и, наконец, главное — курсанты. Общий балл успеваемости — четыре с половиной. Вот моя оценка людям, которую я собираюсь дать на предстоящем совещании. Вы согласны, Петр Емельянович?

— Вполне согласен, — сказал Ржанов.

Командир замолк и занялся своей тарелкой. Расправившись с ростбифом и выпив кофе, он поднялся из-за стола.

Алексей Алексеевич Митин не любил кают, отвлеченных разговоров, он был практик и всегда действова́л. «Командир должен испытывать тяготение к мостику», — говорил он часто своим подчиненным и сам всегда подтверждал это тяготение, постоянно находясь на посту управления.

— Жду вас, Яковлев, — сказал он командиру крейсера, одеваясь.

Яковлев, продрогнув на вахте (флагман держал его всю ночь около себя), с аппетитом не спеша поглощал завтрак, наслаждаясь теплом каюты.

— Сию минуту, Алексей Алексеевич, — проговорил он, не успев проглотить. — Видели, Степан Данилович, — спросил Яковлев Гулая, когда командир отряда вышел. — Видели, как Алексей Алексеевич изволил на меня посмотреть? «Шлифовать, — говорит, — с наждачком». А разве на других кораблях меньше... А все потому, что под носом! Другие далеко, а тут захотелось расфитилить, — Яковлев, изволь! Всех собак на меня. Нынче рулевой вильнул, — мне нагоняй. Нашел где-то на мостике окурок — опять встряска. Говорил мне, что шлаку много: шуруют плохо. Я ему про уголь, а он мне: «Лентяи, — говорит, — ваши ду́хи» *. Неугомонный какой-то, а ведь не молодой, пора бы, кажется, угомониться.

— Полно, Яковлев, — прервал его Ржанов. — На кого вы жалуетесь?

* Шутливое прозвище кочегаров на флоте.

— Я ничего, так, товарищ комиссар отряда, — сказал командир крейсера. А про себя подумал: «Кабы тебя на мое место».

— Вы тоже обиделись на флагмана? — спросил Ржанов, обращаясь к военкому крейсера, собравшемуся было уходить.

— Нет. Командир отряда прав.

— Сколько у вас сверхсрочников на корабле, товарищ Вениаминов? — спросил Ржанов, останавливая военкома корабля.

— Думаю, Петр Емельянович, будет все в порядке.

— Я спрашиваю, что сделано?

— Процентов на семьдесят.

— При чем тут проценты?.. Людей на проценты не считают. Сколько человек подало рапорты?

— Человек около... человек шестнадцать приблизительно есть.

— Кто они? Имена? Коммунистов сколько? — спросил Ржанов, хмуря брови.

— Я сейчас точно не могу сказать, Петр Емельянович.

— Главные старшины Травин, Морозов, Жаров, старшины Рябинин, Добрушин, Веригин, они остаются?

— Вопрос покамест не решен, — ответил военком крейсера.

— А эти? — Ржанов назвал еще несколько фамилий.

— Мобилизуем внимание... — начал было Вениаминов.

— Этих большевиков желательно сохранить в отряде, — прервал его Петр.

— В этом направлении и работаем...

— Вот и хорошо, — сказал Ржанов холодно. — Направление есть, проценты известны, внимание мобилизовано, а людей нет. Иди, молодец, Вениаминушка.

— Ты шутишь, Петр Емельянович? — спросил военком корабля Ржанова.

— Это ты, товарищ Вениаминов, балясы точишь, а мне недосуг. Иди да помни: директива ПУРККА должна быть выполнена. «Проценты», «мобилизуемся»... Иди, — повторил Ржанов. — Экий бухгалтер!.. Иди работай.

Борис Вениаминов, военком крейсера, был старый друг и сослуживец Петра Ржанова. Отношения между товарищами наедине и вне службы были самыми задушевными. Но это не мешало им обоим следовать русской поговорке: «Дружба дружбой, а служба службой». Их официальные отношения регламентировал устав и тот заведенный, четкий порядок вещей, который называется морской службой.

II

В салон вошел стройный молодой краснофлотец с загорелым, бронзовым лицом. Моряк был в рабочем парусиновом костюме, без тельняшки, с длинными, не по форме подстриженными волосами. Он вошел просто и свободно, как входят в свой дом, не так, как входили в эту каюту остальные.

— Разрешите? — произнес юноша так же просто и смело. Он сказал это тем тоном, которым, если о чем и спрашивают, то заведомо знают, что то, о чем они спрашивают, им будет разрешено.

— Заходи, Егорушка, заходи, — сказал Ржанов. — Здоров? Как устроился? — спросил он молодого моряка.

— Самым чудесным образом, — ответил Егор недовольным тоном.

— Где поместился?

— В каюте старшин.

— Теперь будем плавать вместе. Ты не рад?

— Напротив.

Егора совсем недавно перевели с «Совета» на «Ушаков». Ржанов это сделал для того, чтобы иметь Егора ближе к себе, а на это у него были свои причины.

— Почему ты хмуришься? — спросил Ржанов.

— Вовсе нет, тебе кажется... Петр, — сказал Егор, — помоги мне разобраться в этой задаче, — и он подал листок, исписанный формулами.

— Так... Верно!.. И тут верно, — говорил Петр, прослеживая ход решения. — Вот здесь ты сделал ошибку. Вот здесь... — Петр отчеркнул это место. — Неравенства могут быть тождественны, то-есть верны, при любых значениях входящих в них букв, — сказал Петр, написав строку цифр. — Понял?

— Есть.

— Что ты выдумал об отпуске? — спросил Петр, когда они кончили с математикой. — Какой Сталинабад? Зачем тебе Азия?

— Это лишних десять суток на дорогу... А поеду... Я еще не решил, куда я поеду.

— Кого ты обманываешь?

— Никого! Прокачусь, посмотрю...

— Мне не нравятся твои рассуждения...

— Другие поступают умнее: они делают свое дело при хорошем лице. Начальству нравится — и им лафа.

— Егор, опять жаргон!

— Это язык масс, как говорит Вениаминушка.

— Ты останешься в Ленинграде и с первого начнешь учиться.

— Это приказание? — спросил Егор и нахмурился.

— Это совет, — сказал Петр голосом полным любви и дружбы.

— Эх, Петр! — ответил Егор вздыхая. — Поломал ты мою мечту, и какую!..

— Разве я не прав? Что важнее — учеба или, как ты говоришь, «прокатиться»?..

— Ты прав, ты всегда прав, — согласился Егор, — но от этой правоты как-то немножечко холодно и жестко.

Егору Ржанову-младшему, как его звали на крейсере, исполнилось восемнадцать лет. Он плавал младшим командиром-электриком. Между вахтой и работой Егор учился, чтобы поступить в военно-морское училище. Теперь все было позади, экзаменационные тревоги прошли. Егор сдал на четвертый курс, и сдал блестяще. В этом особенно помогали ему Петр Ржанов и инженер Преображенский.

— Ты согласен со мной? — спросил Ржанов после некоторого молчания.

— Приходится...

— А если бы это зависело от тебя?

— Я бы уехал, — сказал он решительно и прямо.

Петр набил свою трубку и стал курить. Егор подошел к книжному шкафу и открыл дверцу. Это была обширная французская библиотека, которую привез Петру из Бреста его друг Василий Грязнов, бывший в прошлом году со своими кораблями в Атлантике. Петр разрешил Егору пользоваться своей библиотекой, и Егор пользовался этим правом с должным прилежанием. Каждая книга, которую читал Егор, была для него захватывающей неожиданностью. Мысли, чувства, блеск формы ошеломляли его. Немало ловких словечек он извлек из них и пустил в общежитие кубрика.

— Ты читал это? — спросил он Петра, листая Стендаля, и, найдя нужное место, прочитал отрывок «О любви». — Несравненно, блестяще! Какая грация! Все весело и остроумно! — воскликнул Егор, немало удивляя Петра формой своей восторженности. — А Монтескье, Петр, Монтескье! Его письма — это чорт знает что такое! — сказал он, видимо не находя иных слов одобрения.

— Разве ты читаешь? — спросил Петр.

— Немного...

— И давно?

— С год.

— С год? — повторил Петр, удивляясь и радуясь и удерживая себя от того, чтобы не потрепать этого стройного и ловкого мальчишку. — Кто тебя выучил?

— Кто? Мой старик, Преображенский. Вот у него библиотека, Петр, так это да!.. Кстати, товарищ комиссар отряда, на кораблях мало книг... Хороших, я хочу сказать, — добавил Егор.

«Молодец парень, обогнал!» — думал Петр, смотря на Егора. И от этого сознания было и хорошо и... ну, не стыдно, а так, немного неловко. Чувство неловкости, как это ни странно, особенно усилилось в нем при чтении Егором Монтескье, где в одной фразе Петр никак не мог уловить смысл слова. «Как летит жизнь! Давно ли, — думал он, смотря на Егора, — давно ли я учил его писать палочки, кружочки? А теперь его уже занимают вычисления определенных интегралов по формулам Лейбница и Ньютона. Как иногда мало бывает нужно человеку для того, чтобы увидеть себя!.. Всего одно слово...»

Егор был для Ржанова тем лагом *, по которому он впервые определил скорость своего хода.

«Нет, я не то чтобы постарел, — возразил самому себе Петр. — Нет, это несправедливо, — повторил он, — но меня будто уже не хватает и на работу и на учебу, как раньше».

Теперь иногда он слышал в себе новый, незнакомый ему голос, и голос этот твердил: «Не надо, брось, некогда, — все равно не успеешь». И Петр порой был уже готов согласиться с этим голосом.

«А и вправду, не хватит ли? Ужель порастрясло?» — спрашивал он себя.

Петр встал, прошелся по салону, посмотрел на Егора и, к своей радости, не заметил разницы между собою и Егором. Не разницы лет, а разницы чувств и ощущения действительности.

— Нет, ты молодец, Егор. Честное слово, молодцом! — сказал Петр. Он не удержался и, подойдя к нему, потормошил его мягкие русые волосы. — Теперь о деле, — сказал он. — Скажи, Егор, почему сегодня село напряжение динамо-машины?

— Скисла турбина. У кочегаров что-то с паром случилось. — Егор говорил правду.

— Мне доложили иначе.

---

* Прибор для определения скорости хода корабля и пройденного им пути.

— Ложь, глупость, чепуха! — воскликнул Егор и весь насторожился.

— Тобой недовольны, Егор, — сказал Петр.

— Недовольны? Пусть!

Егор взглянул на Петра и по выражению его лица понял, что Петр любит его, что это был «его» Петр, который не даст его никому в обиду, и что огорчать его не следует.

— Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?

«Ах так! Ну, все равно, пусть!» — решил Егор.

«Пусть» — это была та мерка, под которую подходило все, а Егор этой меркой иногда руководствовался.

Егор сидел в кресле, закинув ногу на ногу, играя карандашом.

Петр смотрел на него и старался понять, откуда в этом способном парне такие перемены? Откуда этот полупрезрительный, полунасмешливый тон, откуда развязность манер, резкость в обращении с людьми? Петр припомнил случай со старшим артиллеристом, припомнил неоднократные опоздания Егора с берега и целый ряд жалоб, которые были на Егора, о которых за делами Петр как-то забывал поговорить с ним. «Раньше ничего этого не было», — думал Петр, смотря на Егора. Теперь он сам, на себе лично, испытывал то, с чем не раз приходилось сталкиваться другим, с его «невозможностью», как называли поведение Егора многие.

— Мне кажется, — продолжал Петр, не дождавшись ответа, — что ты не понимаешь, о чем тебя спрашивают и, наконец, кто тебя спрашивает.

—Повидимому, да, как и ты сам. Вы все пристаете ко мне. Пристает ко мне комиссар Вениаминушка, потом эта жирная горшечная глина Урядов, этот не политрук, а политног... Чего вы хотите? Вы хотите, чтоб я говорил, думал и делал так же, как они, только по уставу? Не буду, слышите, не буду! — выкрикнул Егор, и губы его задрожали.

— Что за истерика?

— В подтверждение же того, что я не забыл, кто меня спрашивает, я могу, если вам это требуется... — и он быстро встал с кресла и вытянулся по форме.

— Не гримасничай, довольно! — сказал Петр спокойно. — Садись. Я знаю, что ты не такой. Ты выдумал себя. А то, что выдумал, гораздо хуже настоящего... И потом, Егор, я думал, что ты уважаешь меня...

Егор пуще всего боялся этого тихого и спокойного голоса Петра.

— Ступай, аврал, — сказал Петр, услышав звонки. — Зайди ко мне перед сном.

Егор был рад, что его отпустили; еще бы минута, и он, как ему казалось, задохнулся бы от обиды, которая жестким большим комком подымалась в его груди.

III

Егор понимал, что ко всем его промахам по службе были снисходительны. Нарушение инструкций, опоздания с берега, вспыльчивость с подчиненными, фамильярность в обращении со старшими — все, что было противно уставу, все, за что взыскивалось с его товарищей, ему не то чтобы прощалось, а просто не ставилось в вину. Сперва это было Егору приятно, и он испытывал удовольствие. Но со временем у него это вошло в привычку и стало правилом. Теперь Егор не только не замечал исключительного к себе отношения, а, наоборот, его раздражала обычность, то-есть та форма обращения к нему, на которую он только и мог рассчитывать. «Это потому, что я лучше, и мне это можно», — сделал он однажды вывод и убедил себя в том, что то, чего нельзя делать другим, ему разрешалось.

После разговора с Петром Егор спустился в динамо-машину. Привычным глазом осмотрел измерительные приборы, указал вахтенному электрику на искрѐние под щетками и, записав нужное в журнал, поднялся в кубрик.

— В Питер не думаешь? — спросил его моторист, разуваясь и готовясь к бане.

Моторист флагманского катера, приятель Егора, был лет на пять старше его по годам и на столько же моложе по сроку службы на флоте.

— А ну вас всех к чорту! — сказал Егор с раздражением. Он сел на койку, обхватил голову руками и задумался.

— Поедем, гульнем, будет весело... Поедем, — убеждал моторист.

Егор молчал. Было как-то неловко, досадно, запутанно. Ему хотелось распутать узел, который, он чувствовал это, затягивал его все больше и больше.

«Петр, его упреки, — думал Егор. — Почему он говорит, что я не уважаю его?.. Он должен знать, что это не так. Ведь я люблю его. Он должен знать».

— Брось, чего призадумался? Поедем! — убеждал моторист. — Есть у меня на Миллионной бухточка... Вали к Длинному, бери увольнительную. Гулай даст тебе, вали!

— Погоди! Что словно муха...

— Чего годить? Чего сидеть, чего киснуть, — дуй, тебе говорят!

«А и правда! Ну их всех! Разберется как-нибудь само по себе, распутается», — решил Егор.

— Поедем! — сказал он другу.

В бане никого не было. Егор открыл душ, и сперва холодная, потом все горячее и горячее с треском и шумом полилась на его тело вода.

Кто-то отворил дверь и, заглядывая в баню, впустил холодную струю воздуха.

— Закройте! — крикнул Егор, щуря глаза от разъедавшей их мыльной пены.

— Кончай мыться! Кто там? Сейчас воду перекрываем, — сказал кто-то.

— Подожди, подождите! — сказал Егор. — Дай сполоснуться.

Дверь снова распахнулась и вместе с холодом в баню вошел шифровальщик.

— Егор, ты? — спросил он.

— Чего ты шляешься? Холодно.

— Твоему приказ вышел, — продолжал шифровальщик таинственно, не обращая внимания на раздражение Егора.

«Твоему» — означало: комиссару отряда, как на крейсере приятели Егора назвали Ржанова.

— Важный приказ, — продолжал шифровальщик. — Назначение.

И он по большому секрету рассказал Егору, что Ржанов отзывается в распоряжение штаба флота.

— Ты не рад? — спросил он приятеля.

— Напротив...

На кораблях, да и не только на кораблях, а и среди людей, живущих большими объединениями и общим интересом, нередко случается, что какое-нибудь дело, о котором не объявляли и которое, казалось бы, не было причин знать, напротив того, знали. И знали тем больше, чем больше старались из этого дела сделать секрет. Так было и на крейсере.

То, о чем рассказывал шифровальщик Егору «по большому секрету, и то только потому, что он сам понимает», — по существу, уже не было секретом ни для кого, исключая, пожалуй, самого Егора.

В первую минуту Егор действительно обрадовался и проявил интерес, но вскоре задумался, но не о Петре, а о себе

самом. Он думал о том, что уход Петра доставит ему неприятности. «Я привык к нему, нам не плохо было бы плавать вместе», — рассуждал Егор. Но главная неприятность заключалась в другом. Уход Петра нарушит обычный, так удобно сложившийся ход его жизни и службы.

Прежде всего ему было легко и вольно. Для Егора это была не служба, а «службишка», как говорили ему не без зависти некоторые товарищи. Правда, иногда в сознании Егора проскальзывали критические мысли — не дорожить этим. «Это не мое, это не заслуженное», — говорил он сам себе, но голос этого трезвого сознания был так робок, так тих, а Егору всегда было так некогда, да и не хотелось прислушиваться к нему. «Мне удобно, хорошо, и все. Зачем отказываться?» — убеждал себя Егор. Рассудок его вскоре затих, смирился и теперь все реже и реже подавал свои советы, да Егор и не слушал теперь этих советов.

Намылившись, он думал о том, что так удобно сложившееся расписание его службы вдруг из-за этого приказа может теперь поломаться. «Что тогда будет? — спрашивал себя Егор с беспокойством. — А ничего! Служат же другие», — ответил он себе. Но вслед за этой пришла еще более неприятная мысль, о том, что он будет, «как все». Мысль эта была так неожиданна, так неприятна, что Егора даже бросило в озноб. Он открыл вентиль душа еще больше, чтоб окатить себя горячей водой, но воды шло не больше, а меньше. И вода шла не горячее, а холоднее и вскоре прекратилась совсем.

— Вахтенный, скажи в машину, чтоб воды качнули, ополоснуться только, — попросил Егор, отворяя дверь и подставляя себя холоду.

Прошла минута, десять минут. Воды не было. На коже и на волосах засохло мыло. Егор полностью открыл душ, стукнул по трубе кулаком — вода не шла. Его друг моторист, налив из бака в шайку кипятку, самоистязаясь, смывал с себя засохшее мыло. Егор ждал. К дверям бани подошел помощник дежурного командира и приказал оставить баню.

— Воды не будет, — сказал он: — питают цистерны.

Егор объяснил, в каком он положении.

— Приказано — и баста!

Прошло еще несколько минут. Дверь бани широко распахнулась, и на пороге ее появился сам дежурный командир.

— Почему здесь? Кто такие? Я приказал закрыть... Марш!

— Мы в мыле, качните, пожалуйста, воды... Видите? — говорил Егор, дрожа от холода и стуча зубами.

— Не разговаривать! Вон!

— Что вы горячитесь?

— Я приказал закрыть.

— Я уйду не раньше, чем ополоснусь.

— А я приказываю! — вскрикнул дежурный командир.

— Закройте дверь. Нам холодно, — сказал Егор спокойно, бледнея от раздражения. Он взялся за ручку двери и потянул ее к себе. — Я замерзаю, вы... вы понимаете?

— Я приказываю! — повторил дежурный командир еще раз с той настойчивостью и злобой, с которыми заявляют свои права сила, упрямство и формальное превосходство. Он выкрикнул это так, словно бил по суку. «А я буду бить, буду!» — говорил его тон, его взгляд и все выражение его фигуры, одетой в шинель. «Буду бить до тех пор, пока ты не расколешься!»

— Послушайте, вы! — Егор вложил в это «вы» все свое пренебрежение. — Надо командовать не этим, а этим! — сказал он и показал сперва на нарукавные нашивки ротного командира, а потом на лоб. Сдерживая бешенство, Егор рванул дверь и перед самым носом дежурного командира захлопнул ее.

— Животное! — проговорил Егор по-французски, закладывая крючок.

— Я буду жаловаться, — ругался дежурный, спрашивая у кого-то фамилию Егора. — Мне все равно, — говорил он обиженно, — будь он хоть сыном самого командующего флотом.

Он удалился. Моряки, бывшие в отсеке, весело засмеялись.

— Здорово он нашего ротного отпардонил, — сказал кто-то.

— Так и надо!.. Вредный, чорт! — согласился другой.

— Он этого не оставит, накляузничает, — сказал третий.

Сполоснувшись из ведра забортной водой и выпросив у Гулая увольнительную, Егор на штабном катере ушел в Ораниенбаум.

IV

Петр Ржанов сидел в президиуме молодежной конференции Кронштадта, слушал речи, а думал о Егоре. «Все дело в том, — рассуждал Петр, — что во всем его анархизме, во всем его сумасбродстве, которым он начинен доотказа, виноват я. Да, я», — повторил Петр, точно кто оспаривал у него это признание. Петр упрекал себя в том, что он, коммунист,

комиссар, призванный руководить нравственным духом сотен людей, упустил одного человека. Он увидел как-то вдруг, что один маленький винтик, каким был его Егор, выпадал из своего места и мог внести перебой в работу сложного механизма, каким был корабль и отряд.

Петр не раз думал о том, что Егора следовало бы перевести в другое соединение. Он понимал, что близость совместной их службы оказывала на Егора плохое влияние. Но, несмотря на это, Петр перевел его к себе.

Будучи занят людьми, руководя ими и воспитывая их, он был занят людьми вообще. Он давал общее направление, общую идею. Теперь же в Егоре он впервые увидел свой промах. Он увидел, как не совсем правильно преломлялись внизу его идеи.

«Руководить многими, честно руководить, — думал он, — можно тогда, когда в массе людей не упускаешь личности. А я упустил. Почему?» И он задумался над этой причиной.

Любая форма работы — было ли то партийное или комсомольское собрание, совещание, митинг, учение по специальности, политическое образование, — весь распорядок службы по сути своей был направлен к Егору. «Не к моему Егору, а к Егорам вообще, которых тысячи», — думал Петр.

От правильного направления и регулирования всем ходом боевого и политического воспитания зависели силы флота.

«Сила флота заключена в людях, и мы руководим людьми». И Петр пришел к выводу, что Егор был объективным показателем недостатков его руководства. Егор, как магнитная стрелка, показал Петру его отклонение от правильного курса. «Это болезнь возраста, она — как скарлатина, ею надо переболеть. Ты опять его оправдываешь? — спросил он самого себя и ответил: — Ну да, это естественно. Я же ближе всех к нему. А он? Он?» — повторил Петр, но не мог ответить себе на этот вопрос. «Егорке, когда я его подобрал на дороге и привел на корабль, было одиннадцать лет, — вспомнил Петр. — Половину своей жизни он прожил со мной. Где же ошибка? Ошибка, стало быть, во мне. Надо принять решение», — подумал он. Но рассуждение Петра о решении было прервано. Председательствующий предоставил Петру слово, и он, как бы очнувшись, поднялся на трибуну и рассказал молодежи о Егоре, о невнимательности некоторых партийных работников к людям, подразумевая под «некоторыми» самого себя.

После выступления Петра за кулисы к нему пришел секретарь партийной комиссии, чтобы согласовать вопросы по кон-

фликтным делам. Потом подошел редактор отрядной газеты «Ленинец», чтобы получить установку относительно «острых мест».

— В статьях, присланных в редакцию, затрагиваются известные фамилии. Я полагаю, что это отрицательно повлияет на авторитет командиров, — сказал редактор.

— Проверьте и печатайте.

— Есть, — сказал редактор.

Петр вынул из кармана брошюру с материалами пленума ЦК и, подчеркнув в ней те места, на которые, по его мнению, особенно нужно было обратить внимание, подал ее редактору:

— А об авторитетах не беспокойтесь, — сказал он при этом редактору. — Подлинный авторитет не боится критики.

После конференции, ночью, когда Петр вернулся на корабль, он снова задумался о Егоре.

Петр воспитывал Егора для будущего, лучшего общества, а выходило так, что он упускал настоящее, то-есть не учитывал те реальные условия окружающей жизни, в которых находился его Егор. Получался разрыв будущего с настоящим. «Ах, как это сложно, как сложно!.. — с болью в сердце думал он. — Ведь цель воспитания не только в том, чтобы заставить человека совершать полезные людям дела, но и находить в них радость; не только быть честным и чистым, но и любить честность и чистоту; не только быть справедливым и мужественным, но и развивать эти качества; не только работать на общее благо, но работать красиво. Да, основа воспитания — объяснение смысла и назначения жизни...»

Ход этих мыслей прервал вошедший в каюту адъютант флагмана.

— Разрешите, товарищ комиссар отряда, — сказал он, как всегда ясно выговаривая слова.

— Заходите, что у вас?

— Алексей Алексеевич просил согласовать с вами одно дело...

— Срочное? — спросил Ржанов раздеваясь.

— Здесь рапорт... Рапорт командира роты командиру корабля, который переслал его командиру отряда.

— Что такое? Жалоба?

— Так точно, товарищ комиссар отряда, жалоба на поведение вашего... — он запнулся, но тотчас оправился и выговорил четко: — вашего приемного сына.

Петр взял бумагу.

«Рапорт, — читал Петр. — Доводится до вашего сведения, что сегодня, третьего ноября 1929 года, младший командир-электрик вверенного вам корабля Егор Ржанов, находясь в бане в неположенное время, не исполнил моего приказания...»

— Здесь приложен рапорт командира крейсера на имя флагмана, — сказал адъютант.

«Расценивая данное поведение как в высшей степени порочное, направленное к оскорблению личности лица среднего командного состава, — говорилось в рапорте, — прошу вас за вышеуказанный проступок определить взыскание на упомянутого краснофлотца сверхсрочной службы вашей властью».

Это означало, что командир крейсера считал недостаточным наложить на Егора семь суток ареста, а потому и обращался к дисциплинарным правам командира отряда.

— Ну? — спросил Ржанов, возвращая рапорты.

— Все, — ответил адъютант. — Алексей Алексеевич только желает знать ваше мнение по этому делу, — продолжал он спокойно и почтительно и с таким выражением, которое как бы говорило: «Я понимаю, что вам это неприятно, даже очень неприятно, но что поделаешь? Служба, долг, смотрите не ошибитесь».

— Я согласен с решением командира крейсера, — сказал Петр.

— Да, но...

— Я согласен с мнением командира корабля. Доложите так командиру отряда.

— Есть! — сказал адъютант, козырнул и вышел.

Это согласие Петра стоило Егору двадцати суток гауптвахты.

V

Ноябрь 1929 года стоял холодный, жгучий, штормовой. Корабли учебного отряда возвращались в Кронштадт из дальнего плавания. Море редко ведет себя в эту пору тихо. Шторм преследовал корабли восьмые сутки, и многих укачало. Но, несмотря на шторм, качку и тяжелую вахту, моряки чувствовали себя весело, и весело потому, что это был последний поход кампании.

Осенью среди моряков бывает особенное возбужденно-веселое настроение. Вся команда разделяется тогда на возраст-

ные группы по срокам службы и живет своеобразными косяками, вращаясь вокруг одних косяку свойственных интересов. Таких косяков на «Совете» было четыре. Те, кто служил по второму году, готовились в отпуск. Этот косяк напоминал собой резвых плотвичек, играющих на отмели. Здесь вслух мечтали о любви, о форме и романтических встречах на берегу. Во втором косяке были те, кто служил по третьему году и кто уже во второй раз собирался в отпуск. Эти люди были уравновешеннее первых. У них был опыт, и если они и думали о том, что и первые, то меньше говорили об этом. Они не меняли своих новых форменок на старые ради бледных, полинялых от стирки воротников, чтобы выдать себя на берегу за старых морских волков. Они не вплетали в свои бескозырки двойных, с потускневшими от времени буквами лент. Не потрошили внутренностей своих фуражек, превращая их тем самым в медузообразные существа. На первых они смотрели несколько свысока, все предвидя и ничему не удивляясь. Люди третьего косяка состояли из тех, кто увольнялся в бессрочный отпуск и думал возвратиться к своим очагам, на прежнюю работу. Они думали о доме, своей семье, в их голосе слышалась забота, иногда тревога. Другие, наоборот, строили различные планы. Они были полны воодушевления и самых радужных надежд, как это нередко кажется, когда смотришь на свое завтра издалека.

«Возвращусь в Москву, сдам экзамен, поступлю в Ломоносовский, буду учиться...» — думал штурманский электрик корабля Рябинин.

«Поеду в деревню, женюсь, разделюсь, заведу свое хозяйство, разведу сад, скотинку, и пойдет все тихо, благородно», — говорил себе машинист Томилин.

«Эх, кабы Дуняша слово свое сдержала!» — мечтал кочегар Добрушин, вспоминая свою соседку, и сердце его защемило.

«Покачу к отцу, — думал трюмный Сухопарин, — буду жить на селе, и пойдет все по-старому...» Сухопарин дальше этого никогда не думал, не позволял себе. Он боялся, как бы кто не подслушал его сладкой мечты — мечты о мельницах, прасольстве и трактире, где он, сам хозяин, стоит за стойкой.

Каждый думал о своей жизни, но думал по-разному.

В последнем косяке были те, кто оставался служить на сверхсрочную по пятому, шестому и седьмому году. Это была рыба крупная, опытная. Она держалась несколько обособленно и в свою среду никого не пускала. В этом косяке были свои

интересы и своя философия. Так было на «Совете» в последние дни кампании.

Наступил вечер, качало, хотя ветер и стих. Было скучно, как бывает под конец похода, когда имевшиеся фильмы прокрутили уже не один раз, когда нет самодеятельности, нет свежих книг, журналов и нет собраний. Кто пил чай, кто, лежа на рундуке, тренькал на балалайке, кто читал и писал письма или переговаривался с товарищем о береге и о «ней»... А большинство, не раздеваясь, спало, дожидаясь своей вахты.

Василий Веригин, штатный сигнальщик корабля, отсекр партийного коллектива, после бурного бюро поднялся на верхнюю палубу. На бюро обсуждали директиву ПУРККА о вербовке специалистов на сверхсрочную службу, обсуждали, но ни к какому решению не пришли. А с осени с корабля должны были уйти в долгосрочный отпуск пять младших командиров. Большинство членов бюро были старшины. Все они находились в нерешительности.

«Вот чертовщина! — досадовал Веригин на военкома корабля. — Ведь ему только бы слово сказать!..»

Его раздражал и трюмный машинист Сухопарин — эта толстая, потная, неряшливая туша, которого в команде звали тюленем.

«Просто набивает себе цену», — думал о нем Веригин, вспоминая его заплывшие жиром глазки на круглой, бесстрастной, как у скопца, физиономии.

Веригин думал о выступлении штурманского электрика Рябинина, который просто и открыто сказал, что уговаривать его нечего, так как служить он дальше не собирается.

«Вот и я тоже не желаю, — думал Веригин, — а сказать так не могу. А Митька Рябинин может... Как он увлекательно говорил про Москву, про учебу!..» И Веригин невольно позавидовал его независимости и доброму желанию.

Один главный старшина машинист Влас Травин, сверхсрочник, молодой член партии, дал свое согласие. «Я еще послужу годочек, а там видно будет»,— сказал Травин. Он фактически исполнял на корабле должность механика. Моряк он был тихий, скромный. То, что он сказал «видно будет», означало лишь то, что Травин пока еще не думает жениться и что, пока он не женится, годик-другой послужит.

Проходя по полуюту, Веригин увидел Сухопарина в окне каюты командира корабля. Трюмный о чем-то разговаривал с Николаем Николаевичем и улыбался. Раздражение, подняв-

шееся в Веригине во время заседания, но сдерживаемое им, теперь, при виде Сухопарина, поднялось и забушевало в нем с новой силой и, подобно пару в котле, искало выхода. Поднявшись на мостик, Веригин нашел тот клапан, через который он мог «стравить» свое лишнее душевное давление, и клапаном этим оказался вахтенный сигнальщик. Он дал ему «фитиля» и, открыв клапан раздражения, сразу же успокоился. Под ветром и солеными брызгами волн он окончательно остыл и направился к военкому корабля доложить.

Военный комиссар корабля Василий Грязнов находился в кают-компании. Он играл в шахматы с представителем политического управления. Играл и напевал: «Во поле березынька стояла...»

Веригин попросил разрешения и вошел в каюту. В помещении было душно. Табачный дым плавал сизыми облаками. Дым этот развеивал лопастной вентилятор. На стекла задраенного светового люка падали со стуком капли.

— Садись, Веригин, кури, — сказал военком, подавая ему свой портсигар, подарок ЦИК, с краткой, но выразительной надписью: «Матросу революции. Март. 1921 год».

Веригин закурил.

— «Во поле березынька стояла...» — продолжал напевать вполголоса военком, не отрывая глаз от доски. — Ну, как, тезка, дела? — спросил он Веригина.

— Заело, Василий Васильевич.

— Так, так, хорошо. Заело, говоришь? Посмотрим!.. — говорил он, увлеченный игрой. — Ваш ход... «Некому кудряву заломати...» Шах! — сказал военком, следя за ходом партнера.

Инструктор Пубалта сделал ход.

— Так. А мы вот так! — и военком снял фигуру. — «Некому березой отстегати...» — пел Грязнов, переиначивая песню, которая, видимо, отражала ход его мысли. — Мат! — произнес он громко и поднялся с дивана.

— Сгоняем еще? — предложил работник Политического управления.

— Нет, благодарю. Потом. У меня сейчас собрание машинной команды. Пойдемте, послушайте.

— Хорошо.

— Так ты говоришь, заело?

— Пока да, товарищ комиссар.

— Травин, Сухопарин, Рябинин — как они?

Рассказывая о бюро, Веригин заметил у глаз военкома

едва заметные морщинки. Веригин хорошо знал мимику лица своего комиссара и понимал ее лучше всяких слов. Морщинки у глаз военкома говорили о том, что Василий Васильевич, несмотря на качку, находился в хорошем настроении. Они говорили о том, что военком что-то решил, и то, что он решил, есть, безусловно, решение правильное.

— Так что ты, тезка, думаешь? — спросил Василий Васильевич Веригина, когда тот рассказал о деле.

— Отложить собрание и снова провести бюро... С вашим участием провести.

— Это задний ход, Вася. Пошли, — добавил он, направляясь к выходу. — Ходом вперед, Веригин, будет твой рапорт на сверхсрочную, — продолжал военком, проходя по коридору.

«Тебе легко говорить, — думал Веригин, — а для меня с этим ходом сопряжено мое будущее».

Военком, словно угадав его тревогу, сказал:

— Пойдешь в «Толмачевку», Вася, хватка у тебя есть, чутье наше, а поучиться тебе надо. — И он сказал это так просто, так убедительно, будто другого хода в самом деле больше не было.

Но Веригин думал иначе. «Как выйти из этого положения? Неужели снова сорвется?» — думал он.

Василию Веригину шел двадцать третий год. Он считал себя стариком, боялся очерстветь и потерять способность «к усвояемости», как он говорил. В минуты размышлений, «гуляя» на вахте, он думал о том, что многие из его товарищей, отслужив срочную в армии, давно уже учились в вузах. Сигнальщик Веригин мечтал поступить в электротехнический институт и все лето тщательно занимался подготовкой. «Да что, я еще в прошлую осень был готов, — рассуждал он, — если б не это дело».

«Этим делом» было то, что его избрали ответственным секретарем партийного коллектива, и Веригин остался служить...

Пришла новая осень, и снова, как в прошлом году, он должен был показать пример.

— Что ж ты молчишь? О чем призадумался, Вася? — спросил военком.

— Вы же знаете мои намерения...

И опять, словно угадав его мысли, военком сказал:

— Наши с тобой намерения, Вася, должны совпадать с партийными.

— Есть! — ответил Веригин и вслед за военкомом вошел в кубрик.

— Встать! Смир-рно!! — закричал дневальный, давно караулививший появление военкома в кубрике. Он закричал так, что и те, кто спал на рундуках, вскочили со своих мест. Дневальный оглянулся и подбежал с рапортом.

— Вольно! Отставить! — проговорил военком свое обычное слово к досаде любителей рапортануть. — Садитесь, товарищи. Слово имеет первый новый сверхсрочник Влас Травин, — сказал он.

Травин смущенно посмотрел на товарищей: что ж, мол, тут говорить, — сказал его вид. Но он вытер паклей руки и начал:

— Я, товарищи, вот как. Девять лет прослужил, и десятый прослужу, коли нужно. Командованию и вам, Василий Васильевич, великое спасибо!.. За доверие значит. — И он кончил.

VI

— Небось, того, гнешь?.. — сказал штурманский электрик Рябинин, загибая крючком свой палец. Он не верил новости, которую слышал, а загнутый палец означал знак этого недоверия.

— Поди почитай, — сказал машинист.

В Ленинской каюте корабля действительно висел свежий номер стенной газеты с крупной красной шапкой: «Они первые». А ниже шли три фамилии: Добрушин, Травин и Веригин.

«Веригин подвел», — подумал Рябинин. В первую минуту он почувствовал на душе обиду, так как он вместе с Добрушиным собирался порезвиться на берегу этой осенью. Хлопнув дверью, Рябинин вышел из каюты. Он долго в задумчивости стоял на барбете *, смотря в море, пока в его карих красивых глазах не появились от ветра слезы. Шатаясь из стороны в сторону, поддерживая равновесие, чтоб не упасть от качки, он направился к себе в центральный пост. Пришел, спустился, накрылся крышкой и лег спать.

А Веригин, как только выступил на собрании и сказал о том, что он подает рапорт об оставлении его на сверхсрочную, сейчас же почувствовал, как все в нем успокоилось и встало на место. Исчезла фальшь, исчезли косые взгляды товарищей, и он ощутил в себе прежнюю уверенность. Маленькая каютка партийного коллектива, сам корабль, обычная, так знакомая ему вахта на мостике, люди корабля, все нужды его

---

* Выступ на борту корабля для установки орудий.

не только не казались теперь надоевшими, как накануне, а наоборот, он испытывал ко всему этому трогательную любовь и привязанность. В таком бодро-сосредоточенном состоянии Веригин сменился с вахты и принялся готовиться к очередным занятиям.

Ночь прошла в тревогах. Моряки, несмотря на усталость и качку, показали хорошую выучку. «Совет», как старый конь, почуяв дом, летел полным ходом в гавань. На рассвете 3 ноября показался Толбухин маяк, запахло берегом, и всеобщее оживление усилилось. Теперь было наоборот: море успокоилось, а команда волновалась, и волновалась тем более, чем ближе подходили к земле.

Вон они, островки фортов, и справа и слева, вон и отлогий берег Котлина, мол, ряды кораблей за молом и бронзовые листья деревьев в Петровском парке.

Задолго до прихода на большой рейд электрики и трюмные потянули свои провода и шланги. Механик «Совета» Аркадий Наумов, видя столь нетерпеливые приготовления, сделал своим подчиненным замечание.

«Наплели паутины!» — сказал он сердито, споткнувшись о провода. Но это было сказано так, для порядка, чтобы обратить на себя внимание стоявшего на мостике командира. Аркадий Наумов с напускной серьезностью прошел мимо машинного люка, и, хотя ему было известно все, что делалось в машине, он все же заглянул в люк и начальнически крикнул:

— В машине!

— Есть в машине! — отозвался голос.

— Следить за телеграфом! Переменные хода скоро!

— Есть!

Аркадий Наумов был молодой механик. Недавно ему исполнилось двадцать шесть лет. В 1922 году по комсомольской путевке он пришел на флот. Через пять лет окончил Морское инженерное имени Феликса Дзержинского училище и был назначен помощником механика на орденоносный крейсер. Вскоре, впрочем, его списали оттуда и перевели на «Совет» механиком. Такое «понижение» по службе его вполне устраивало. Наумов старался жить сам по себе, в стороне от общественной жизни, и жил тихо.

«Видел, хватит, знаю. Мы поработали», — говорил он комсомольцам, когда те обращались к нему с какой-нибудь общественной работой.

Но то, что говорил Наумов, не было правдой. В 1920 году он по течению попал в комсомол, потом, также по течению,

пошел добровольцем служить. Вместе с другими учился и вместе с другими окончил курс. Надеть китель было его давнишней мечтой, и он, наконец, ее осуществил. Наумов был доволен собой. Служба его на корабле протекала спокойно. Старая, тихоходная, но хорошо сбитая машина не требовала забот. Машинная команда подобралась наславу и своей энергией обеспечивала ему полное спокойствие.

Аркадий Наумов завел на берегу квартиру, «дамочку» и пошел, как говорили моряки, в корень, наслаждаясь штилевой полосой жизни. Команды он чуждался и жил отшельником, редко выходя из кают-компании. В разговоре с людьми (он любил разговаривать с людьми старше себя по службе), за чаем, ужином или шахматной доской механик Наумов умел коснуться любого вопроса, вставить реплику и во-время присоединиться к суждению тех, от кого, по его рассудку, зависела погода общественного мнения.

— Птенчики, голубчики! — сказал он своим баском, входя под полубак и обращаясь к плотникам, весело строгавшим свежие, пахнущие смолой доски. Но, взглянув на мостик и рассчитав, что слова его могут быть услышаны там, он изменил тон и строго произнес: — Клюз освободить! Что доски набросали? Убрать!

И хотя это вовсе не было его делом, он все-таки распоряжался.

Его резкие переходы от «голубчиков» к «молчать!» были известны команде, и его словам хорошо знали цену. Все, что делал Наумов, он делал из расчета. Его — тоненького, прилизанного, ядовитого — моряки знали отлично. Вот и сейчас, под полубаком, у брашпиля, он искал повод попетушиться. Но подбежавший вахтенный помешал ему:

— Товарищ механик, вас просит к себе старпом.

— Надо говорить: «товарищ старший помощник командира корабля», — сказал Наумов вахтенному строго, и так, словно он отрезал каждое слово.

— Есть говорить: «товарищ старший помощник командира корабля», — повторил вахтенный и, козырнув, побежал дальше.

— Разрешите, Георгий Кузьмич? — спросил Наумов, приоткрывая дверь и заглядывая в каюту.

— Прошу, прошу, — не поворачивая головы, ответил старший помощник.

Бусыгин сидел за столом, сосредоточенно просматривая ведомости. В каюте находился баталер. Он стоял позади стар-

пома, заглядывая через его плечо, и давал объяснения по различным графам.

— Но откуда у вас здесь остатки? — спросил старший помощник, обращаясь к баталеру. — Вот, вот, я на эту колонку показываю... Да вот же здесь, экий вы, право! — теряя терпение, проговорил он.

Старший помощник резко подчеркнул красным карандашом то место, которое вызывало его недоумение.

— Идите, милый, и чтоб завтра к подъему флага была полная картина, — сказал он баталеру. — Я таких бумаг подписывать не стану.

Баталер шаркнул ногами и, захлопнув папку, спросил:

— Позволите удалиться?

— Идите... Штучки, знаете ли, — сказал старпом, поворачиваясь к Наумову.

«Штучки» — было одно из любимых и многозначительных слов Георгия Кузьмича Бусыгина, которое он употреблял всегда, будучи недовольным. Сейчас это слово означало, что он не совсем доверяет подсчетам хозяйственников.

— Конец, Георгий Кузьмич? — спросил Наумов тем особым, полупочтительным, полуфамильярным тоном, которым он обычно разговаривал о неслужебных делах.

— Да, будем забиваться. Я уже приказал тамбур строить. Зима-матушка. Наплавались. Сколько нынче за кормой миль намотали? — спросил он Наумова. — Тысченок семнадцать будет, а?

— Шестнадцать пятьсот восемьдесят, — ответил Наумов.

— Озаботьтесь, Аркадий Степанович, с отчетом по вашей части. После праздников надо будет рассчитаться.

— Есть, Георгий Кузьмич. Будет исполнено.

— Что это я хотел вам еще сказать?.. — спросил себя Георгий Кузьмич. — А впрочем, давайте сгоняем до аврала, а?

— Что вы, Георгий Кузьмич, куда мне с вами!.. — И Наумов изобразил на своем остреньком лице такую гримасу, которая выражала полное его ничтожество перед таким игроком, как старший помощник.

— Я вам фору дам, садитесь.

Георгий Кузьмич приступил к расстановке фигур.

Играя «по-семейному», как говорил Георгий Кузьмич, он позволял себе разговаривать на посторонние темы. Такой посторонней темой в настоящее время для них обоих была подготовка к увольнению команды отслуживших срок своей службы. Наумов, зная страсть старшего помощника к игре, целыми

ночами просиживал над шахматными композициями, чтобы поднять себя в глазах старпома и щегольнуть перед ним новым заученным ходом.

— Приятно видеть, механик, как вы растете.

— Ну, что вы! — смущенно говорил Наумов и заводил разговор о какой-нибудь восходящей шахматной звезде.

— Ловко, механик, браво! — воскликнул старпом, видя, что теряет королеву. — Честное слово!.. Да вы, я вижу...

— Ваша школа, товарищ старший помощник...

Когда загремели колокола громкого боя, игроки, заметив расположение фигур, расстались.

— Так вы мне позволите уволиться в Ленинград? — спросил Наумов Георгия Кузьмича таким тоном, будто напомнил ему о давно обещанном.

VII

Георгий Кузьмич Бусыгин был, что называется, «свой парень», «рубаха» — простой, предобрый, отзывчивый. Совсем недавно он был выдвинут с хозяйственной должности на командную и теперь служил старшим помощником командира корабля. Это очень обязывающая должность. В своей службе Георгий Бусыгин шел неровно, то подымаясь, то опускаясь. Рассказывали, например, в команде, как в 1925 году, после окончания им курсов усовершенствования командного состава, получив повышение, Бусыгин на радостях выпил, да так выпил, что его с берега привезли завернутого в парус.

Был и такой случай: приказали ему что-то закупить в Питере. Уехал. Это случилось уже с ним после опалы, когда Бусыгин снова пошел в гору. Приехал он все честь честью. Но решил он напоследок заехать на Черную речку, к отраде своего сердца. Заехал, да там и сел на мель.

Бусыгина судили и «припаяли», как говорили в команде. И таких «галсов» в его послужном списке было немало. Георгий Кузьмич и сам хотел все сделать хорошо, но не мог. И не потому не мог, что не сумел бы, а потому, что был ленив. Бусыгин ни к чему не стремился, а брал походя, что попадалось, и всегда довольствовался тем, что имел. Он как бы стоял и цвел, как цветет непроточный пруд. И сам Бусыгин видел, что зарастает тиной, да все говорил: «Э, да ладно! Успею».

В течение всей своей жизни, — а ему шел уже сороковой год, — Бусыгин наполнялся знаниями. И эти знания могли бы иному составить честь. Он хорошо знал астрономию, лоцию,

математику. Но он наполнился этими знаниями как-то произвольно, бесцельно, как наполняются по весне овраги от талого снега водой. Все, что было хорошего, полезного, живого в его душе, все, что он приобрел тогда, в молодости, теперь подсыхало в нем, и он мелел.

Бусыгин сознавал свое духовное состояние, но не мог преодолеть себя, все чего-то не хватало, а выход был нужен.

«Как бы так придумать, — рассуждал Георгий Кузьмич, — как придумать так, чтоб освежиться, смыть с себя всю накипь?.. Произвести аврал в сердце и выкинуть за борт шлак?.. Не обновиться, а начать сызнова», — думал он.

Мысли об этом часто бродили в его голове развеянными облаками. А порой они собирались и в тучи — холодные, свинцовые, и тошно становилось на душе от этих туч.

Бывало лежит Бусыгин ночью на койке и думает, перебирает вешки своего жизненного пути. А путь этот был нехитрым. Матрос-рулевой царской службы, командир бронепоезда в гражданскую войну, комендант Кронштадтской крепости во время нэпа, потом снова рулевой, курсы, хозяйственная работа и — разные мерзости от зазнайства и самоудовлетворения.

«Последнее стыдно и вспоминать. А оно лезет, и нахально так лезет», — думал Георгий Кузьмич. И долго мытарился так Бусыгин, не давая ни себе, ни людям покоя.

«Ну вот, завтра — точка!» — скажет себе Бусыгин. И действительно, смотришь, словно переродился Георгий Кузьмич. Бодрый, деятельный, команду учит, тревоги проводит, кружками руководит, и всегда в самой гуще моряков. Тогда все вертится вокруг него. Бусыгин в такие дни напоминал собой главный маховик, дающий движение маленьким колесикам.

Всех подтянет, чистота, порядок, — любо-дорого. И так продолжается не день и не два, а месяц и месяцы. Разгонится, наберет скорость — держись!..

«Бусыгин-то, — скажет кто-нибудь из начальства, — молодец!» Скажет — и словно сглазит. Все шло хорошо, а то возьмет да отчебучит что-нибудь. И опять сведет себя к исходной точке. А такой точкой было равнодушие.

Вытянул Бусыгина из этого психологического болота его старый друг комиссар Петр Ржанов. И вытянул он его своим доверием к нему. Комиссар Ржанов дал Бусыгину работу. Дал ему рекомендацию в партию. Ржанов редко ошибался в людях. Он умел в каждом человеке найти хорошее. Умел как

бы разглядеть это хорошее за недостатками и слабостями. Иной человек бывало или не знает, или позабудет о том, каким он добром обладает. Ржанов подскажет, раскроет. Вытащит из шелухи это доброе в человеке и применит к делу.

Так Петр поступил и с Георгием Кузьмичом. А это дало Бусыгину духовную опору. Вот уж кампания подходила к концу, а Бусыгин находился попрежнему в состоянии подъема, и его «маховик» все больше и больше набирал скорость.

VIII

Вечерами в устье Невы, над Ленинградом, ярко разгорались электрические зори. Этот свет хорошо был виден с маленького острова, и свет этот манил к себе моряков.

Нередко осенними вечерами Егор бродил по мокрым улицам, заглядывал в окна, видел в них теплый, уютный свет абажура, женский профиль, и тогда ему хотелось тихих домашних радостей, хотелось подышать этим воздухом покоя, уюта, домашнего тепла и семьи.

Но город для многих моряков был чужим. Чужими были дома, равнодушными были прохожие, настороженно-холодны девушки. И все же моряки тянулись к этому искусственному свету, заманчивому издали, искали бухточки, напарывались на рифы действительности, подвергая себя риску сесть на мель, и нередко садились на эту мель, а порой наиболее легкомысленные из них, подобно мотылькам, опаляли свои крылышки... И очень часто, не встретив ничего из своих мечтаний, брали то, что попадалось под руку, и развлекались, как могли, каждый по своим способностям.

Конечно, в распоряжении моряков были театры, музеи, выставки, лекции, — но не всегда хотелось туда итти. Были в их распоряжении и клубы и дома культуры, — но часто в этих учреждениях слишком уж все было организованно, и от этой сверхорганизованности бежали.

Приехав в город, Егор долго раздумывал, куда себя деть. Позвонив в два-три места и не застав никого, он направился на улицу Росси, но и там не было той, которую он хотел встретить. Тогда он пошел в Русский музей.

Пройдя несколько залов, Егор ощутил голод, и интерес его к живописи как-то сам собою угас. Нужно было позаботиться о харчах, но время обеда в экипаже было им упущено, и Егор остался голодным.

Проходя по Невскому, он зашел в кафе, чтоб утолить голод, и потратил на еду все те деньги, которые были отложены им на театр. Делать было нечего, и Егор побрел в первый флотский, чтобы застать ужин и отдохнуть.

Так кончился первый день пребывания в Ленинграде. На душе Егора весь остаток вечера было серо, и он досадовал на себя.

На другой день после побудки и завтрака Егор покинул экипаж. Утро было чудесное: ясное, тихое. На солнечной стороне улицы было тепло и хотелось распахнуть шинель и скинуть мешавший нагрудник-галстук. Егор шагал по тротуару и с удовольствием подставлял свое лицо студеному дыханию утра и особенно ярким лучам солнца. На аллее, идущей от площади Труда к Александровскому саду, под ногами приятно шуршали опавшие красножелтые листья кленов и лип. Дома, дворцы, соборы, чугунные решетки оград, оголенные деревья — все далекие и ближние предметы были пропитаны морозно-хрустальным светом, который придает бодрый колорит и прелесть коротким и редким солнечным дням ленинградской поздней осени.

— Егорка, на румбе? — раздался веселый голос моториста, когда Егор поравнялся со зданием манежа. Несмотря на раннюю пору, моторист был уже навеселе и в самом игривом настроении духа.

— Ты куда? — спросил он Егора.

— Да так...

— По вороньим стопам, значит.

Моторист подхватил Егора под руку и оживленно заговорил:

— Я тебя, салажонка, вчера весь день искал... Понимаешь, вошел в контакт с одной... У нее подруга — малинка, а не девонька! Надо тебя с ней познакомить. Приглашали нас сегодня на вечер. Пойдешь?

Егор видел, что моторист врет и про «девоньку», и про вечер, и про то, что искал его, и про «контакт» врет, но из него так искрилось веселье и та размашистая удаль, которой море по колено и которая так ядовита, что попади хоть одна капля этого настроения на скучающего и ищущего себе места человека, она непременно прожжет его насквозь и человек вспыхнет. Вспыхнул и Егор. Он дал согласие своему приятелю руководить собой.

— Есть у тебя? — спросил моторист, многозначительно глядя на Егора и потирая указательный палец о большой.

— Нет, денег у меня нет, — ответил Егор.

— Ну, не беда: нам на пару хватит. Пойдем для начала опрокинем по кружке.

Переходя из ресторана в ресторан, — больше одной кружки краснофлотцам в одном месте не давали, — приятели очутились под конец в саду-ресторане на Невском. В самом саду давно было пустынно, темно и скучно, но зато в павильоне, где был ресторан, стоял дым коромыслом. Здесь было тепло, шумно, весело. Звучала музыка, звенела посуда, игриво смеялись девушки, блестели ряды бутылок, суетились услужливые официанты. Гул голосов смешивался и возбуждал не меньше, чем сама музыка. Помещение наполняли все новые и новые лица. Все чувствовали себя хорошо, радостно, и, как показалось Егору, все были счастливы.

— Что ты о нем все думаешь? Что он тебе дался? — попивая из кружки и как-то особенно ловко забрасывая себе в рот соленый горошек, говорил моторист. — Ну, наябедничает он на тебя командиру... Да он и не сунется... Пили ты это дело... Начхай — и все!

В то время, как моторист говорил, Егор смотрел на девушку. Смотрел на ее стройные ноги, на ее фигуру, лицо и думал, что если бы ей рассказать о себе, она бы поняла его и полюбила. И как ни противно было Егору сознавать, но именно здесь, в пивной, впервые в жизни он почувствовал недуг любви, почувствовал необходимость полюбить и быть любимым.

Он еще раз посмотрел на девушку, и ему вдруг показалось обидным: почему она, такая нежная, молодая, сидит здесь с этим грубым, пьяным парнем, а не с ним, Егором.

— Ты чего задумался? Пей! Пей, да и пойдем.

— Ты хотел меня познакомить с какой-то... — спросил Егор приятеля, чокаясь с ним кружкой. — Она похожа на эту?

— Где?

— Вон за третьим... налево... в углу...

— Ничего... Но твоя лучше... Какое давление сейчас?

— Двадцать три, — ответил Егор, смотря на часы, подаренные Петром.

— В самый раз, топаем, — сказал моторист, и они вышли.

На Невском было людно. Сновали пары, извозчики покрикивали свое «берегись!», трубили автомобили. Проспект был залит светом фонарей и заманчивых витрин.

Егор все время был охвачен неприятным предчувствием и не раз повторял себе свое «пусть». Пиво кружило голову

и несколько уводило в сторону, но неприятный осадок в душе все-таки оставался.

— К чорту! Пусть!.. Все к чорту! — крикнул Егор и словно топором отрубил все тянущиеся за ним концы, которые притягивали его к Петру, кораблю и которые все время не давали ему покоя. — Отрубил! — сказал он с радостью своему другу, почувствовав, как особенно громко зазвучали в его душе и сердце струны задора.

— Хочешь, я сейчас через Невский по-собачьи на четвереньках перейду? — спросил Егор, когда они вступили с ним на Аничков мост.

— Зачем?

— Да так...

— Вали, коли кураж нашел.

IX

На западном берегу острова, на самой окраине Кронштадта стояло каменное двухэтажное, обнесенное высокой кирпичной стеною здание. Егора привели в это здание с решетками, за эту стену. Привели, записали и сдали на хранение, как сдают вещи. Человек в морской форме, такой же, в какую был одет и Егор, не глядя на него, грубо спросил имя, возраст и срок службы. И хотя в арестной записке все то, о чем спрашивал Егора сидящий в канцелярии человек, было известно, он задал эти вопросы.

— Срок службы?

— Седьмой.

— Про срок службы спрашиваю. Что мелешь? — рявкнул писарь.

— Седьмой, — повторил Егор.

— Дурочку строишь? Не в цирке. Пьян, что ли? Смотри! — сказал канцелярист тем особым тоном, в котором слышались пренебрежение, вызывающая дерзость и пустота натуры. Он посмотрел на задумчивое лицо Егора и, показывая на его мичманку, спросил:

— Арестованный, почему не по форме?

— А иди ты к чорту! Читай! — ответил Егор спокойно, но побледнел, как это с ним часто бывало в минуты волнения.

— Карцера захотел? Поговори!.. — с сознанием своего могущества проговорил писарь.

Егор молчал.

Гауптвахтщик взял документы, несколько раз просмотрел их и, убедившись в правоте слов нового арестованного, снисходительно заметил:

— Молодоват больно, я и подумал, что ты салака....

Писарь придвинул к себе толстую прошнурованную книгу с сургучной печатью на шнурке и стал писать. Он писал медленно, царапая пером, каждый раз обтирая пальцами перо, склонив голову и высунув кончик языка от старания. Егор смотрел на книгу и думал: «Здорова́, так здорова́, что в нее весь личный состав флота вписать можно».

Сделав запись по форме, писарь голосом примирения, желая сгладить недоразумение, глядя куда-то мимо глаз Егора, сказал:

— Я тебя на второй этаж, в крайнюю восьмую камору определю.

Он сказал это так, будто делал Егору родственное одолжение.

Перед Егором открыли дверь, ввели в камеру, указали на койку, приподнятую вверх к стене, и удалились, стукнув щеколдой. Звук этой щеколды глубоко оскорбил Егора. В этом звуке слилось все: отчаяние, злоба, стыд и еще то, что выражалось в одном его многозначительном слове «пусть».

«Ну и пусть, пусть, пусть!..» — твердил Егор, ходя из угла в угол по камере. Его окружали зеленые голые стены, окно с железной решеткой и выбитым стеклом в форточке. Вдоль стены стояли три уродливо-узкие скамейки.

«Это для того, чтобы меня унизить. И окно с решеткой, и койки, поднятые к стене, и глазок в двери, и щеколда существуют для того, чтобы оскорбить, надсмеяться», — думал он.

Помимо Егора, в камере находились еще четыре человека. Все они были почти одних лет; двое из них служили по третьему году, а двое — по четвертому.

— Тебя, браток, за что за железные занавесочки посадили? — спросил парень, обращаясь к Егору.

Егор не ответил, махнул рукой и продолжал ходить.

Это был моторист с подводной лодки. Сидел он уже десятые сутки, нрава был веселого и все время напевал разные песенки, хотя это и было запрещено. Моториста арестовали за опоздание с берега.

— Мне было неприятно, я понимаю, что сделал плохо, что украл эти шесть минут... Совесть мне долго не давала покоя. И я дал себе слово больше никогда не делать этого, — говорил он. — Но когда они привели меня сюда, чтобы двадцать

суток отсидеть здесь, ничего не делая, я решил, что все это брехня... Они измарали мое чувство, и теперь мне плевать. Ты накажи, ну, не пускай на берег, ну, дай грязную работу, — рассуждал он сам с собою, — но отрывать от корабля, человека уродовать... Я любому скажу, что это...

— Ты в первый раз? — спросил его минер, не дав договорить мотористу.

— Факт! А то какой же?

— Вот и психуешь.

— А что, много дали? — заинтересовался кок.

— Под настроение попал, — ответил моторист.

«Верно, верно», — думал Егор, чувствуя и понимая и слова, и волнение, и ход мыслей, и причину возбуждения подводника.

— А тебя за что? Ты курсант? — спросил снова моторист.

Егор разговорился и излил всю свою обиду.

— Бывает!.. — проговорил кок вздыхая. — Но ты, старшина, не психуй и береги свое здоровье, — сказал он Егору. — С непривычки оно, конечно... А посидишь с мое, так и тебя забирать не будет. Я вот уже третий раз попадаю... В начале да, а теперь хоть бы хны! Пусть они там за меня у плиты на камбузе пожарятся, — и он скучно засмеялся.

Очень скоро все было пересказано, все выслушано и больше нечего было ни слушать, ни говорить. Тоскливо влачились часы: пустые, ненужные, без цели и труда — паразитические часы.

Егор ходил по камере: семь шагов вперед, семь шагов назад. На душе было пусто и безотрадно, как в этой отвратительной, похожей на аквариум зеленой камере.

Иногда Егор подходил к решетке и смотрел в окно, на свободу, где гулял ветер, путая вымпелы кораблей. В старой гавани жались друг к другу подводные лодки, у мола высился круглый мрачный форт петровской эпохи.

Чуть дальше и чуть правее виднелся Кроншлот — небольшой островок с низкими зданиями под зелеными крышами, которые проглядывали теперь сквозь голые ветви деревьев. Еще дальше и вправо и влево был залив — мутный, серый и рябой от ветра. Среди скучной воды виднелись такие же скучные форты, свечки маяков и неподвижные отжившие корабли-блокшивы.

Егор подолгу просиживал у окна, стараясь казаться равнодушным, но это удавалось ему плохо. Он тосковал о своем корабле, — не о крейсере, куда он перешел недавно, а о том

своем «Совете», куда его впервые привел Петр. «Совет» был для Егора не только местом службы, а чем-то гораздо большим. Он любил свой корабль так, как может человек любить свой дом, в котором протекли его детство и юность.

Есть одно чувство у моряков, и чувство глубокое, сильное, которое выражается у них в простых словах: «мой корабль». Моряки привыкают к кораблю, как к живому существу, и что-то трогательное, большое заключено в этой привязанности. Быть может, этой дружбе способствует море: оно как бы сплавляет в неразрывно единое и моряков и корабли.

На рассвете Егор услышал звук сирены. Он не мог обмануться — то был голос его корабля-друга. Он гудел и, казалось, звал к себе. В первое мгновение Егор рванулся и, ежась от боли, просунул голову в решетку.

На улице было темно, тихо, и только слышно было, как косой дождь барабанил по стеклам, забрасывая холодные капли в разбитую форточку.

«Показалось», — подумал Егор.

Но вот снова и снова прозвучала сирена где-то напротив «купеческой» гавани. В предрассветной мгле мелькнули огни, столь близкие ему очертания надстроек, труб, мачт... Да, сомнений не было: его корабль!

Как он близко знал этот корабль, знал его гордые, несколько откинутые назад стройные мачты, его высокий мостик, его палубу, шум его машины, запах его кают, его трепет во время хода! Семь лет прожил там Егор...

— Каждый клочок ветоши, ржавый гвоздь ценнее для них, — говорил он возбужденно, со слезами на глазах. — Их берут, они нужны. Меня же выбросили за борт...

И большая, горькая обида разлилась в его сердце.

— Чего страдаешь, курсант? Брось! — сказал кок, с удивлением смотря на Егора.

— Мой уходит, слышишь? — еле сдерживаясь, чтоб не разреветься, показывая за окно и прижимаясь лицом к решетке, говорил Егор.

— Подумаешь, уходит!.. Да хрен с ним!

X

Вечером Егора вызвали в канцелярию гауптвахты.

Сойдя вниз, он увидел фигуру знакомого человека. Сгорбившись, заложив руки за спину, ходил инженер Преображенский.

— Дедушка! — воскликнул пораженный Егор, сгорая от смущения.

— Как же так, Егорушка, а? — спросил старик, подходя и протягивая навстречу Егору руки. — Ну, ладно, ладно, не буду... — успокаивал Преображенский, заметив на лице Егора и боль и стыд. — Я тебе, Егорушка, гостинец принес, возьми, родной, — говорил он, улыбаясь и стараясь вложить в руки Егора какой-то маленький сверток. — Бери, бери! — повторил он. — Но я не за этим пришел к тебе... Времени-то, Егорушка, сколько потеряно!.. Я заниматься пришел... Тетради тут, учебники... Я все принес... Мне разрешили. Учиться будем с тобой, — говорил он добрым голосом.

И они начали учиться. Инженер Преображенский до десяти часов сидел с Егором за уроками. Они занимались астрономией, физикой, языками. Уходя и желая Егору доброй ночи, старик достал из кармана своей шинели пакетик.

— Пирожки тут... Ничего пирожки, хорошие, — говорил он.

За несколько дней пребывания под арестом Егор вполне ознакомился с нравами этого учреждения и понял, что свихнуться здесь было нетрудно. Все арестованные были военными. Устав, дисциплина, все условия военной службы и военной морали каждому из них были хорошо известны. С каждым из них, знающим весь этот порядок, случилось так (в большинстве случаев бессознательно), что, нарушив этот порядок, они получали наказание в зависимости от степени нарушения этого порядка. Но Егор, как и многие из арестованных, не сознавал того, что он поступил дурно, а следовательно, не признавал справедливой меру наложенного на него взыскания.

«И кок, и моторист, и минер, и строевой, сидящие в одной камере со мною, и другие коки, мотористы, минеры и строевые — мы все оцениваем свое пребывание здесь как насилие», — думал Егор, убеждая самого себя.

Егор знал, что в условиях гауптвахты права военнослужащих отнимались, и отнимались потому, что здесь не было никакой службы, никаких военных обязанностей, которые в нормальных условиях компенсировались правами. «Гауптвахта предназначена для пребывания», — вспомнил Егор слова писаря. — Хорошо, пусть это пребывание регламентируется своим уставом, но зачем эти выдуманные, никчемные правила? — спрашивал он. — Почему нельзя ходить, нельзя говорить, нельзя петь, нельзя лежать и десятки других самых различных «нельзя»? Все эти «нельзя» направлены уже не против военного, а против человеческого, — рассуждал

Егор. — Если мне говорят на корабле, что петь, разговаривать нельзя, то я это понимаю и беспрекословно выполняю. Здесь же все эти «нельзя» направлены на то, чтобы унизить мое человеческое достоинство, вызвать в моей душе озлобление и бессильный протест», — говорил он себе.

А это, как видел Егор, порождало тысячи различных способов своеобразной психологической защиты личности. Нельзя говорить — говорят! Нельзя свистеть — свистят и поют! Нельзя ходить среди дня в гальюн — ходят по нескольку раз, ссылаясь на расстройство желудка. Нельзя выходить в коридор — придумывают причины, чтоб выйти. Нельзя переговариваться с часовым — разговаривают. Нельзя делать татуировку, так как знают, что это глупо, — делают. Делают на зло и только потому, что нельзя. И еще во множестве форм и поступков проявляется независимость и защита своего «я».

Егор слышал, как при встрече люди рассказывали друг другу о том, как лучше обмануть своего командира, как незаметно удрать с корабля, как скрыть гадкий поступок. Он видел, как здесь обобщались и вырабатывались рецепты гауптвахтской практики, та ржавчина, которая оседала на сознании военнослужащих.

Егор понимал, что многое из того, о чем ему говорили эти парни, было неправдой. Многие клеветали на себя из-за какого-то ложного, дикого ухарства. Малейший свой проступок они раскрашивали самыми сочными красками и никогда не бывшее выдавали за действительное. Чем гаже было все придумано, тем больше это получало одобрения со стороны слушателей, так как во всем этом опять-таки видели независимость личности и превосходство над теми, кто был причиной их ареста, их унижения.

Егор за семь лет своей морской службы получил первое взыскание. Получил и попал в ту атмосферу, существования которой он никогда и не предполагал.

Он знал и видел боевой героический Балтийский флот, где свято хранили русские революционные традиции. Егор знал флот, где он плавал, жил, учился, вырос, но этого всего он не знал. И ему было стыдно теперь и за то, что он видел здесь, и за то, что попал сюда. Это была грязная сточная канава, где скоплялось все самое отвратительное и где это отвратительное бродило, хлюпало, размножалось, распространяя зловонный запах, и откуда этот запах доносился до кораблей.

XI

«Во что бы то ни стало надо бежать отсюда!» — твердил себе Егор на другой день после выхода «Совета» в море. Он сидел у окна, глядя на разбушевавшийся залив, прислушиваясь к неистовой симфонии крепнущего ветра.

Внешне Егор по обыкновению был спокоен, но внутри рвал и метал. Ему становилось невмоготу. Он чувствовал, что задыхается в атмосфере грубости, пошлости и цинизма.

Были минуты, когда Егор готов был свершить безрассудный поступок, и только голос пристыженной чести да имя Петра удерживали его от этого.

«Нехитрое дело убежать... А потом?» — спрашивал он себя, хотя его раздражение, как туман, заволакивало это «потом» и он не видел ничего вокруг. «А потом видно будет...» — говорил он себе бравируя. «Да полно, брось», — боролся Егор сам с собою, а бороться с собою, он чувствовал, было очень трудно.

Когда Егор немного успокаивался, когда туман обиды рассеивался, — только тогда он замечал, что идет по краю обрыва, что край под его ногами осыпается и что он готов вот-вот упасть туда, а там — пучина.

Так Егор маялся и днем и ночью, размышляя о себе, о своей жизни, о том, что было в прошлом, и о том, что его ожидало.

Егор думал о Петре, инженере Преображенском, о Терентии Ильиче, о Гулае, но думал о них как-то странно, думал, упрекая их за то, что они не защитили его, не удержали и столкнули сюда, в канаву. Это было обидно.

А их любовь к нему, не та любовь, что состоит из поцелуев и нежностей, а настоящая, осмысленная, человеческая любовь, их заботы о нем, их тревоги и радости, пережитые ими за него, — эта любовь не приходила Егору в голову.

Егор думал с обидой о приказе, прочитанном на вечерней поверке перед строем, где говорилось об его аресте, и вспоминал лица сослуживцев, выражавших недоумение, тревогу или злорадство, прикрытое лживым сочувствием.

— Это глупость, а не приказ... — сказал ему при встрече на берегу Сухопарин, когда в робе, без ремня, Егора вели на гауптвахту.

«И как он был доволен моему несчастью, моему унижению!» — думал Егор, закрывая глаза и видя перед собою заплывшие жиром, хитрые глазки трюмного старшины.

И странное дело — Егору было приятно сочувствие даже такого человека, которым он брезговал, к которому он питал необъяснимую антипатию.

«Да, глупость, глупость!» — повторял мысленно Егор вслед за Сухопариным, не сознавая того, что этим он ставил себя на один уровень с человеком, которого сам внутренне презирал. А это сухопаринское определение стало тоном его настроения, принципом его поведения и отношения к тому, что с ним произошло.

Вспомнил Егор и об эпизоде в бане с ротным, дежурившим тогда по кораблю командиром, по жалобе которого, как казалось Егору, довелось ему испытать весь позор. «Ну, попадись ты мне, попадись!..» — бессмысленно грозил он, и туман раздражения опять мешал ему видеть тот край обрыва, по которому он шел.

Егор думал о людях, находившихся теперь в море, во власти шторма, и страстно хотел быть с ними, чтобы помочь им. Поддаваясь музыкальным эмоциям бури, воображение Егора рисовало бесстрашных, сильных духом людей, их героическую борьбу со стихией. Эти образы сливались в его голове с минувшими историческими событиями времен Ушакова, Лазарева, Сенявина, Истомина, Нахимова, о которых так увлекательно рассказывали ему Петр и Преображенский и которым Егор в душе по-хорошему завидовал, мечтая свершить в своей жизни достойное их памяти деяние.

И мысль его, как это часто с ним случалось, остановилась на его Петре. «Да, Петр... Как он там? Где он теперь? Что думает обо мне?» И Егор задумался. На память пришли слова Петра, всегда занятого, бережливого ко времени Петра, который, не уставая, терпеливо повторял ему о том, что нельзя лгать, нельзя быть нечестным, нельзя быть трусом, нельзя быть неграмотным и отсталым.

«Да, он сильный, он может. Так и мне нужно», — говорил Егор, забывая в такие минуты про свою обиду, про то, где он и кто он.

Громкий стук дверной щеколды пробудил Егора, вернув его к действительности. Дверь камеры по-хозяйски широко распахнулась, и на пороге показалось начальство.

— Встать! Смир-рно!

После обычного опроса арестованных начальник политического управления флота направился к выходу.

— Разрешите... — сказал Егор, на шаг выступив из строя.

— Претензия?

— Нет, я не жалуюсь... Только там гибнут люди, а мы здесь... — Егор бросил взгляд на помещение и брезгливо поморщился. — Нам говорили — несчастье с «Благополучным»... Разрешите мне... нам, — поправился он, — участвовать в спасении «Благополучного». Пожалуйста!.. — Егор сказал это голосом, полным тревоги за возможный отказ.

Начальник ПУРа пристально посмотрел на Егора. Внезапный вопрос молодого парня, казалось, озадачил его.

«А там я проявлю себя, там я сумею смыть с себя позорное пятно, с себя и корабля», — думал Егор.

Затаив дыхание, стоял он, вытянувшись, смотря в глаза политического работника, ожидая его ответа.

Нельзя было не заметить во всем облике Егора огня энтузиазма, горевшего в его душе. Выражение лица Егора говорило, что он готов на отчаяние и на подвиг.

«Вы видите, от вас зависит все мое счастье», — казалось, говорил Егор. И начальник политического управления угадал его чувство.

— Как фамилия? — спросил он.

— Ржанов...

— Ржанов?.. Погодите... — сказал он, напрягая память и обращаясь к лицам, его сопровождавшим.

Комендант гауптвахты, стоявший в ожидательной позе, на вопросительный взгляд начальника чуть заметно скривил губы в подобие улыбки и, полузакрыв глаза, наклонил голову. «Так точно, вы не ошиблись», — сказал его жест.

— Ржанов, говорите? Отлично! Очень рад... Командируйте, — сказал он коменданту.

— Всех?

— Разумеется. Что же им киснуть тут?!

В ответ на эти слова лицо Егора осветилось счастливой, благодарной улыбкой.

XII

Вода на заливе стала стынуть. В мутном небе кружился снег. Дул норд-вест. Иногда в прорехи туч проглядывало холодное солнце и тускло смотрело на опустошенную осенью землю.

Эскадренный миноносец «Благополучный», несколько месяцев простоявший в доке, в канун праздника Великой социалистической революции вышел на пробу машин. Кораблю словно надоело томиться в глубоком каменном мешке среди постоянного лязга, и он с радостью устремился в морские просторы.

На «Совете» при встрече с «Благополучным» подумали: «И куда, на зиму глядя, в море топает! Шел бы с нами». А море действительно было недобрым. Оно ворчало, хмурилось и о чем-то спорило с ветром.

Миноносец взял курс на запад. Сильный, мужественный, словно стальной метеор с дымовым хвостом над трубами, летел корабль навстречу буре. За кормой белело кружево бурунов. «Красота!» — думал Анохин, любуясь скоростью, со слезами на глазах от ветра.

Старший помощник комсомолец Дмитрий Анохин только что заступил на вахту. Он стоял на мостике.

Стоять на мостике — в этом есть что-то большое по своей многозначительной связи. Управлять кораблем — большой, сложной машиной, заключающей в себе огромную силу, ощущать эту силу в своих руках — во всем этом есть что-то гордо-красивое. Это не просто работа, вахта, служба, — это прежде всего долг. Высокий нравственный долг и сознание огромной ответственности.

Так думал и чувствовал Дмитрий Анохин, тот самый Анохин, который семь лет назад вместе с Владимиром Ляпуновым пришел сюда с путевкой Коммунистического Союза Молодежи в мечтах о море, в мечтах о будущем. И каждый раз, когда он становился на вахту, чтобы вести корабль, он испытывал в душе гордое чувство.

— На румбе? — спросил Анохин.

— Двести семьдесят, — ответил рулевой.

— Так держать!

— Есть так держать! — повторил рулевой.

Сотрясаясь нервной дрожью от работы машин и обрушивающихся волн, нырял и выныривал корабль, то зарываясь форштевнем и топя носовые орудия, то обнажая гребные винты, которые со все ускоряющейся быстротой и силой проворачивались в воздухе, то, словно вздыбленный, становясь на корму, будто готовый взвиться в небо.

«Благополучный» лег на обратный курс. Была черная зимняя ночь, и было так темно, как бывает в эту пору только на Балтике.

Под конец первой вахты повалил густой крупный снег. От воды, снега и мороза на корабле образовались обмерзания. Люди, привязав себя к кораблю, чтоб не смыло волной, принялись скалывать ледяные наросты. Среди шума волн, рева шквального ветра то и дело били в колокол. Похоронной грустью звучал этот сигнальный колокол.

Корабль шел с предельной скоростью. Люди работали жадно и весело. Люди были довольны кораблем, а он, словно радуясь этому одобрению, гордо летел вперед.

Было как обычно: вахта сменяла вахту; одни учились, другие работали, третьи спали.

Сдав вахту командиру корабля, Дмитрий Анохин спустился вниз. После темного, холодного, сырого мостика особенно приятны были свет и тепло каюты.

Внезапно сильный взрыв потряс корабль. Эсминец наскочил на мину, поднятую штормом на поверхность из морской преисподней. Это была немецкая мина, еще времен империалистической войны 1914—1918 годов. Блуждая в волнах, долго ждала она случая и, наконец, свершила свое мерзкое запоздалое убийство. Корабль рванулся и замер. И все смешалось в неистовом лязге смерти...

А море, будто хищник, стремилось растерзать и поглотить раненый миноносец как бы в назидание за его дерзкую смелость.

В ледяной воде, в кромешной тьме, спасая обваренных паром, раздавленных и тонущих людей, каждый, в ком еще билось сердце, поднялся на борьбу. Неравной была эта битва за жизнь, и в ней среди других погиб Дмитрий Анохин.

А «Совет» вошел в гавань и ошвартовался на Рогатке. Входные люки, полуют и полубак, гребные и паровые катера были быстро обиты свежим тесом. Каюты и трубопровод отеплили опилками. На берег завели дополнительные швартовы, и корабль, одевшись по-зимнему, приготовился зимовать.

Потихоньку, не спеша принялась машинная команда за переборку механизмов. Первая очередь отпускников разъехалась по домам, вторая — готовилась к отъезду. На корабле стало просторнее и тише. Корабли в гавани, люди на кораблях постепенно угомонились. По рангам, как это делали люди, — большие к большим, маленькие к маленьким, — суда притулились друг к другу. Они легонько дымили, посапывая отработанным паром, не спеша переговариваясь разноголосыми рындами.

Команда несла несложную береговую вахту, работала, занималась. Было то промежуточное время на флоте, когда одна кампания закончилась, а подготовка к новой еще не началась. Раза два уже выпадал снег, но таял. Сады опу-

стели, на аллеях было мокро и скучно. Одиночки, увольняясь на берег, шли либо в кино «Три эсминца», либо в морской манеж, или в Дом флота. Шлендающих по улицам было немного.

Зато целыми ватагами после труда ходили учиться. Свободные от нарядов моряки посещали вечерние институты, рабфаки, школы, курсы. На кораблях образовались кружки по астрономии, химии, высшей математике и философии. Учились командиры, политруки, краснофлотцы. Исключения не представляли и старики. А многие писали и диссертации.

Штурманский электрик Рябинин с нетерпением ждал приказа об увольнении. Каждый вечер после отбоя он подходил к висевшему в кубрике отрывному календарю и, встав в положение «смирно», как это делается при спуске флага, с притворной серьезностью командовал:

— Увольняющимся в долгосрочный — смирно!

Человек пять ухмыляющихся парней быстро вскакивали со своих мест и замирали.

— Еще один день к чортовой бабушке... Оторвать!

И под марш на гитаре и общий хохот моряков срывал листок.

— Пойдем в кино, — предложил Рябинин кочегару.

— Не хочется.

— Пойдем через «не хочется».

— Пойдем...

И они, поеживаясь от холода, пошли в Дом флота.

— Ну, еще недельку помурыжу, и вались все, — сказал Рябинин, ловко загоняя шар в правый угол.

— Партия: мой чай, — сказал кочегар, расставляя шары, и они опять пошли с киями вокруг стола друг за другом, приседая, прищуриваясь, примериваясь.

— Веригин с тобой говорил?

— Вызывал.

— Ну?

— Он — мне, я — ему: каждый при своем остался.

— А комиссар?

— Тоже вызывал. С ним лучше не говорить.

— Что так? — спросил кочегар.

— Густой он, крепко берет, и слова у него липкие... Я было чуть-чуть согласия на сверхсрочную не дал.

— Да, Василий Грязнов умеет...

— Егора жалко, зря попал, — сказал Рябинин.

— Наш тоже, — ответил кочегар, имея в виду командира

отряда. — Не разобрался — бух!.. За что двадцать суток припаял?

— За гигиену...

— За дурака! Кто этой бешеной собаки не знает?

— Ну, Егор тоже парень с норовом.

Они кружились в разговоре, как кружились вокруг биллиардного стола: то вперед, то назад, переходя от темы к теме, как от шара к шару.

— Значит, ты, Митрич, в Москву? — спросил кочегар, давая дуплет в среднюю.

— Только в Москву! — ответил Рябинин, ложась на борт, чтобы удобнее положить десятку. — Ты слышал, что Сухопарин требовал Егора исключить?

— Он же себя всегда за его друга выдавал...

— Кто его знает! Здесь тюлень всем своим жиром на него навалился.

— Неужели исключили?

— Отложили до возвращения. Но, будь здоров, вмажут...

Дмитрий Рябинин последние дни чувствовал себя так, как может чувствовать лишь человек, живущий мечтами берега, дома, мечтами будущего.

— Добрушин, ты знаешь, что такое Москва? — спросил Рябинин кочегара.

— Москва? Конечно, знаю.

— Ну?

— Город, столица, центр...

— Шляпа! Разве это Москва? Москва — это новая жизнь, учеба, любовь, дом, будущее... Москва — это кусок моего сердца...

И глаза его загорелись огнем надежды и веры.

— Митрич, ты, кажется, декламируешь? — спросил Влас Травин, подходя к играющим.

— Нет, я молчу.

— Я про Москву еще снизу услышал.

— Это не я, это душа говорит, а я только поддакиваю.

Сыграв партию, друзья разошлись: кочегар Добрушин в библиотеку, Рябинин с Травиным в зрительный зал.

В конце третьего действия в гостиную Павла Афанасьевича Фамусова вошел дежурный и, попросив извинения у грибоедовских москвичей, прервав спор между Фамусовым и Хлестовой, объявил:

— Командирам и краснофлотцам «Совета» и «Коммуниста» немедленно явиться на корабли, — сказал он.

Десятка два мест освободилось. Через минуту замешательство прошло, и спектакль продолжался.

— Что случилось? — спрашивали моряки, обступив дежурного.

— Завтра уходим в море.

— Брось!

Списанная с других кораблей команда гудела в рабочеделовом оживлении. Машинисты, свои и чужие, спешно собирали полуразобранные машины. Кочегары разогревали котлы. На правом борту разгружали баржу с какими-то ящиками. В свете прожекторов подходили и отходили грузовики. С визгом отдирались гвозди и трещали доски зимней обшивки. В кормовом салоне разместились портовые рабочие. Носовые каюты отвели под лазарет. Все были подтянуты, как бывает во время тревог. Моряки работали всю ночь и утром, произведя погрузку угля, задолго до подъема флага вышли в море.

XIII

Все стояли на своих местах. Механик быстро перевел стрелку машинного телеграфа, приказав записать в журнале перемену хода. В машинном отделении было жарко. Сопели цилиндры, стучали и вздрагивали насосы, монотонно гудело динамо, и густо пахло подогретым маслом. Иногда сверху, через световой полуоткрытый люк, в машину залетали соленые брызги, и это было приятно.

Машинисты ощупывали снующие части, хлопали крышками масленок, ловя приказания.

Спустившись в машину и кочегарку, механик Гулай прощупал каждую деталь, проверил измерительные приборы, вспомогательные механизмы и был доволен: упущений не было. Степан Данилыч Гулай был прикомандирован на «Совет» на время похода в качестве главного механика корабля. Это был его старый корабль. Все на нем было Гулаю знакомо и мило. Во время аврала он сам стоял у телеграфа и лично исполнял приказания, передаваемые с мостика, переводя рычаги управления, давая то передний, то задний, то тихий, то полный ход.

Гулай несколько лет тому назад, после школы главных старшин, окончил специальные курсы, был переведен в средние командиры и теперь вот уже два года плавал на крейсере «Ушаков» механиком.

Длинный Степан, как и теперь нередко называли Гулая, хорошо знал свое дело. Его влюбленное отношение к машине не-

вольно передавалось и его подчиненным, которые так же, как и он, любили машину, ухаживали за ней и гордились этой любовью. Гулай попрежнему был такой же быстрый, громыхающий. Несмотря на свое выдвижение, он все же был ближе к машине и кубрику, нежели к кают-компании и командирам.

Гулай, как его ни политурили и ни лакировали служба и время, сохранил в себе особую черту матроса гражданской войны. Но команда любила Гулая, относилась к нему с предупредительным вниманием, и сам он был на отличном счету у командования.

— Заливать нельзя, но и забывать нельзя, — не раз говаривал он про масленки и масло, но подразумевал дисциплинарную практику, которой сам строго придерживался. Количество поощрений в его секторе было самое большое, но Гулай не заливал, как он выражался, а давал эти поощрения, когда следует, «в самую точку». И всегда так получалось, что с его оценкой все были согласны.

Когда переменные ходы кончились и стрелка машинного телеграфа стала на «самый полный», Гулай отошел от рычагов.

— Ну, кажется, кончили волынить с этой девиацией, — сказал он. — Ведь сколько пару стравили! А ну, подшуруй! — крикнул он через мегафон в кочегарку строго и весело.

Из новых людей Гулая никто не знал. О нем говорили, что он старый матрос, штурмовавший Зимний, и это создавало вокруг него тот особый, романтический ореол гражданской войны и революции, перед которым преклонялись, видя в Гулае живой слепок незабвенных дней.

— За головным следи... Масло профильтруй, дейдвуд не забывай, — говорил он старшине комсомольской вахты. — Добавь, добавь, чего задумался, — проговорил он все тем же бодрым тоном, который он усвоил в обращении с подчиненными, заметив нерешительность машиниста. — Дай-ка сюда, — сказал он, видя неопытность молодого моряка.

И, взяв масленку, показал, как надо заправлять на ходу.

— Социалистическое обязательство взяли, орлы? — спросил он, обращаясь вновь к старшине вахты.

— Так точно, товарищ механик.

— Какую вахту вызвали?

— Вторую, сухопаринскую.

— А ну, покажи, — и, вытерев ветошью руки, Гулай взял промасленный клочок бумаги и стал читать договор.

— Так... Хорошо; и это хорошо, — говорил он одобряя. — А тут мало... Курам на смех! — И он, помусолив карандаш, пе-

реправил цифры. — Ну, это зря! На кой чорт! «Не иметь взысканий», — прочитал Гулай. — Оплошаешь где — будешь иметь, тебе первому всыплю, ты хоть сотню договоров заключи... Вот это хорошо! Это так!.. — приговаривал Гулай, продолжая читать. — Продержите? — спросил он.

— Так точно.

— Чего ты, милай, все каркаешь? Говори по-человечески!

— Продержим, товарищ механик.

— Ну вот, а то «так точно, так точно», будто автомат... Так, говоришь, продержите?

— Так точ... Все в порядке будет, товарищ механик, — спохватился машинист. — И с кочегарами согласовали.

— Ну, добро, — сказал Гулай и, взяв карандаш, стал что-то подсчитывать. — Кабы так действительно вышло, — говорил он, выписывая колонку цифр. — Вот что, парень, — сказал он, пряча листок. — Ты покуда помалкивай, а приложи все силы с братвой на этот пунктик... Пунктик важный.

— Есть! — сказал старшина вахты.

— Ну, дальше, — и Гулай принялся разбирать остальные условия социалистического соревнования. — Это не плохо, — говорил он читая. — А это зря!.. — и он вычеркнул. — Ты мне вахту сначала, вахту, а Плеханов со своим манистическим взглядом на историю подождет.

Старшина пожал плечами.

— Чего? Али тебе холодно? — спросил его Гулай.

— Просто так, ничего, товарищ механик.

— Да и ошибка к тому же, — сказал Гулай.—Не «манистический», а монистический, потому, что монос... Там, после вахты, другое дело, а ты жмешься.

— Есть!

— Держи лучше, — сказал он старшине, имея в виду «тот пунктик», который предусматривал увеличение оборотов машины. — Держи! — повторил Гулай и направился в кочегарку.

— Ну, духи, как дела? — спросил Гулай, входя в кочегарку.

— Все в порядке, товарищ механик.

— Укачало?

— Да, малость, — ответил кочегар вставая.

— Сиди, браток, сиди! Зайди ко мне после, я тебе лимончик дам.

В кочегарке действительно все было исправно. Гулай посмотрел на манометры, заглянул в топки, шуранул разок и поднялся наверх.

«Пятнадцать атмосфер — мало, — думал Гулай, подымаясь по трапу. — Это выходит сто семьдесят оборотов. Двенадцать узлов... да ветер, да волна: десять часов ходу — много...»

После обхода машины и кочегарки Гулай зашел к механику корабля Аркадию Наумову и высказал ему свои предположения о том, как бы увеличить количество оборотов машины.

— Это значит с пятнадцати атмосфер поднять давление пара на двадцать? — спросил Наумов. — Я возражаю, категорически возражаю.

— Почему?

— Машину надрывать нельзя. Вы сегодня тут, а завтра ушли.

— Ну, голубчик, это не резон.

— И потом — это технически невозможно. Теоретически машина не рассчитана на такое количество оборотов и котлы... Куда к чертям!.. Нет, это решительно невозможно.

— Давай соберем коммунистов, поговорим.

— О чем говорить? Я механик, я лучше знаю, — сказал Наумов.

— И я механик. Как же быть? Да ты не ерепенься, Аркаша, — сказал Гулай, заметив в лице Наумова пренебрежение. — Соберемся, потолкуем.

«Почему эта простая мысль, за которую можно было бы получить от командования поощрение, не пришла мне первому в голову? — думал Наумов. — Теперь весь этот успех припишут Гулаю... Жаль, право, жаль!.. Надо поломать это дело и скомпрометировать Длинного», — решил Наумов.

— Что ж, подумаем?

— Странный вы человек, Степан Данилыч, вы меня извините: думай не думай, а расчет не позволяет.

— Будет болтать! — перебил Гулай, смотря на него в упор. — «Странный»! — повторил он. — Соберите-ка на восемь часов свободных от вахты! Сейчас без четверти. Ясно?

— Ясно, — сказал Наумов.

— И кочегары чтоб были, — добавил Гулай с порога. — «Странный»!.. — повторил он еще раз и вышел из каюты.

XIV

— Вы на котлы не сваливайте, — сказал Влас Травин.

— Да понимать надо, — возразил ему старшина кочегар Томилин. — Механик Наумов что говорит? Говорит, что это предел.

— Правильно, — вставил Сухопарин, смотря на Наумова, который в знак согласия кивал головой и рисовал в своем блокноте цветочки.

— Да где вы такие расчеты взяли? — спросил Травин.

— Нет, откуда вы взяли, что можно увеличить количество оборотов? — спросил Сухопарин.

— Из необходимости. А вот вы? Начинили ваши головы, как колбасу жиром, вот вы и бубните: пятнадцать, пятнадцать...

— На паспорт посмотрите, на паспорт! — не унимался Томилин. — Не молодой, не первую кампанию плаваешь, а дурью мучаешься. Пора бы знать, что котлы не шутка.

— Брось!

— Что брось?

— Смешно, товарищ механик, право, — обращаясь за поддержкой к Наумову, сказал Сухопарин. — Стоит кочегарам подшуровать на двадцать, как котлы окажутся на верхней палубе.

— Объясните, пожалуйста, кто установил норму давления?

— Расчет, тип машины, — вставил Томилин.

— Подожди, дай сказать, почему пятнадцать, а не двадцать, и кто проверял?

— Кто конструировал.

— Наладила ворона!..

— Посмотрите на паспорт: там все сказано...

— Ну, что сказано? — спросил Травин. — Сооружен в 1905 году, шестьсот индикаторных сил, водоизмещение столько-то. Ну?

— Конструкция такого типа машин не позволяет, не допускает...

— Полно гнуть, милые! Не знаете вы машины, и амба!

Гулай сидел на рундуке и молча слушал, что говорили между собой машинисты и кочегары. Голоса разделились.

— Я думаю, что вся эта дискуссия есть результат бесконтрольного отношения к своему заведованию, — сказал Травин.

— Это техника, ее нахрапом не возьмешь, — перебил его Сухопарин.

— По-моему, это результат незнания своей специальности, — продолжал старшина-машинист, не обращая внимания на реплику. — Раз надо — можно и рискнуть.

— Не время опыты проводить, — вставил Сухопарин. — «На охоту ехать — собак кормить».

— Партия нас учит дерзать...

— Так то политика, — заметил Сухопарин.

— Политика — она тут, в нас!.. Я думаю, товарищи, — продолжал Влас Травин, — что поставленную задачу можно выполнить. Я кончил, Степан Данилыч. Да, — сказал он, обращаясь к Гулаю, — помнится мне, что лет пять тому назад мы эти двадцать атмосфер держали.

После выступления Сухопарина слово взял секретарь партийного коллектива Василий Веригин.

— Сухопарин и Томилин правы, — начал Веригин, — и возражать против них трудно. Трудно потому, что все, что они говорят, есть факт...

— Ну, это положим! — возразил Травин.

— Не горячись, Влас, я тебе не мешал. Против фактов, товарищи, не пойдешь, — продолжал Веригин. — Корабль спущен в 1905 году — факт! Возражать не будешь? Нет! Что он, стало быть, двадцать четыре года плавает — тоже факт. Что старик наш и прошлую и позапрошлую и еще много кампаний подряд по двенадцать узлов ходил — тоже факт. Что Сухопарин да и механик наш Аркадий Степанович — да простит мне бог сие прегрешение! — привыкли к плавному ходу нашей коробочки — тоже факт. Теперь они думают: как бы у них невзначай от большого хода головка не закружилась... Ох, уж эти головки!.. Как бы старику-кораблю косточки не порастрясло — тоже факт. На основании всех этих фактов они склеили себе «теорию» предела. Склеили — и поверили в нее. А теория эта основана на самом вредном и самом пагубном для дела боевой подготовки... Она хуже ржавчины, и называется эта теория косностью!

— Не понимаю! — воскликнул Наумов, пожимая плечами.

— Отчего же, Аркадий Степанович? Я говорю ясно. Вы просто сказали, — продолжал Веригин, — а они — Томилин и Сухопарин — просто повторили, и вышла теоретически обоснованная... глупость.

— Надо отвечать за свои слова, товарищ секретарь партийной организации! — вспыхнув, сказал Наумов.

— Мы будем вместе отвечать, механик Наумов, — сказал Веригин строго. — Вы за свои расчеты и действия, а я за вас, ваши расчеты, действия и свои слова. А на партийном собрании я хочу вещи называть своими именами.

— Философия, — проговорил Наумов и, махнув рукой, еще прилежнее занялся своим блокнотом.

Вся его согнутая фигура, худые пальцы, прилизанная головка выражали полное пренебрежение, если не презрение, к тому, что происходило сейчас на партийном собрании.

— Философия ваша очень проста, Наумов, — продолжал Веригин. — Пятнадцать атмосфер держать куда легче, чем двадцать, и сто семьдесят оборотов куда спокойнее, чем двести. И смазки меньше, не так головной греется... Глядишь, Сухопарин один-другой анекдот за время вахты расскажет, и тихо и весело...

— У нас этого не бывает, — возразил Сухопарин.

— У вас это было сегодня, при выходе из гавани: в пять часов двадцать семь минут.

Сухопарин замолк.

— А в целом, — продолжал Веригин, — это теория Сухопариных, Томилиных и иже с ними... антитехническая, безграмотная теория. И как бы вы, товарищ Наумов, ни старались напялить на жизнь колпак своих «теоретических» обоснований, он, как ветошь, расползется.

— Мне странно видеть отсекра партийного коллектива в роли гонителя науки и теории.

— Бросьте, Наумов! Мы с вами хорошо понимаем, что есть наука и «наука»!.. Дело ясное, товарищи. Задача, поставленная командованием, должна быть выполнена. Отдельные вахты уже доказали это.

XV

Как ни возбуждены были командиры спасательной экспедиции, как ни злилось море, бросая корабль, как ни устали люди после авралов, бессонных ночей и напряженного труда, но раз корабль вышел в море, тревога сама собою улеглась и все встало на свое место.

Люди в предвкушении вкусного горячего завтрака, собравшись в кают-компании, при виде накрытого белоснежной скатертью стола, уставленного красивыми судками, из которых разносился вкусный запах, при виде гор салата, бутылок с брагой, в ожидании прихода командира корабля сдержанно переговаривались, занимая себя и друг друга. Кто сидел за вчерашней газетой, кто играл в домино или прохаживался, поддерживая несложный разговор, отгоняя аппетит. Наконец дверь переборки скрипнула, и в общую каюту вошел высокий, энергичный моряк лет сорока, командир корабля. Все приподнялись ему навстречу, а он, попросив извинения за опоздание, пригласил командиров к столу.

— Пробьемся мы за восемь часов, а? Как вы думаете, механики? — спросил командир, обращаясь к Наумову и Гулаю.

— Меры приняли, Николай Николаевич, — ответил Гулай. — Пятнадцать узлов гарантируем.

— Вы думаете иначе? — спросил командир, смотря на насупленное лицо Наумова.

— Никак нет, так точно, — сказал Наумов.

— Держите, держите! Падает! — воскликнул Бусыгин, указывая на съехавшую к краю стола тарелку, когда корабль резко положило на борт.

— Бусыгин, какие у вас виды на погоду?

— Падает, товарищ командир.

— А у вас, Гулай, как ваша рана? Она тоже говорит, что падает?..

— Зудит, Николай Николаевич, штормягу ждать надо.

— Я всегда проверяю штурманские приборы по заслуженным ранам, — сказал командир, обращаясь ко всем. — Они не подведут. Так слушайте, Гулай: заставьте и котлы и машину поработать до пота. Надо выжать все, иначе... Чорт его знает, что будет иначе!..

— Есть, товарищ командир.

— С лазаретом как? — спросил командир.

— Все исполнено, Николай Николаевич, — ответил Бусыгин, поспешно глотая.

— Доктор здесь?

— Есть, товарищ командир корабля.

При этих словах пожилой человек с небольшой лысинкой, сидевший на краю стола, встал и представился. Это был госпитальный хирург, присланный для участия в экспедиции.

— Сидите, пожалуйста, — сказал командир. — Вас не беспокоит качка?

— Благодарю вас, нет. — И хирург сел, повязывая салфетку. — Я изготовил, товарищ командир, шестьдесят коек, — сказал он, желая знать, хорошо ли поступил или плохо, но сам он знал, что поступил хорошо. Хирург спросил об этом с единственной целью, чтобы получить одобрение командира за свою распорядительность.

— Добро, — сказал командир. — Ешьте, доктор, работы, я думаю, будет немало.

— Брага, Николай Николаевич, на удивление, — откупоривая бутылку и наполняя командиру стакан, сказал Бусыгин.

— Шампанское, а не квас! Молодцы баталеры! — одобрительно проговорил командир, выпивая и ставя свой стакан.

— Если б сахарку побольше! — заметил штурман.

— Да через змеевичок пропустить!.. — прибавил Гулай.

— Усовершенствовать эту химию не мешает, — согласился Бусыгин.

— Это можно сконструировать, Георгий Кузьмич, — с живостью отозвался Наумов, не поняв шутки. — Это не так сложно.

— Вот, вот, поставим тогда еще одну добавочную трубу, можно потоньше, и задымим, — сказал Грязнов. — И вы тогда, Наумов, будете командовать винокуренным кораблем.

Наумов смолк.

Георгий Кузьмич Бусыгин ел щи и угощал ими своего соседа, заводского инженера, которого мутило, и тем больше мутило, чем он больше смотрел, как ели вокруг него.

Некоторое время, занявшись едой, все сидели молча. Вообще надо иметь немалую сноровку, чтобы уметь есть во время качки, сохраняя равновесие, не проливая и не роняя с тарелок.

— Да кушайте, — говорил Бусыгин, угощая инженера, смотря на него с каким-то смешанным чувством досады и обиды, как смотрит гостеприимная хозяйка на гостя, который отказывается от ее угощения. — Ешьте! Хорошее, вкусное, — говорил он.

— Нн-нн-не могу! — говорил инженер, тряся головой и прикрывая рот рукой.

— Зря! Смотрите, как я, — смеялся Бусыгин. — Главное — не робейте.

Инженер взглянул, не выдержал и, поспешно встав, бледный, вышел из-за стола.

Военком корабля что-то рассказывал флагманскому штурману, а тот громко смеялся.

— Да не может быть! Ну вас, право! — и он отмахивался от военкома, вытирая слезы смеха. — Вы им расскажите, — сказал штурман сквозь смех, указывая на сидящих за столом командиров.

— Василий Васильевич, мы тоже знать хотим, — сказал командир корабля.

— Я рассказал штурману о случае со Стелькиным, — пояснил военком.

— О, это был оригинал, — согласился Николай Николаевич.

— Расскажите, товарищ военком, — послышались голоса, и военком начал:

— Был у нас в дивизионе старпом Стелькин... Да вот Бусыгин с ним плавал. Было тому лет пять назад... Я тогда на «Лихом» служил. Потом, помню, его с миноносцев списали, и

он плавал где-то на «календарях»: в бригаде траления и заграждения, не то на «9 января», не то на «25 октября», впрочем, кто его не знал в те годы!.. Помню, лютой зимой 1924 года, — продолжал военком, — к нам был назначен в дивизион новый командир. Человек это был аккуратный, строгий, но была у него слабость: любил он тревоги. Тревоги били каждую ночь, а иногда две-три подряд. Пробьют бывало тревогу, а командир дивизиона уже тут как тут. Стоит, на часы посматривает, покрикивает... Лучшие результаты поощрял, отстающих наказывал. Рассказывали про него, что пристрастие к точности наш флагман особенно стал иметь после того, как Михаил Васильевич Фрунзе подарил ему часы... Вынет он бывало свое золото и засекает... Помните, Бусыгин, эти знаменитые часы? — спросил военком.

— Еще бы, Василий Васильевич!

Рассказ военкома прервал вошедший в кают-компанию вахтенный. Он доложил, что транспорт, который находился на траверзе, мимо которого проходил сейчас «Совет», имел аварийные флаги.

— Чей? — спросил командир.

— Француз.

— Запросите, нуждается ли он в помощи.

Вахтенный удалился.

В течение нескольких минут, пока шли переговоры между кораблями, все сидели молча, обращая взгляды на сосредоточенное лицо командира корабля.

А командир в эту минуту думал о том, как поступить, если «купцу» будет нужна помощь. «Там гибнут люди, здесь могут гибнуть...» — думал он, высчитывая, сколько в случае нужды потребуется времени.

Но все обошлось благополучно. Транспорт потерял частично управление, но намеревался с этой аварией справиться сам.

— И отлично! — сказал командир, и забота мгновенно сошла с его лица. — Мы вас слушаем, комиссар, продолжайте, пожалуйста.

Настроение командира сразу передалось остальным, и все повеселели.

— Случилось так, — продолжал военком Грязнов, — что самого лучшего времени добилась команда «Лихого». Минута восемь секунд — и весь экипаж на местах: караул под ружьем, и все в порядке. Первый раз минута восемь, второй — минута три... Старпом Стелькин бывало расхаживает перед строем и ухмыляется. Не один и не два раза получал он от флагмана

благодарность в приказе. Весь дивизион изучал, помню, эти успехи боевой подготовки. Знаете, было завидно. Однажды — случилось это в январе, морозы трещали страшные — ночью, как всегда, пробили тревогу, и команда непобедимого «Лихого» показала новый класс: пятьдесят пять секунд! Спустя минуту выстроились и остальные. Команды кораблей вывели на стенку, построили в общую колонну и повели через весь город на Северные форты. Пробыли мы там часов эдак пять сряду. И это на заливе, по колено в снегу, на резком ветру... Представляете?.. И вот тут-то все и стало ясно. Оказалось, что команда «Лихого» имела обыкновение выбегать по тревоге в одних шинелях. Шинель — и больше ничего, в целях экономии времени... Таким манером Стелькин ухитрялся удерживать за собой первенство.

— Действительно лихо!.. Этого я не слышал, — сказал Николай Николаевич.

— Но нет худа без добра, — продолжал военком. — Командир дивизиона все-таки подтянул нас к стелькинскому нормативу, а его посадил на «губу»...

— Да, метод! — сказал Бусыгин. — А сколько ему дали? — осведомился Георгий Кузьмич.

— Вы, Бусыгин, надеюсь, не последуете его примеру? — спросил военком.

— На всякий случай знать не мешает, Василий Васильевич, — проговорил Бусыгин улыбаясь.

После истории со Стелькиным разговор в кают-компании, как ветер, зарыскал из стороны в сторону, от темы к теме, пока не установился в одном направлении. Таким общим направлением в разговоре была сейчас тема о пятилетке, крестьянстве, о ликвидации кулачества.

XVI

Гулай разыскал где-то в архиве вахтенный машинный журнал за 1924 год. В записях действительно было сказано о давлении пара в двадцать атмосфер, но об оборотах машины не было ни слова.

— Дуй, не дрейфь, поддержим! — говорил Веригин, когда Степан Данилович с журналом и своими расчетами пришел снова в бюро партийного коллектива.

— Ты понимаешь, Вася, дело это доказанное и бывшее, а риск есть... Весь вопрос в том, что тогда это был эпизод, опыт, а теперь...

— Как Бусыгин?

— Да кто ж возражать станет! Комиссар и командир требуют максимум выжать!

— Ну, и валяй! — сказал Веригин.

— Я и пришел посоветоваться, как лучше валять-то.

Подбросив в кочегарку подкрепление из строевых для подачи угля, приняв меры безопасности на случай аварии, переодевшись в рабочее, Гулай сам встал у первой топки.

Веригин тоже спустился в кочегарку и шуровал у третьего котла. Когда манометры показали восемнадцать, у первого котла вырвало горловину, но ее быстро поставили на место.

— Подшуруй! — покрикивал Гулай, подбадривая вахту, заметив в глазах некоторых кочегаров испуг. — Не мина, что глаза вылупили, пошевеливайся!

— Греха бы не было...

— Будет грех, покаемся. А ты что — поп? — спросил Гулай.

— Не...

— Ну, тогда стой, помалкивай да шуровкой помахивай. Угольку еще! — крикнул он в угольную яму. — Шуруйте, черти! Всех Питером награжу!..

— Степан Данилыч, подходит... На девятнадцать зашло.

— Не спугни только! — крикнул Гулай, смотря на приборы.

Наступив на дверцу топки ногой, он ловко забросил в топку несколько лопат угля. Лицо Гулая горело торжеством, и весь он был словно в лихорадке.

— На вахте, Влас! — кричал он в переговорную трубу из кочегарки в машину. — Помаленьку открывай!.. Увеличь смазку!..

Машина пошла быстрее.

Спустя час Гулай послал за Наумовым, прося его заглянуть в машину.

— Я снимаю с себя всякую ответственность, — заявил тот посыльному и в машину не пошел.

Раза два еще вырывало из котлов горловины; при этом Гулаю и некоторым кочегарам обожгло паром лицо и руки. Гулай сделал себе перевязку, отправил в лазарет пострадавших, а сам кочегарки не оставил.

Наумов появился в кочегарке под конец третьей вахты, сопровождая военкома корабля.

— Нагрев превышает норму, — сказал Наумов.

— Бывает и больше, — заметил Гулай.

— Открой клапанок! Добавь малость, — сказал он машинисту.

— Есть открыть малость!

Машина еще увеличила ход.

— Это технически недопустимо, — продолжал Наумов.

— Что тебя беспокоит, Наумов? — спросил Гулай.

— В случае дальнейшего увеличения оборотов машине угрожает разрыв. И потом нагрев — он достигает крайней температуры.

— Разве это нагрев, товарищ Наумов? — сказал Гулай. — Помнишь, Аркаша, я как-то тебя на улице встретил, ты в Питер спешил, вот тогда, верно, подшипники твои плавились, а это ничего.

— Неумно!

— Верно, запотел ты тогда, Аркаша, а?

— Посторонние разговоры, — сказал Наумов.

— Знаешь, Наумов... о чем это я хотел тебя спросить? — сказал Гулай, задумавшись. — Ах, да, вспомнил, — сказал он оживляясь. — Иди-ка ты, Аркаша, к... шахматам, теория!..

И Гулай, повернувшись от него и поддерживая обваренную руку, быстро зашагал в кочегарку.

Трудно было завести, дать толчок. Но как только толчок был дан, никто уже не удивлялся тому, что произошло. А произошло то, что корабль вместо традиционных четырнадцати узлов давал двадцать.

Военком Василий Васильевич Грязнов, пригласив к себе Гулая, сказал:

— Поздравляю тебя, Степан Данилович, с изобретением!

— Не понимаю, товарищ комиссар...

— Как же! Новую машину для корабля изобрел. — И комиссар крепко пожал его руку.

— Это не я, товарищ комиссар, это комсомольцы придумали.

Гулай действительно не признавал за собой успеха. Он считал, что все это сделалось так, само собою, и не могло не случиться, раз было нужно. Подумав о том, кому же все-таки приписать это достижение, он приписал его добрушинской и травинской вахтам.

— Надо бы ребят отметить, — сказал Гулай военкому.

— Сделаем, — согласился Грязнов.— Что же, Степан Данилович, продолжим нашу беседу? — спросил он Гулая.

— В другой раз, может, когда-нибудь?

— О чем, ты думаешь, я с тобой говорить хочу?

— Про намеднишнее... — сказал Гулай смущаясь.

— Ну?

— Да ведь, Василий Васильевич, считаю я себя все еще недостойным. Не дорос я. Ведь это высота-то какая, чистота... Я работаю, понимаю, — говорил Гулай, — чувствую... Останусь я покуда, Василий Васильевич, беспартийным... Не готов, покамест.

— Ну, дело не спешное, подождем, — согласился военком, рассматривая лицо Гулая.

А простое лицо этого человека отражало красоту его души, ту нравственную высоту и чистоту, о которых так беспокоился Гулай.

— Ну, я пошел, товарищ комиссар, надо ребят навестить, их паром здорово хватануло.

— Пойдем, пойдем, — сказал Грязнов, и они вместе направились в лазарет.

XVII

С партией экспедиции подводных работ Егор на другой день на борту ледокола «Витязь» прибыл к месту аварии.

Раненых людей свезли на госпитальное судно, и аварийная партия приступила к работе. В отвалившемся и полузатонувшем носу находился пороховой погреб. К подрывным работам, не удалив предварительно боевой запас, приступать нельзя было. Работа была сложная и опасная. Егор напросился на эту работу и с величайшими предосторожностями, напрягая всю свою волю и силу, по горло в ледяной воде, при штормовой волне выполнил ее.

После обеда, не без волнения, Егор направился к Гулаю.

— Ты звал меня, Степан Данилыч? — спросил Егор, входя в каюту.

— Всыпали?.. — вместо приветствия сказал Гулай.

Егор промолчал. Напоминание о его проступке было ему неприятно. Немало горьких истин довелось ему выслушать от товарищей.

— Всыпали? — переспросил Гулай, указывая Егору на койку, предлагая сесть.

— Полно, будет пилить! Выстругали, — сказал Егор, капризно надув губы. — Я покаялся, как на духу... Что еще от меня нужно? — спросил он Гулая недовольным тоном.

— Нужно служить, а не отслуживаться.

— И ты насчет чести?..

— А ты думал, она только у них, у бывших, была, честь-то? Нет, браток, пролетарская честь выше дворянской. Чаю хочешь? — спросил Гулай, нажимая кнопку звонка к вестовому.—

После баньки оно хорошо чайку испить... — сказал он, улыбаясь глазами.

Егор пристально посмотрел на Гулая. «Шутит или серьезно?» — подумал он.

— Да, нужно служить, а не отслуживаться, — продолжал Гулай. «Не шутит», — подумал Егор, втянув голову в плечи. — А ты с курса сбился и на мель правишь, — продолжал Гулай. — Тебе говорят: подрули, а то сядешь, а ты дуешься...

— Совсем не дуюсь, — возразил Егор.

— А про честь верно: честь корабля ты замарал, крейсер опозорил и Петра конфузишь.

— Э! — отмахнулся Егор. — А Петра ты брось...

— Это кого брось? Петр тебе кто, а? Он чужой тебе? — вдруг рявкнул Гулай, еле сдерживая клокочущее в нем чувство раздражения. — Он тебя, шалопай, своим хлебом выкормил, своими руками на тебя сапоги и рубахи шил... Да, что хлеб, что сапоги! Он тебя уму-разуму учил, грамотой питал, на жизненный рейд вывел, имя тебе свое дал, а ты говоришь: «Брось!»

Егор умоляющими глазами смотрел на Гулая. «Зачем ты так? Ты же знаешь, что я совсем другое хотел сказать. Ты же знаешь», — говорил его взгляд.

— Что уставился на меня? — спросил Гулай. — Попрек, думаешь? Нет, не попрек, Егор. Только знай: Петр тебя на своих руках через трудную жизнь пронес; он тебя и мыл и пеленал, любил и лелеял... Сколько одних соплей твоих вытер, и не он один, а и я, мы все, весь «Совет», а ты?..

Голос Гулая дрогнул, и он замолчал.

Вестовой принес чай, расставил его и, как видно, не торопился уходить. Но взглянув на строгое лицо корабельного механика и подмигнув Егору: «Сиди, мол, не артачься», — быстро удалился.

Егор по выражению лица Гулая, по тому, как он сидел, опустив глаза, как помешивал ложечкой чай, как надломил и макал в чай сухарь, как он нехотя ел этот сухарь, — Егор вдруг понял то значительное, большое, что раньше никогда не приходило ему на ум.

Он понял, что и Гулай, и Преображенский, и Болтин, не говоря уже о Петре, были те люди, которые щедро, без расчета, без оглядки давали ему все то, что так необходимо бывает в жизни человеку, — тепло любви.

Это тепло любви проявлялось с их стороны к Егору в бесчисленных формах, в каждом атоме их жизни. А Егор прини-

мал все это так, как принимают тепло солнца: никогда не благодаря, никогда не оценивая. «Светит, тепло, хорошо, — ну, и ладно!» — казалось, говорил он.

Егор все излучаемое на него тепло добра принимал с бессознательным эгоизмом детей: как должное. И та простая мысль, что он огорчал Гулая, что и Гулай, и Преображенский, как Петр и весь «Совет», как сказал Гулай, пронесли его на своих руках через трудную жизнь, — как ни странно все это, но эта простая мысль только теперь, после внутренней борьбы, после пережитых им горестей, столкновения противоречивых мыслей и чувств пришла Егору в голову.

— Нехорошо, Егор, — сказал Гулай, допив свой стакан чаю. — Мы к тебе с душою, а ты к нам с враждою... На кораблях теперь говорить будут: на «Ушакове» коммунисты по двадцать суток зарабатывают... А ты — Ржанов, срам!

И, казалось, поняв душевное состояние Егора, Гулай тоном примирения добавил:

— Сходи в лазарет, он там... Тебя видеть хочет.

«Он» — это был ротный командир, из-за которого Егор получил двадцать суток ареста и которого Егор нынче утром спас от гибели.

XVIII

Погода свежела. Штормовые тучи закутали небосклон. Норд-ост гнал большую волну. Корабли валяло.

Стихший было шторм разыгрался снова.

Люди аварийной партии, во главе с Бусыгиным, оказались отрезанными. Сообщение с кораблем «Совет», стоявшим на расстоянии восьми кабельтовых, сделалось невозможным. Неоднократные попытки отвалить от затонувшего корабля оканчивались неудачей. Спасательный баркас и две шестерки разбило в щепы.

К ночи шторм достиг предельной силы. Гигантские волны разрушали надстройки, били о камни искалеченное тело миноносца. Казалось, корабль развалится под напором волн и сгинет в морской пучине. Последнюю шлюпку, поднятую с таким усилием на шканцы, сорвало за борт и унесло.

«Не к добру разгулялась морская волюшка», — думал Бусыгин. Он думал еще и о том — помогут ли, и как? «С помощью ли спасательных ракет, шлюпками или придется ждать?» Бусыгин мысленно переносил себя на место тех, от кого он ждал помощи, и не мог придумать другого средства, кроме выдержки и ожидания.

В ледяном оцепенении, в кромешной тьме, привязавшись к кораблю, готовые разделить его участь, люди сгрудились у кормовой мачты. Медленно протянулась ночь: долгая, зимняя, дикая...

Наступило утро, а шторм ревел попрежнему.

В первую ночь трое захлебнулись. Оставаясь привязанными к мачте, они кивали мертвыми головами. «Ну, вот и всё... Теперь совсем не страшно», — как бы говорили они. Когда два смельчака отправились на розыски провизии, их с такой силой ударило о борт, что поломало ребра. Теперь они стонали, и ветер то приглушал эти стоны, то усиливал их; он то зло смеялся, то горько плакал в оборванных снастях корабля.

Во второй раз на поиски хлеба пошел Дмитрий Рябинин. Он благополучно преодолел смертельное расстояние, проник в полузатопленную жилую палубу, но вернулся ни с чем. В третий раз отправился Веригин. И он не принес пищи, но где-то нашел медную трубу. За пазухой его бушлата торчал инструмент. Это был баритон.

Между тем все попытки «Совета» оказать помощь гибнущим людям проваливались. Ни вызванные рыбаки, ни спасательные баркасы не могли преодолеть гряды бурунов Безымянной банки. Они разбивались, не доходя до эсминца, куда он был выброшен волной после взрыва на мине.

Наступила вторая ночь.

У моряков не было ни хлеба, ни пресной воды, ни огня. Сила шторма достигла одиннадцати баллов. Эта ночь казалась еще медленнее и была еще холоднее. Единственной мыслью Бусыгина было поддержать настроение людей. Провалившимися глазами, но все такими же добрыми, он смотрел на своих товарищей. Бусыгин рассказывал шутливые истории, давал медицинские советы, читал стихи. Никто не знал в то время, что у самого Бусыгина была раздроблена ступня ноги, сломаны на руке пальцы и что он сам, нахлебавшись морской воды и закрыв глаза, уже не раз терял сознание. Но он продолжал стоять, стоять потому, что его поддерживали снасти, которыми он привязал себя к кораблю.

И вот среди ветра и гула, скрежета рвущейся на камнях стали обшивки внезапно раздался чистый, стройный, твердый звук трубы. Потом он повторился, и наперекор стихии зазвучала широкая, спокойная мелодия. То был не гордо-торжественный гимн, не бравурный марш, а простая, грустная русская песня. Никто из моряков не задумывался над тем, откуда взялись эти звуки, кто играет, но каждый человек, слушая

ее, напряг свои последние силы, будто в этих звуках заключалось его спасение. А звуки лились... И в душу повеяло чем-то хорошим, радостным и столь близким и милым, чего теперь до боли хотелось каждому. Эта мелодия напоминала Родину с ее просторами, ее свободой, ее удалью, ее силой... Каждому она представлялась по-своему. Но в этом разном был тот едино-вечный, непреходящий смысл России, заключающий в себе ее гордый, непреклонный дух. И дух этот поднял людей.

Почувствовав его силу, потухшие было взоры загорелись вновь жаждой жизни и упорством борьбы.

«Только бы продолжалось это, только бы не оборвалось!» — промелькнуло в оживешем сознании моряков. Но звуки лились, и при звуках этих рождались образы жизни, образы не только прошедших лет, но и будущего. Песнь эта, столь знакомая, звучала теперь по-новому, и понимали ее теперь иначе, чем тогда, до этого испытания.

Веригин стоял у обломанной мачты; прикрепленный к ней, он казался изваянием. Волны захлестывали его, а порой он совсем пропадал под водой. Тогда, дрогнув, замирали звуки трубы, и на сердце становилось холодно, словно мрачные тучи скрывали луч солнца.

Но волна уходила, и звуки рождались вновь, согревая надеждой измученные души. И в эти мгновения шторм казался тише, жажда и голод меньше и смерть дальше.

Бусыгин смотрел на Веригина. Глаза музыканта были закрыты, но лицо его, бледное, осунувшееся, выражало то, чем дышит храбрая молодость: веру и победу.

И будто в подтверждение этого послышались голоса: тихие, как молитва, вначале, а потом все живее и ярче разгоралось одушевление песни. Моряки пели без слов, — на них не хватило сил, — но пел каждый, кто еще дышал, стараясь поддержать тлеющий огонь жизни в себе и в других. Люди ощутили в этой песне духовное единство, ту силу, которая объединяет людей и которая преодолевает не только трудности, но и смерть.

«Мы живы, мы надеемся, мы ждем!» — говорила эта песня тем, кто находился на борту «Совета».

— Товарищ командир, ребята, братва, корабли!.. — закричал Рябинин, показывая на восток, когда на горизонте показались дымы, мачты.

Это шел новый спасательный отряд под флагом самого командующего флотом. Корабли приблизились настолько, насколько позволяла глубина. Головной корабль стал пускать на

гибнущий миноносец спасательные ракеты. Так хотели установить сообщение между кораблями. Но жестокий ветер относил ракеты в сторону, и ни одна из них не достигла цели. Несколько часов продолжалась эта стрельба, но закинуть тросы не удалось.

Корабли отошли. Это произвело тяжелое впечатление. Рухнула еще одна надежда, а с нею уходили и последние силы.

Тогда командир «Совета» приказал сбуксировать на манильском тросе двадцатичетырехвесельный баркас. Кликнули охотников. Выступил весь строй. Командир отобрал самых рослых и объяснил им задачу. Видя это, штурман Никитин попросил слова.

— Я моложе вас, Николай Николаевич, — сказал он командиру, — и мой долг первым испытать переправу.

Командиры и моряки поддержали штурмана.

Командир корабля обнял Никитина, поцеловал его и уступил свое место. К штурману присоединилось еще несколько коммунистов и комсомольцев. Трюмный Сухопарин, воспользовавшись замешательством, быстро исчез в нижней палубе.

Надев спасательные пояса, обвязавшись концами, рискуя разбиться о борт, люди спустились в баркас и отвалили. Баркас то взлетал над гребнями, то исчезал за ними. Наконец он достиг каменной гряды, где бился эсминец и где кипели буруны.

«Пройдет или нет?..» — думал каждый, с замиранием сердца следя за отчаянной схваткой. Гребное суденышко бросало нещадно. Трос едва успевали травить.

Вдруг крик ужаса потряс корабль. Баркас, едва достигнув бурунов, опрокинулся, и среди волн не было видно ни баркаса, ни людей...

Жуткие минуты тянулись медленно. Но вот показались три точки, всего три... Это были головы. Но чьи?.. Плавающие в море люди пытались добраться до баркаса, вскарабкаться на него, но суденышко подбрасывали волны, снова опрокидывали и уносили прочь. Борьба продолжалась долго. Теперь уже среди волн виднелись две точки... Потом одна...

Около часа бился, нырял разбитый баркас, бессильный преодолеть барьер бурунов. Но и в случае прохода он уже ничем не мог помочь теперь. Убедившись, что и эта попытка не увенчается успехом, Николай Николаевич приказал выбирать трос. С неимоверными усилиями проходила эта работа.

А на разбитом баркасе виднелась лишь одна человеческая фигура. То был штурман Никитин.

Все ближе и ближе подтягивают обломки. Уже невооруженным глазом можно разглядеть в наступающих сумерках штурмана.

— Навались, дружно! — командует боцман.

И сильнее затопали на палубе ноги, еще крепче сжимают руки толстый канат. Двести, полтораста, сто метров... Вся команда «Совета» высыпала наверх.

— Дружно! Еще разок! Ходом, ходом! — покрикивает Терентий Ильич.

Тяжело выбирать против волны затопленный многовесельный баркас. Туго подается он вперед; трос, как струна.

— Взяли!..

И вот трос лопнул. Команда со всего размаху повалилась на палубу. А гребное суденышко подхватило ветром, закружило и унесло в море, в ночь...

Старый боцман снял фуражку и перекрестился.

— Наше положение безнадежно, оставьте нас, — после мучительных раздумий, не желая увеличивать число жертв, сообщил по семафору Бусыгин.

Моряки молча согласились с ответом своего командира, и только слабый звук трубы, который иногда доносил ветер из тьмы, все еще говорил о жизни и надежде. Но многие из находящихся на борту «Благополучного» уже перестали его слышать.

На рассвете 11 ноября военком «Совета» Василий Грязнов и молодой Ржанов, несмотря ни на что, решили итти на спасение гибнущих людей.

— Василий Васильевич, вас ожидает участь Никитина, — сказал командир.

— Именно поэтому мы и должны итти, — за себя и за Грязнова ответил Егор.

Спасательную шлюпку с воздушными банками загрузили для пловучести пробочными матрацами, поставили на ней мачту с кливером, и комиссар с Егором ушли.

Заливаемый волнами, с проломленными бортами, через несколько часов борьбы вельбот со смельчаками пробился через буруны и достиг миноносца.

Когда Грязнов с Егором поднялись на палубу разбитого корабля, они увидели печальную картину — многие были мертвы.

Фигура Веригина с запрокинутой головой виднелась у мач-

ты. Скованными морозом, бесчувственными руками он все еще прижимал к себе умолкнувшую трубу...

Только Дмитрий Рябинин проявлял признаки жизни и своим телом согревал ослабевшего командира Бусыгина.

Море, шторм и мороз по-своему нарядили корабль, покрыв его льдом. Миноносец выглядел так, словно был сделан из хрусталя. В ледяных гротах, образовавшихся на рубках и пушках, сверкали лучи багряного зимнего солнца. Солнце блистало в ледяных изломах и гранях, на бахроме инея, покрывавшего изорванные снасти бесчисленными волшебными красками; и краски эти горели, переливались и множились, просвечивая корабль насквозь. Порой волны и ветер сшибали с мачт и надстроек причудливые ледяные украшения, и они, падая и блестя в воздухе, разбивались, мелодично звеня.

XIX

Первое время, когда Петр Ржанов был отозван и, не получив назначения, находился в распоряжении штаба, он был свободен. Петр не знал, куда себя деть, ходил по городу и на все смотрел по-новому.

«Как же, — думал он, — ведь этого дома будто здесь не было? А тот, помнится, стоял дальше... Красивый памятник! — говорил он себе. — Неужели он и раньше стоял здесь, или его недавно воздвигли? — недоумевал Петр. — Ах, да, конечно, стоял. Тогда еще у этого памятника... — и в его памяти оживал какой-нибудь связанный с этим местом эпизод. — Очень красивый город! Как, должно быть, хорошо бывает тут летом, когда весь островок утопает в зелени кленов и лип!..»

Петр с удовольствием прошелся по аллее вдоль канала, наподдавая ногами опавшие шуршащие листья. После дождя было тихо. Лужи на земле отстоялись и отражали в себе теперь свинцовую холодность осеннего неба. На западе по серосинему небу протянулись узкие, как ленты, полосы: синяя, лиловая, желтая и розовая наверху.

Петр самому себе напоминал стоящий под парами у трапа буксир. Все было готово, но не было приказа отдать швартовы, и потому надо было пока время от времени стравливать рабочее давление. И Петр травил это давление. Он посещал Дом флота, играл там на биллиарде, ходил в кино, подолгу просиживал на берегу, дышал запахом увядающей травы и любовался морем, — его игрой, его красками. И море ему казалось иным, словно он тоже видел его впервые. Это было иное

море, не то, которое он видел с корабля, — бескрайное, как небо. Море здесь, у берега, с его таинственным многозвучным шумом имело другой характер. Петр выходил за крепостные ворота, садился на холм, сидел, слушал, любовался и отдыхал. Так продолжалось несколько дней.

На пятый день из штаба флота принесли пакет. Начальник штаба флота Тимофеев принял Ржанова, и потом они вместе прошли в кабинет командующего.

— Мы надеемся видеть в вас, товарищ Ржанов, столь же достойного командира, каким вы до сих пор были комиссаром.

— Есть!

— Это дело большое и трудное, Петр Емельянович, а потому мы и доверяем его вам. Ваш опыт, организационные и политические качества, — одним словом, советуйтесь — поможем, — сказал начальник штаба. — Другие в течение года не справились, вам даем месяц... И то много, — добавил он.

Петр улыбнулся.

— Верно я говорю, товарищ командующий?

— Да, бригаду надо выправить. Все, что найдете нужным, делайте, — сказал командующий своим юношеским голосом. — Командир бригады останется... Все остальные на ваше усмотрение. Я надеюсь, что они тоже хорошие люди, — добавил он. — Вот, собственно, по бригаде, куда вы назначаетесь заместителем, все. О людях я не говорю с вами, так как мне известно — вы на людей бережливы. Теперь о вашем деле, — продолжал командующий. — Проект видел. Смело, хорошо, одобряю. Направляем его в Москву, но с этим делом придется повременить... С полгодика, не больше. Есть у меня для вас один сюрприз, но об этом потом. Сейчас главное — бригада линейных кораблей. А что, Тимофей Тимофеевич, — спросил командующий, обращаясь к начальнику штаба, — Ржанов, пожалуй, у нас на флоте первый комиссар инженер-конструктор, вообще первый инженер?

— Пожалуй, да.

— Почин хороший, — сказал командующий, смотря на Ржанова. — Товарищ Тимофеев верно сказал, — продолжал он, — что дело это трудное, сложное, и именно поэтому мы поручаем его вам, товарищ комиссар-конструктор.

— Есть! — сказал Ржанов, слегка наклонив голову.

— А то, что мы вас из одной сферы в другую — вы не обижайтесь.

— Моя сфера — флот, товарищ командующий.

— Вот и я так думаю. Еще немного, и тогда начнете. Что же касается специальной части, — сказал в заключение командующий, — то товарищ Тимофеев вам подскажет. В политической части — не мне вас учить. Комиссар на бригаде неплохой малый, но обжился, «принюхался», как говорят краснофлотцы. И знаете — это очень метко сказано... «принюхался». При всем этом страшно щепетилен до всего, что касается бригады. Указание он получил... Через двадцать дней я буду у вас на бригаде.

Простившись с начальством. Петр вышел из штаба.

«Странное дело, — думал Петр, — кажется, немолодой я на флоте, людей знаю, дело — более или менее... а робею, как ученик, входящий впервые в незнакомый класс».

На бригаде Петра приняли сдержанно. Встретившие его командиры сразу заговорили о задачах, о слабостях и о том, к чему, по их мнению, нужно было немедленно приступить. Одни были спокойны, другие, напротив, выражали нетерпение и свою готовность включиться в дело.

Командир бригады Кузнецкий, флегматичный на вид человек лет пятидесяти пяти, подал Петру свою мягкую, бескостную руку и только сказал:

— Ну, вот и хорошо, и чудесно. Слышал...

Петр сел в кресло, ожидая возобновления разговора.

— Чайку бы выпить, — сказал командир бригады. — Поди, Мишенька, распорядись. Да, звонок-то настольный у меня пусть исправят. Вестовых не дозовешься... И помощнику моему новому чайку, а? — спросил он, обращаясь к Ржанову.— Да вели подать, чего спрашивать, — сказал он мягко и спокойно, как он все делал и говорил. И только чуть заметно, как показалось Петру, усилил одно слово: «новому».

— Вы женаты? — спросил отеческим тоном Кузнецкий.

— Еще нет, не пришлось, — ответил Петр.

— Это хорошо, я сам до сорока лет об женитьбе не думал, некогда было. И знаете, это полезно: для флота и семьи.

Чай был подан.

— Так вот и служим, — продолжал Кузнецкий, вылив чай в блюдце и держа его по-купечески, на растопыренных толстых пальцах. — Катерок мой подняли, что ль, Мишенька? — спросил он, вновь обращаясь к командиру с широкой нашивкой, которого он называл Мишенькой.

Это был Михаил Викторович Затылкин, бывший заместитель Кузнецкого, на место которого и был назначен Ржанов.

— Так точно. В тот же день, Михаил Александрович, — ответил Затылкин с особой, служебной угодливостью.

— Ну, и хорошо, ну, и славно, — проговорил Кузнецкий и стал пить чай. — Приказов с земли больше не было, что? — спросил он, ставя блюдце.

— Никак нет, — ответил Затылкин.

«С земли» — означало из штаба флота.

— С комиссаром-то моим, чай, я думаю, знакомы? — спросил командир бригады Ржанова.

— Знаком, — подтвердил Петр.

— Ну, и хорошо. Он парень ничего, тихий, обстоятельный... служить можно. Любят его в бригаде...

Дежурный командир, войдя в салон, доложил командиру бригады, что его дожидается командир линкора «Россия».

— Пожалуйста, еще бы нельзя! У меня не департамент, чтоб морякам на пороге киснуть! Зови, милый друг, — сказал он дежурному.

— Здравия желаю, Михаил Александрович! — отчеканил командир корабля, переступив порог салона.

— Здравствуй, родной, садись. Чем порадуешь?

— Разрешите доложить...

— Говори, говори. Здесь посторонних нет, — видя смущение командира линкора, сказал Кузнецкий. — Это мой заместитель, а ваш — новый начальник, Петр Емельянович Ржанов. Прошу любить... Познакомьтесь.

Петр встал и поздоровался.

— Вы к нам как же — по линии партийной? — спросил командир «России», знавший Петра как комиссара.

— По моей и по твоей, братец! По нашей общей линии, — смеясь, заметил командир бригады. — Вот теперь к нему и обращайтесь, освободите меня, старика... Ну, что там у тебя, говори, — спросил Кузнецкий, обращаясь к командиру линейного корабля.

— Насчет докования, Михаил Александрович. Прошу разрешить встать.

— Вот я и говорю — теперь с этим к нему обращайтесь, потому что это его линия. Да расскажи, милый друг, своему новому начальнику, как это тебя угораздило руль потерять, а? — спросил командир бригады и засмеялся, хлопая себя руками по коленям. — Не слушается, говорит, право на борт! Лево на борт! И все прямо на борт, — рассказывал Кузнецкий сквозь смех, вспоминая рапорт командира линкора. — Потерял штучку... Сколько в нем, поди тонн шестьдесят, а? Ну,

как дело-то было, расскажи, — и пухлые его щеки затряслись еще больше, а глаза совсем спрятались.

— Вот когда я в южных морях плавал, — продолжал командир бригады, отдышавшись от смеха, — помню был такой случай...

Все уже слышали эту историю не раз, всем все в этой истории было давно известно, но все приготовились ее слушать с видимым интересом из уважения к положению, чину и возрасту.

— Вот так-то, братцы-товарищи, — обращаясь к присутствующим, сказал Кузнецкий. — Нас тогда не так учили... Ах, не так! — и он посмотрел на командира линкора. — Хотя мы и благородиями назывались... А то — руль своротить! Моли бога, что на язык горазд — вывернулся.

Командир бригады замолчал, и в салоне долго было тихо.

— Вот так и служим, — прерывая молчание, со вздохом заговорил Кузнецкий. — Так вот и служим...

И тон и вздох, с которым командир бригады произнес эти слова, сказали Петру: «Как, мол, служили, так, мол, и служить будем. И сколько бы вас ни приходило тут новых, молодых, все пойдет по-старому».

— Что ж, идите, товарищи, — сказал Кузнецкий, обращаясь к командирам. — Я вас, братцы, не держу. А мне со своим новым помощником поговорить надо.

И он опять, как показалось Петру, выделил слово «новым». Командиры вышли.

— Возьмите моего, — предложил командир бригады, подавая Петру коробку с табаком. — Мой, должно быть, покрепче будет.

Молча, не спеша курил свою трубку Кузнецкий, не проронив больше ни одного слова.

— Вы плавали на «Павле»? — спросил Петр, всматриваясь в Кузнецкого.

— Плавал. Верно. Откуда вы знаете? — весь встрепенувшись, спросил командир бригады.

— Я узнал вас по делу третьего марта.

Это был памятный день Балтийского флота. В этот день линейный корабль «Император Павел I» восстал на флоте, подняв красный флаг.

Кузнецкий при этих словах впервые как-то особенно ярко вспомнил весенний вечер 1917 года. Вспомнил себя, вторую бригаду линейных кораблей, «Андрея Первозванного», толпу матросов, контр-адмирала Небольсина, его пререкания с де-

путатами, взрыв гнева... Потом убийство адмирала, убийство других, еще и еще... Аресты офицеров, их разоружение... Красные огни на реях... Распространение восстания по судам... свое выступление. Митинги, речи, и опять митинги, митинги, митинги... Вспомнил председателя депутатской группы, бывшего у адмирала Непенина на «Кречете», арест кречетовцев, свой арест, увод с корабля, убийство комфлота, свое освобождение.

— Неужели это были вы? — спросил Кузнецкий, с изумлением глядя на Ржанова.

— Да, помните?

— Еще бы, Петр Емельянович... Кабы тогда не вы, быть бы мне во рву, возле морского собора.

«Вот встреча!» — подумал каждый из них, удивляясь тому, как иногда в жизни перекрещиваются дороги. Но обоим была приятна эта встреча. Она сразу породила взаимное доверие друг к другу.

— Я очень рад, очень! — сказал командир бригады. — Хочу и верю, что мы будем с вами товарищами.

— Тоже верю, что мы поработаем, как товарищи, — ответил Петр, который любил ясность выражений и потому уточнил слова Кузнецкого.

Петр рассказал командиру бригады о своем разговоре в кабинете командующего флотом и о том мнении, какое существует в штабе о третьей бригаде.

— Нет, это хорошо, что вас прислали, очень хорошо! — сказал Кузнецкий Петру при прощании.

XX

Многое было неясно Петру, когда он начал обходить корабли бригады. Его занимал один вопрос: как лучше, как вернее сделать, чтобы не испортить материала. Нужна была осторожность. Петр знал одно мудрое партийное правило: когда встречаешься с человеком, помни, что начинается самый ответственный момент всякого дела.

Петр ходил по судам, присматривался, приглядывался; и к нему в то же время и присматривались и приглядывались. Он обошел корабли, на кораблях все подразделения, в подразделениях секторы. Познакомился с командирами, старшинами, краснофлотцами. И как только Петр вошел в непосредственное соприкосновение с людьми, они выдвинули перед ним такую бездну вопросов, что ответить на них у одного

человека просто не хватило бы ни сил, ни времени. Но все эти вопросы учили Петра, и он знал теперь, что ему надо делать.

Петр очень скоро стал центром, узлом, через который проходили пути на корабли бригады, во все их роты и подразделения. И стал центром потому, что он не отворачивался от сложных вопросов жизни, а шел им навстречу.

Флагманский инженер-механик, испрашивая распоряжения Петра относительно сортов масел, угля, нефти, запаса воды, ремонта машин, нужд команды, — испрашивал все это тактично. Но не мог скрыть, однако, за этой тактичностью сознания своего достоинства. «Как видите, — говорила тактичность механика, — это дело не маленькое... Дело, требующее больших знаний и опыта. А у меня все это есть, и вам лучше в это мое дело не соваться».

Старший баталер, испрашивая распоряжения Петра о продуктах и вдаваясь в подробности качеств муки, макаронных изделий, консервов, овощей, испрашивал все это с нескрываемым сознанием своего превосходства. Тон его говорил, что хотя он и спрашивает об этом, но знает это дело несравненно лучше и будет его делать так, как знает.

Главный шкипер, испрашивая распоряжения Петра о вещевом довольствии — обуви, сукнах, белье, говорил это, как мастер своего дела, но еще и так, что он не нуждается ни в чьих указаниях и что его обращение к Петру носит лишь чисто формальный характер.

Флагманский артиллерист, испрашивая распоряжения Петра о запасе снарядов, торпед, пороха, о ремонте башен, переоборудовании агрегатов, об учебе людей, говорил это с тем особым артиллерийским апломбом, в котором слышался покровительственный тон, с каким артиллеристы вообще нередко относятся к другим специальностям.

Флагманский штурман, испрашивая распоряжения Петра о навигационных приборах, комплектах карт, новых флагах, советовал спешно получить их в порту потому, что если их не получить теперь, то они пропадут, так как их возьмет другая бригада. Штурман настаивал на необходимости заводского ремонта и частичном переоборудовании некоторых рубок, рулевых приводов. И говорил это он не менее убежденно и не с меньшим сознанием собственного достоинства, чем механик, артиллерист, баталер и шкипер.

Все эти вопросы и тысячи других самых различных, сложных и несложных, важных и неважных, срочных и несрочных,

были теперь обращены к Петру. Чтобы разрешить все эти вопросы, Петр, как всегда, прибегнул к испытанному партийному рычагу и при помощи этого рычага решил повернуть бригаду на курс исправления.

Собрав людей, Петр предъявил им те самые требования, которые вытекали из нужд службы и с которыми они сами накануне обращались к нему порознь. Петр делал это с той лишь разницей, что предварительно просеял поступившие к нему вопросы, выкинув за борт высевки.

— Новый-то наш — того, кажется, знает бригаду, — сказали о нем командиры, расходясь с совещания.

— У него, у нового-то, глаз ничего себе, острый, — заметили старшины. — Ему очков не вотрешь.

— Он не только приказывать, а и слушать умеет, — решили краснофлотцы.

И Петр как-то сразу стал на бригаде своим, а это очень много значило для успеха дела. Каждый после общения с Петром чувствовал себя нужным, — но не только своему заведованию, а и для корабля и бригады. Петр умел затронуть в человеческом сознании то чувство, которое руководит и движет людьми и которое не знает препятствий, — честь.

Только в штабе бригады некоторые были попрежнему сдержанны и наблюдали за «молодым человеком», как они между собой называли Ржанова.

«Ты работай, а мы посмотрим», — говорило их поведение. Некоторых штабистов занимали не нужды бригады, не вопросы перестройки, а то, например, убавят ли их новому начальнику нашивки в связи с его назначением на командную должность или не убавят?

— Широкая и средняя — многовато... Сколько ему лет? — интересовался командир с четырьмя средними.

— Тридцать шесть или около, — сказал командир с тремя средними.

— Действительно многовато, — согласился командир с широкой.

— Надо полагать, что срежут, — сказали «три средних».

— И командир и заместитель в равных чинах — это недюже, — подтвердила «широкая».

— Он выдвиженец?

— Окончил Военно-морскую академию.

— По-разному кончают...

— Что ж, он как будто дело знает.

— Посмотрим...

Командир бригады, казалось, тоже наблюдал. Он подписывал приказы, слушал Петра и трудно было на его мягком, старушечьем лице прочесть, что он хотел.

— Что там у вас? Давайте подпишу. Ну, давайте, проведем, послушаем. А стоит ли? — спрашивал он. — Ведь все известно, давно известно, милый друг, — отвечал Кузнецкий на все предложения Петра, но делал, и делал так, словно тащился за кормой на шкентеле *.

XXI

Петр видел, что Затылкин, которого сместили как не соответствующего своему назначению, был в близких семейных отношениях с командиром бригады. Теперь он не имел никакой официальной должности и был чем-то вроде приложения к Кузнецкому.

Затылкин относился к Петру внешне очень любезно, но с той покровительственной манерой, которая иногда бывает свойственна пожилым и обиженным жизнью людям. Он не раз и не два заговаривал о тех, наверху сидящих, с линией которых он не мог согласиться и по вине которых он вынужден был уйти.

— Нам нередко мешают, — говорил он. — Очень, видите ли, много опеки. Вы меня, конечно, понимаете? Дело это сложное, а наш, как вы имели возможность убедиться, мягковат, хотя едва ли кто мог заменить его на этом чертовски щепетильном посту. Вы знаете, — продолжал Затылкин, — Михаил Александрович старый офицер, представляющий собою редкое и счастливое исключение на общем, так сказать, фоне царской службы периода упадка монархии. Поверьте, что он знает свое дело, любит флот и, придет время, — пригодится. Одним словом, я вам скажу, это талант и прекрасной души человек.

Петр сидел, курил и слушал. Затылкин прошелся по каюте и продолжал:

— Я люблю вас, молодежь... В вас есть этакий — как вам сказать? — ну, пыл, «огонь желаний»... Чувство нового, одним словом. Я, смотря на вас, молодежь, знаете ли, изучаю и усматриваю прогнозы будущего страны. Вы, так сказать, барометр времени. Люди революционной формации... Да, интересно, очень интересно, — произнес Затылкин задумчиво и сел против Петра. — Мы, конечно, люди старого закала, интеллигенция чеховских времен. Мы верим в понедельники, в левую ногу, в перебежавшую нам дорогу кошку и другие наивные, но ми-

* Короткая веревка, на которой висит что-либо.

лые нам предрассудки. Да, да, вы не смейтесь. Вот поживете с наше, и у вас будут свои, новые, не менее наивные и смешные предрассудки. А впрочем, и нас, стариков, я вам скажу, на прикол рано ставить... Вы теперь повидали людей, бригаду знаете и можете сказать, как тут, с этаким-то народом, «переворотить», как у нас за последнее время стали выражаться.

— А вы хотите? — спросил Петр.

— Ну вот, милый мой, а как же! Я потому и нехорош стал, что многого хотел. А вы как же судите?

— По делу, Михаил Викторович, — сказал Петр, смотря на часы. — Вы меня извините, у меня сегодня партийное собрание на «России», — и, одевшись, он вышел.

Петр Ржанов начал подтягивать. Несколько командиров получили от него взыскания. До командира бригады и комиссара стали доходить первые жалобы на несправедливость нового. Командир бригады молчал, разводил руками, но в распоряжения Петра не вмешивался.

— Погодите, посмотрим... — говорил он.

В последние дни все чаще и чаще стал навещать Петра Затылкин.

— Я к вам по душам поговорить пришел, простите меня, старика.

Петр откладывал дела и слушал. Затылкин не то чтобы осуждал действия Петра, а так, по праву своего возраста, как он говорил, давал советы.

— Ведь я вам, Петр Емельянович, в отцы гожусь, послушайте меня, не берите круто, надорветесь... Ох, люди, — говорил он, покачивая головой, — знаю я их! Подбросят апельсинную корку, поскользнетесь... Жаль мне вас, молодежь... Слышал я, что собираетесь вы убрать Замоткина, а другого дадут — еще хуже будет... Этот хоть по чину берет... Сами подумайте: дело такое — у моря быть да не замочиться...

— Вы защищаете вора, Михаил Викторович.

— Да ведь что ж поделаешь, милый: дегтем торговать, дегтем и вонять. Не горячись, послушай меня, старика. Народ недоволен. Я тебе, милый, добра желаю...

— Вы считаете, что я поступаю не так? — спросил Петр.

— Да ведь так-то оно так, а все мы люди... Сегодня — ты, завтра — я, ведь вот оно как в жизни-то...

Затылкин все еще продолжал находиться при штабе бригады. Не на том месте, где был теперь Петр, а при людях штаба. Он обитал в салоне, кают-компании, рассказывал за обедом и ужином новости, толкался среди верхушки бригады. За-

тылкин умел вставить реплику, критикнуть, дать совет. Петр видел, что по старой ли привычке, или по какой другой причине с этими советами считались. Петр замечал также, что нередко многие вопросы служебного порядка обсуждались за круглым столом во время ужина, и не только обсуждались, но и предрешались.

Бывший заместитель командира бригады Затылкин посещал корабли, принимал у себя в каюте недовольных и, ссылаясь на мнение «самого», как он называл командира бригады Кузнецкого, всегда копошился и чем-то был занят. «Козла выжили, а псиной пахнет», — говорили о нем командиры.

XXII

Прошла неделя. Петр объединил вокруг себя командиров-коммунистов, старшин, рядовых. Наладил командирскую учебу, поставив перед каждым четкую задачу. Подчинил партийному контролю некоторые вопросы службы, ремонта. Глаз стало больше и промахов меньше. Увольнение само собою сократилось, так как время потребовалось и на работу, и на службу, и на учебу. Оживились кружки, и общественная работа пошла в гору. На партийных собраниях резче заговорили о недостатках, и заговорили невзирая на нашивки. Количество взысканий резко снизилось. Все больше и больше увеличивалась шеренга людей, имеющих отличные оценки.

— Слышал я, Петр Емельянович, что ты собираешься Стелькина убирать, — спросил Затылкин, поймав Петра у трапа на верхней палубе.

— Да. Так будет лучше и для дела и для него.

— А мой совет обождать, присмотреться.

— Дело не ждет, Михаил Викторович.

— Дело не убежит. А не наша с тобой вина, коли людей нет. Да, милый друг, ты не удивляйся. Может, это и парадокс, а людей у нас с тобой нет... И как еще сам посмотрит? Не любит он, когда без него решают, ох, не любит!..

— Хорошо, — сказал Петр, подходя к люку.

— Главное — не торопись, подумай.

— Время, время, Михаил Викторович.

— Ну вот, убедился... Со мной бывало так-то: давай срочно, немедленно, быстрей, а где взять? А ты жди... Молодые, горячие... Люблю я вас, молодежь! Тот тоже кобенится, рапорт подал... Ты потерпи денек-другой. Оглянись. Прояснится, послушай...

— Посмотрите, как наш старый вокруг нового увивается,— заметил дежурный командир обступившим его товарищам.

— Обрабатывает...

— Лиса!

— И обработает.

— А ведь наш новый, кажется, ничего малый, — сказал баском розовенький, недавно произведенный в вахтенные начальники молодой командир, обдергивая свой новенький, с иголочки китель.

— Ничего, суховат несколько, — заметил второй, постарше.

— И не все его любят...

— А ты разве, Федя, тоже от него взыскание имеешь?

— Нет, я пока не имею. Люди говорят, — сказал недавно произведенный.

— У него, верно, рука в штабе?

— Две, — сказал дежурный, подшучивая над товарищем.

— Вот я так и предполагал. Уж больно смело режет.

— А что?

— Слышали, небось, о случае на «Гангуте»?

— Нет.

— Про это вся бригада знает, чудаки! — сказал с нескрываемым удовольствием тот, кого звали Федей.

— Наш новый арестовал Стелькина домашним арестом.

— В самом деле?

— Даю слово! А тот ушел на берег, по дороге где-то встретил командующего и пожаловался на Ржанова.

— Занятно!..

— Ну, а командующий выслушал Стелькина и приказал ему явиться на гауптвахту.

— Нет, Федя, ты шутишь? За что же?

— Это целая история, хлопцы, и было б забавно, случись все это на другом корабле. А, к сожалению, это было у нас, — и он поморщился.

— Это ново.

— Сменился я, вымылся, сижу, пью чай, — продолжал Федя. — Вдруг слышу три звонка, особых три, взволнованных... Оказалось, что это наш... Тамбовский Миша продекламировал ему рапорт. Артистически, знаете, как только он один умеет это делать... Новый спрашивает: «Командир на борту?» — «Никак нет, — отвечает Миша, — отбыл на берег». — «Тогда попросите ко мне старшего помощника». — «Его, — отвечает дежурный, — тоже нет». — «Второй помощник?» Миша

снова докладывает, что и второй уехал на берег, а за себя оставил штурмана. «Хорошо, — говорит Ржанов, — попросите его». Миша снова мнется. «Он, разрешите доложить, недавно удалился». — «Куда?» — «На берег». — «Кто же, — спрашивает, — за командира?» — «За командира, — отвечает Тамбовский, — в настоящее время старший артиллерист». — «Пожалуйста, — говорит Ржанов, — попросите его». Снова пауза. Миша, бедный, даже побледнел. Что делать? Растерялся парень, да и растеряешься. Спустился вниз. А наш стоит на юте и трубочку себе покуривает, дожидается. Вернулся дежурный, докладывает, что артиллерист тоже уехал на берег, а за себя оставил механика. Но и механика не оказалось. Одним словом, самым старшим на корабле был наш боцман Васюк...

— Неумно придумано, — сказал один из товарищей.

— Что? — спросил Федя удивляясь.

— Эта твоя история.

— Куда к чорту, — воскликнул тот, — придумано! На корабле теперь только и разговора о Стелькине и нашей круговой беспечности. Говорят, что его теперь из командиров попрут.

— Да, за такую службу не похвалят...

— Это не так просто сделать, — заметил тот, кто был постарше. — Стелькин врос, как дедушкина репка.

— Ничего, вытянут!.. Стоп травить, приручённый близко, — сказал Федя, указывая глазами на проходящего Затылкина.

— Федя, — сказал дежурный по кораблю, — посмотри, кажется, он...

— Кто? О ком ты говоришь?

— На стенке... видишь? Ржанов к вам на борт подымается.

— В самом деле? — воскликнул молодой командир. — Ну, будет взбучка!

И Федя поспешно сбежал по трапу.

XXIII

Прошла еще неделя. Порядок в бригаде был наведен, приказ выполнен. Скольких это стоило усилий, ночей, нервов — никто не спрашивал, да это и не было важно. И так в жизни Петра Ржанова было не раз. Вызовут, скажут: «надо обеспечить», или: «необходимо исправить», либо: «прорыв ликвидировать». И, несмотря на эти сплошные

«авралы», Петр ухитрялся учиться. За прошедшие восемь лет он кончил академию, отлично защитив дипломный проект, поразивший смелостью и простотой специалистов.

Осенью 1929 года Петр мечтал перейти на научную работу, как вдруг произошла новая мобилизация, и он снова пошел «выбирать слабину»...

На линкорах Петр показал себя хорошо. Его очень скоро оценили за ум, размах, за хозяйскую и твердую руку. Увидев в нем человека, люди проникались к нему уважением и тянулись навстречу. К Петру несли свои чаяния, свои заботы, и если встречали с его стороны поддержку, то поддержка эта всегда была твердой. Петр никогда не тянул, не мямлил, не обещал зря, не показывал виду, что он может то, чего в действительности не мог. Он не руководствовался чувством глупого чиновнического самолюбия, как это делал Затылкин.

Петр видел, что в таких людях, как Затылкин, не было внутренней силы и движения. Они были холодны, и не то, чтобы не умели делать, а делали лениво, по обязанности. Все, что они делали, делали робко, с оглядкой и дрожью, но не за труд беспокоились они, а за возможность потерять свое удобное место, за которое держались зубами. Делал Затылкин что-либо или не делал, он твердо знал, что ему положено получить деньги, паек и обмундирование. Он смотрел на все вокруг безразличными, какими-то замороженными, рыбьими глазами.

«Зачем торопиться, волноваться, лезть на рожон, портить отношения с людьми?.. Чем меньше нас коснется, тем лучше», — поучал он. Затылкин, казалось, был занят выискиванием и умножением теневых сторон в людях, в жизни, в службе. Он со своим скептическим бельмом на глазу не видел ни солнечного света, ни тепла новой жизни. А когда и видел, то щурился и, прикрыв свои больные глаза, говорил, что вокруг него темно.

Петр видел, что Затылкин ничего не делал, но имел помощников, и что Затылкин и его помощники представляли собою своеобразную изоляцию между запросами, необходимостью и делом. Они были тем мертвым пространством, которое заглушало и поглощало в себе всякий звук жизни. Затылкин и его помощники, смотрящие на все судачьими глазами, умели, однако, замазывать яркой краской участия свою мнимую деятельность, свое мнимое могущество и свой начальнический апломб. Они ловко прятали под этой краской

свою пустоту, нерадивость и лень. А люди, судя о них по внешней окраске, всегда обманывались, принимая их не за тех, кем они были на самом деле.

Петр видел, что каждый раз, когда речь заходила о какой-нибудь работе, Затылкин ловко, незаметно, словно уж, выворачивался и отходил от порученного ему дела. Он начинал рассуждать о том, о сем, находил причины, давал советы, критиковал работу других, показывал вид, что беспокоится о кораблях, сдерживая своей нерешительностью слабых людей, ничего не делал сам, но всюду совал свою острую хорьковую физиономию. «Тут надо бы подумать, а то рубанешь сгоряча... Вот намедни был случай», — говорил он и уводил собеседника на извилистую словесную тропинку, а дни проходили.

Раза два вначале по этим тропинкам блуждал и Петр, все как-то не веря его закоснелой лживости и боясь оскорбить своей прямотой и резкостью этого человека. Петр не сразу оценил роль Затылкина, а оценив ее, сделал вывод.

Затылкин, — хотел он этого или нет, — играл роль горящей буксы, которая тормозила движение, и Петр решил эту буксу убрать. Но объяснения его с Кузнецким, хотя Петра поддерживали и комиссар бригады и в штабе флота, ни к чему не привели. Затылкин, несмотря на отсутствие штатной должности, несмотря на свою ненужность и явную помеху в деле, продолжал оставаться, — оставаться не при штабе бригады, а при Михаиле Александровиче Кузнецком, на правах «прирученного адъютанта», как его звали на кораблях.

— Хорошо знаю, понимаю, — говорил Кузнецкий, — он вам не годится, но я имею право иметь адъютанта, какого мне желательно иметь.

Затылкин где-то наверху нажимал таинственные кнопки, проявляя при этом исключительную энергию. И странное дело — кнопки эти подействовали: в механизме штаба флота после треска, скрипа и шума что-то повернулось, и Затылкин остался в бригаде на новой, им самим выдуманной должности.

Он попрежнему забегал к Петру и с видом обремененного заботами человека давал ему советы.

— Вы меня послушайте, я вам по-родительски, — говорил он с сокрушенным видом. — Полюбил я вас, потому и надоедаю... Послушайте меня, старика, осторожней, пусть другие... Поскользнешься на апельсинной корке...

— Вы исполнили приказание? — спросил Петр.

— Все будет готово... завтра утречком. Вот как пробьют четыре скляночки, так и получай. Я посоветоваться с тобой пришел, Петр Емельянович, — продолжал Затылкин, меняя тон. — Все дела, дела и отдохнуть некогда, — сказал он, заглядывая в бумаги. — Да я все насчет того дела...

— О том деле все уже решено.

— Экие вы, молодежь, решено... Торопитесь. Ты прежде послушай...

— Все ясно в этом деле, и всем ясно, — сказал Петр.

— Ан нет, — возразил Затылкин, — в этом деле сложная игра, — говорил он, прохаживаясь по каюте, заложив пальцы в нагрудные карманы кителя. — Ты говоришь — все ясно, — повторил он, наклонив голову и как-то сбоку и снизу поглядывая на Петра, — а как сам посмотрит, да штаб, да люди, да и Стелькина обижать не след. Вы партийные работники, не мне учить вас... А все не без греха. И у нас с тобой грешки... Людям-то они виднее. Он парень хоть и с сучком, а наш. Нет, ты поправь, научи, а то выгнать!.. Выгнать — это дело нехитрое, меня тоже вот на старости лет прокатили.

Тот, кого, по мнению Затылкина, надо было поддержать, был родственником Затылкина. Игра действительно шла, но игра семейная, и Петр это видел.

— Это не командир, это недоразумение, ошибка, — сказал Петр. — Он убедил всех, что не пригоден и вреден делу.

— А я тебе опять скажу, — начал было Затылкин, но Петр остановил его:

— И ваша защита, Михаил Викторович, не совсем прилична, — сказал Петр.

— Есть в нем изъянец, верно. Ты хозяин, ты и решай, а по-дружески я советую обождать. Человек он наш...

— Ваш, вы хотите сказать? — заметил Петр.

Затылкин не подал виду, что понял реплику, и продолжал:

— А пришлют нового, неизвестного, еще хуже будет. Вот о чем я говорю.

— Хорошо. Завтра решим, — сказал Петр. — Вы меня оставьте, мне надо работать.

— Ну, вот и хорошо. Обдумать никогда не мешает. Семь раз отмерь, как говорится... — Он не договорил и вышел, улыбаясь про себя.

Слова «хорошо, завтра решим» Затылкин расценивал уже как свою победу. Тянуть — это было его тактикой, тем средством, которое нередко приводило его к нужной цели.

Петр видел, как у Затылкина семейные отношения тесно спутались с отношениями служебными, как из этих отношений с Кузнецким он извлекал для себя пользу. На бригаду, штаб и людей бригады он смотрел, как на свою вотчину, придумав для себя роль страдателя и охранителя каких-то особых, ему одному известных традиций бригады. Затылкин, конечно, выражал мнение какой-то группы командного состава. То была неорганизованная группа, он лишь объективно концентрировал в себе отсталые настроения, которые по естественному закону стекали к нему мутными ручейками, как к наиболее низкому месту. А он обобщал эти стоки, облекая их в своеобразную формулу общественного мнения. Из всей этой мути Затылкин строил какие-то планы, суетился вокруг этих планов, но все это было на уровне интрижек, его интересов и его личных традиций. Затылкин отстал от жизни, от новых условий морской службы, но не сознавал своего отставания. Ему надо было что-то делать, хотелось держаться в центре событий, и он не мог придумать ничего иного, как путать узелки, создавая вид деятельности, — деятельности никому не нужной и вредной.

XXIV

Выйдя от Петра, Затылкин позвонил Стелькину и вызвал его к себе.

— Что же делать? — спросил Стелькин, входя в каюту. И походка его и тон голоса выражали полное безразличие ко всему. «Э, мол, мне теперь все равно, что хотите там, то и делайте», — говорил его вид.

— Главное, не торопись, — сказал Затылкин, потирая руки. Он сел в глубокое кресло, высоко закинул ногу на ногу и закурил. Курил Затылкин редко, неумело и делал это в тех случаях, когда был в особом ударе.

— Не торопись, — это я уже слышал, — сказал Стелькин. — Надоело все. Не подхожу, не нужен — гоните, чорт с вами!.. Я так и в рапорте написал.

— Ну и дурень. Не ерепенься! Когда время придет, я тебе первый скажу: пора, Анатоль, уходи. А теперь служи и виду не показывай. А рапорт твой — он у меня, я перехватил его.

— Ты не понимаешь, Миша, — заговорил Стелькин оживленно, и в его голосе и в глазах зажглась неясная надежда. — Ты не понимаешь, как это окружение, — я тебе откровенно скажу, — тяготит и унижает.

— Понимаю, — согласился Затылкин.

— Эта двусмысленность, косые взгляды, разговоры... бр-р!.. Как это омерзительно!..

— Любезный, мало ли о ком говорят, и сейчас и раньше — всегда языки чесали.

— Да ведь...

— Говорить не закажешь, — продолжал Затылкин. — Не нас с тобой — адмиралов трясли, и не то, что адмиралов... Николай Романов величество был, а дали коленкой — и нет...

— Да ведь опротивело все, — повторил Стелькин. — И как держаться?

— А лисий хвост, милый друг, лисий хвост! Вот как держаться. Главное, не торопись. Денек-другой — и прояснится.

— Прояснится? Ты сам говоришь — он бумаги к приказу требует.

— Ну так что? Он требует, а мы потянем. Правило давно испытанное...

— Неясно, все неясно, — повторил Стелькин. Он подошел к радио и включил аппарат. Минорная мелодия романса Делиба «Сожаление» наполнила каюту.

— Молод, потому и неясно. Я тебя жизни учу, — говорил Затылкин, стрясая указательным пальцем пепел с папиросы. Понизив голос, он продолжал: — Наше дело лавировать, предупреждать, а их дело решать. Пусть решают, а я тебе не раз сказывал, что канцелярия, аппарат — дело великое. Любое дело затереть можно.

— Все это не то и не то! — возразил Стелькин. — И лавировать, как ты говоришь, противно.

— Хороший ты парень, да прост. В нашем деле не годишься. Предупреждал я тебя, вот она и есть апельсинная корка, поскользнулся... Живем мы бобылями, а надо вокруг себя людей подбирать, гамузом жить нужно. Ты про меня говори сегодня, завтра говори, что я гений, и люди поверят. Горяч больно, а ты послушай меня, старика. Завтра я тебе позвоню, а сейчас ты иди. Надо мне еще с самим посоветоваться. — Затылкин встал, выключил радио, включил вентилятор и снова сел, что-то обдумывая. — Иди, Анатоль, иди, — повторил он, — а то новый придет, неудобно.

— Я пока еще командир.

— Это верно, но лучше иди! Дыму меньше. Иди, тебе говорят! Да помни: лисий хвост...

— Буду писать в Революционный Военный Совет, буду писать Ворошилову, — сказал Стелькин на пороге каюты.

— И, милый! — воскликнул Затылкин. — Куда там в Военный Совет, куда Ворошилову! Ворошилов далече! Есть ближе...

Ближе был флаг-инженер Леонов, служивший в Москве, в штабе морских сил. Познакомился с ним Затылкин в прошлую кампанию во время инспекторского смотра, когда он только что был назначен на бригаду линейных кораблей.

Смотр прошел блестяще. Флагманский инженер Леонов, подводя итоги, весьма высоко оценил разумную, как он сказал, деятельность Затылкина, назвав его на командирском совещании очень дельным и симпатичным человеком.

Затылкин, в свою очередь, назвал Леонова весьма обаятельным человеком — это стало известно Леонову. Так они сблизились, потом подружились.

Потом Затылкин, неожиданно для себя, получил повышение в ранге, или, как он выражался, в чине.

Бывая в Кронштадте, инженер Леонов всякий раз останавливался в старом доме Затылкина, где ему, как он не раз признавался хозяину дома, было уютно и отрадно.

Леонов много и охотно рассказывал о прошлом: о бывшем морском министре Воеводском, о бывшем министре Григоровиче, о бывшем командующем Балтийским флотом в мировую войну Эссене. И все вообще, о чем говорил Леонов, всегда являлось бывшим, точнее, давно не бывшим. Но все, о чем говорил флаг-инженер, было умно, тонко, и потому Затылкин особенно любил эти вечера.

Леонов бывало рассказывает о минувшем, перебирая знакомые имена, жена Затылкина раскладывает в это время пасьянс, на столе монотонно шумит самовар, пахнет пирогами, а в ногах шебаршат собаки. Все это так трогательно для Затылкина, что душа его оплывает от умиления, как свеча от огня.

О настоящем Леонов говорил мало и неохотно. И когда говорил, взгляд его зеркальных глаз был особенно холоден и непроницаем. За этим взглядом, как нередко казалось Затылкину, была совсем другая, к разговорам и событиям не относящаяся мысль.

«Чем он занят? О чем он постоянно думает?» — не раз спрашивал себя Затылкин, но не мог ответить на этот вопрос. Не мог и забывал. Да это и не было важно ему. Важно было другое. Знакомство с Леоновым льстило Затылкину. Знакомство он использовал в корыстных для себя целях, имея руку в Москве, как говорили в бригаде.

— Ты думаешь, он поможет? — спросил Стелькин с мольбой в голосе, догадываясь, кого имел в виду Затылкин, когда говорил, что есть ближе.

— Обаятельнейший человек и нашего круга, — как бы пробуждаясь, сказал Затылкин. — Я думаю, да. Но иди!

XXV

Приказ о подготовке к походу явился неожиданностью. По всем подразделениям шло доукомплектование. Увольнение прекратили. Уехавших в отпуск стали возвращать. Вернулся и Владимир Ляпунов.

В пятницу утром он прибыл в Ленинград. Пароход уходил в крепость вечером, и в его распоряжении оставалась уйма времени. «Пойду в Эрмитаж», — решил Ляпунов и, сдав вещи на хранение, зашагал по Невскому.

— Наумов? — спросил Ляпунов, увидев перед собой командира с двумя средними. Друзья нежно поздоровались и начали забрасывать друг друга вопросами.

— Помнишь? — спрашивал один.

— Помню, — говорил другой.

Они вспомнили Москву 1921 года, Крутицкие казармы, Спасскую заставу, походы на рынок за воблой, пшенную кашу без масла и соли...

Ляпунов и Наумов познакомились в мандатной комиссии, при разборе их заявлений, когда они поступили добровольцами во флот. Потом они разошлись по разным училищам, разным кораблям, и случилось так, что все эти восемь лет ни разу не встречались.

— Комфут помнишь?

— Еще бы... «Наш бог — бег, сердце — наш барабан»... Да, поэзия, — сказал Ляпунов и улыбнулся. — Ты ведь тоже, помнится, тогда барабанно-булыжные стихи писал? — спросил Владимир. — Теперь пишешь?

— Нет.

— А против буржуев Пушкина, Тургенева и Льва Толстого с лекциями выступаешь?

— Не пишу и не выступаю, — ответил Наумов. — Знаешь, Володя, я часто думаю, — заговорил Аркадий Наумов, — ну посуди сам: хлеба не было, спали на голых досках, были разуты, раздеты, в животе всегда кошки мяукали, а ведь какой энтузиазм был у всех! Все куда-то стремились, за что-то боролись, а вот теперь не то, выцвело...

— Почему теперь не то?.. Почему выцвело? — спросил Владимир.

— Как-то все осело, будто смялось. Нет, не то... — повторил Наумов. — А то время не забыть!

— Проживем это, и тоже милым казаться будет. Но сейчас лучше!

— Помнишь, как в Симоновку бегали, как вагоны разгружали за восьмушку хлеба со жмыхом? — говорил Наумов. — А Пашку-гармониста помнишь?

— Кстати, где он теперь?

— Здесь он, в Ленинграде. Я как-то видел его в Смольном, — сказал Наумов и поморщился.

— Ну?

— Теперь не узнаешь его, забурел. Встретились мы, разговорились. Я ему о нашей старой жизни напомнил. Кое-что рассказал про наши порядки в отряде, а он мне вдруг ни с того, ни с сего бух: «Кислятины, — говорит, — в тебе, Наумов, много, задом, — говорит, — ты живешь, и шлаку в тебе пропасть». Так и брякнул: «шлаку»! Начальником стал, этакий, знаешь, идеологически выдержанный.

— Да где и кем он работает? — спросил Ляпунов.

— А ну его к бабушке!.. — отмахнулся Наумов.

Друзья помолчали.

— Хорошее время тогда было, — заговорил вновь Наумов. — Жили весело, о море мечтали...

— Вот и сбылось.

— Не совсем...

— Ты где теперь?

— Ничего, спасибо, служу... А ты? — спросил он Ляпунова.

— Штурмую, учусь, учу, готовлюсь в академию, партийной работы вдоволь.

— Нет, у меня не так. У меня иначе... Несправедливости много, — говорил Наумов. — С людьми не считаются, третируют. Партийные вмешиваются в технику, поучают. Вот нандях... — и он стал жаловаться.

Владимир смотрел на узкое, точно из фанеры вырезанное, лицо Наумова. И лицо это с тонким, острым носом производило впечатление чего-то засушенного, завялого, скучного, словно надломанная ветка по весне.

Механик Наумов относился к той категории людей, которые в лучшем случае могут зазубрить то, чему их когда-то учили в школе, но в самих этих людях нет ни дерзания, ни

творческого огня. Они пустоцветы и своим трудом ничего не оплодотворяют. Таким был и Наумов. С трудом он учился, с трудом получил знания, с трудом сдал экзамен, а сдав его, выкинул книги, а с ними дальнейшее намерение учиться.

Наумов говорил баском, и когда говорил, то видно было, как дрожал его клинышком выступающий над воротником кителя кадык; при этом всегда хотелось за него откашляться.

— А ты действительно переменился, — сказал Ляпунов.

— Похудел? — спросил Наумов с интересом.

— Я про другое. Парень ты был боевой, гремящий, а теперь не тот.

— Почему?

— Да вид у тебя такой, словно ты на весь мир в обиде. Вроде как с зубной болью в мозгу....

— Вот ты говоришь, в академию готовишься, а мне когда? — будто не поняв упрека, продолжал Наумов. — Наряды, вахты, машина, и команда еще подобралась!.. Работы и забот столько, что и передохнуть некогда.

«Бывают лица, — думал в это время Владимир, — чьи внутренние качества, все их намерения и поступки проглядывают в них, как филигранные знаки на деньгах».

Владимир смотрел на своего старого товарища и в каждом его слове, движении, во всем его облике чувствовал фальшь.

— Знаешь, — сказал Ляпунов при прощании, — Павел, пожалуй, был прав...

— В чем дело? — словно приготовясь к удару, спросил Аркадий.

— Ты действительно с грузом... со шлаком...

Наумов вместо ответа пожал плечами. Они помолчали и, холодно пожав друг другу руки, расстались, и расстались чужими.

XXVI

Владимир Ляпунов, назначенный штурманом на поход, явился к Петру Ржанову и был определен им в мандатную комиссию. Одновременно с материальной частью проверяли и сортировали команду. Людей отбирали строго. Сперва отложили безукоризненных, потом всех тех, у кого в послужном списке не было видимых дисциплинарных «пятнышек». После тех, у кого были крохотные, незначительные дисциплинарные пятнышки. Когда весь этот отбор произвели и на него

ухлопали уйму сил, времени, а людей все-таки не хватало, а люди требовались, а взять их было негде, — тогда стали перебирать всех сызнова.

Теперь многих из тех, кого раньше отложили в сторону, стали возвращать на свои места. Возвращали пока под вопросом, под крестиком, минусом и другими условными знаками.

Сперва вернули всех, у кого было либо одно пятнышко, либо одна царапинка. Потом всех тех, у кого имелись и пятнышко и царапинка. Еще позднее и тех, у кого были помяты бочки. И, наконец, стали возвращать всех тех, у кого были и ссадинки, и царапинки, и помяты бочки. И перебрав так каждого на разного рода строевых, медицинских, мандатных и прочих комиссиях, оставили всех, за исключением явно больных, но таких было мало.

Днем и ночью шли погрузочные работы. Уголь, нефть, продовольствие, боеприпасы — все грузилось одновременно. Если судить по количеству принятых на борт запасов, — а по этому судить можно, — поход предстоял большой. Но толком никто ничего о походе не знал. Все видели, что корабли готовятся выйти в море, а куда, насколько — гадали; причем в поход собирались всего два корабля бригады линкоров, остальные обшивались на зиму.

Поход во всех возбудил горячие толки. Одни говорили, что это пробная мобилизация, другие — зимние маневры Ленинградского военного округа, и уверяли, что со дня на день на флот должен прибыть Ворошилов. Иные таинственно говорили, что тут дело посложнее и что дело без огонька не обойдется... Были и такие, которые уже видели дымы неизвестных кораблей, а прошлой ночью, например, 19 ноября, видели на горизонте силуэты этих кораблей.

Все эти разговоры имели место не только на баке, где можно и покурить и соврать, отчего подобные разговоры на флоте называются баковыми. Бак — это такое место, где и ветра много и право фантазировать самим уставом не возбраняется. Но различные догадки строили не только на баке, а и на противоположном конце корабля — на корме.

В небе похолодало. Залив стал стынуть и затягиваться льдом. В воздухе закружился снег и, опускаясь на землю, внимательно и щедро окутывал ее, оголенную и застывшую, своим нарядом.

Началась зима, а у Ржанова была самая горячая походная страда. Его касалось все: и люди и машины. Петр был

очень занят и уставал. На рассвете в изнеможении он добирался до своей каюты и, не раздеваясь, засыпал, приказывая разбудить себя к подъему флага. А через три часа сна, приняв холодную ванну и выпив крепкого кофе, он снова принимался за дела.

И Михаил Александрович Кузнецкий изменил обычный темп своей жизни. Теперь он был деятелен, интересовался каждой деталью. Его обыкновенно спокойное, даже равнодушное лицо вдруг ожило. Он выслушивал доклады, проводил совещания, давал указания, спускался в машины, кочегарки, посещал башни, посты управления, и всюду и везде сам, только сам. Было видно, что на командира бригады пахнуло походным ветром, а это было единственное средство, от которого он весь преображался.

— Я почем знаю, — отвечал он командирам на их расспросы о походе. — Вы, братцы, хоть догадки строить можете, а у меня и это право отнято. Трудитесь, увидим... — говорил он.

И все трудились, и трудились красиво. И только Затылкин попрежнему ходил хвостиком за командиром, тоном отеческого наставления давал советы и ничего не делал сам.

— Не горячись, Петр Емельянович, полегче... Послушай меня, старика: поскользнешься на апельсинной корке... Жаль мне вас, ох, жаль!

Петр уже не обращал внимания на Затылкина и смотрел на него, как на балласт в трюме, необходимый для остойчивости корабля. Пока эта остойчивость требовалась для бригады, во избежание лишнего крена между Петром и Кузнецким, и Петр временно мирился с этим балластом.

Все, что попадало в руки Затылкина, все пропадало, словно падало на дно, и дно илистое.

— Только Затылкину не поручайте, — утопит! — говорили о нем командиры. — У него юркнет на дно и только буль-буль, а там и пузырей не увидите, засосет.

Итак было с любым делом.

— Подожди, пусть отлежится. Всякая бумага должна свой срок выдержать, — отвечал он командиру бригады на какое-то его требование. — Посмотрим, Миша, может, она совсем и не нужна, без нее обойдемся. Не торопись...

Однажды даже Кузнецкий не выдержал его докучливых нравоучений и разругал Затылкина так, что только пух полетел.

— Подать немедля, немедля! — сказал он, но так сказал и взглянул на Затылкина, что тот сразу весь съежился и только сумел проговорить: «Есть!»

После этого разговора Затылкин ушел домой и больше на корабль не показывался.

XXVII

В последние и самые напряженные дни подготовки к походу Затылкин сказался больным. Ссылаясь на болезнь сердца, он слег в постель, никого не принимал и даже не подходил к телефону. Пузырьками, порошками и баночками, выставленными на туалетном столике, Затылкин, как минными полями, огородил себя от дел службы, забот и обязанностей. И все эти склянки имели для Затылкина какую-то магическую силу. В их зоне он был спокоен от возможного нападения.

Вечером 21 ноября, накануне выхода кораблей в море, Затылкин прохаживался по комнатам своей огромной кронштадтской квартиры. Иногда он осторожно высматривал из-за портьеры на улицу или лежал в своем кабинете, заставленном книгами, — книгами, судя по слою пыли, лежавшему на них, не один год стоявшими без употребления.

В квартире, принадлежавшей некогда отцу его жены, корабельному инженеру, умершему еще до революции, жило теперь трое: сам Затылкин, его жена и теща. Детей у них не было, но было два пуделя — предмет умиления старого скептика.

Затылкин, будучи еще мичманом, в 1890 году, когда ему минуло двадцать лет, познакомился на петергофской даче с молодой девушкой, дочерью известного в свое время кораблестроителя Миляровского. При содействии своего тестя Затылкин пристроился в штабе и этим ходом, «ходом коня», как он говорил, ловко обогнал многих своих сверстников по службе.

Затылкин принадлежал, как он не без гордости признавался в этом, к сфере кадровой передовой интеллигенции старого флота.

Все в этом доме было в прошлом: и люди и вещи. Вещи, казалось, говорили: «Да, было время. Мы видели немало...» Старое кресло, теперь любимое место молодого кобелька Джакоя, стояло важно, несколько отвалившись назад, и всякий раз раздраженно скрипело, когда на нем чесались собаки. А бывало... Бывало на нем сиживали Рождественский, Куропаткин, Небогатов и в последнее время сам Роберт Николае-

вич Вирен... Письменный стол с медной инкрустацией, видимо, тоже мог порассказать кое-что о людях первой четверти XIX века. Михаил Викторович Затылкин с каким-то благоговением рассказывал о его прошлом.

— Вещь эта, — слово «вещь» произносилось им всегда тихо, с расстановкой, сочно, чтобы собеседник мог почувствовать все значение этой вещи, — вещь эта некогда принадлежала самому Михаилу Михайловичу Сперанскому, — говорил он. — Она досталась нашей семье по наследству. — Впрочем, последние слова Затылкин говорил только особо доверенным лицам.

Фотографии, устаревшие модели судов, такие, как «Мономах», «Наварин», «Сысой Великий», «Дмитрий Донской», громоздились на полках и шкафах. Различные безделушки, устаревшие сувениры — все в один голос утверждали: «Да, стояли и будем стоять, потому что нас здесь ценят, берегут и потому, что мы нужны для души...» Эти слова принадлежали, конечно, Затылкину, и вещи только повторяли их вслед за своим хозяином.

Слоняясь из комнаты в комнату, останавливаясь перед вещами, напоминавшими ему прошлое, Затылкин иногда разговаривал с женой.

— Аннушка, — говорил он тихо, обращаясь при этом к вещи-символу, — помнишь Рождественского?

— Ну как же!

— Вошел в доверие двора, преуспел... Да, большой барин был, — продолжал Затылкин, меланхолически смотря на фотографию. — А глуп. Я повторяю, Анна, не подумай плохо, глуп, как адмирал, человек он все-таки был предобрый.

И супруги от вещи переходили к людям, вождям бесславной эпохи русско-японской войны.

— Я не осуждаю их, нет, — философически рассуждал Затылкин, — не осуждаю из чувства самого простого человеческого — ну, как тебе сказать? — чувства человеческой порядочности.

— Ах, Миша, — вздыхая, говорила жена, — многого мы не знаем.

— Именно, не знаем, — подхватывал Затылкин. — Эпоха, затерло... Еще неизвестно, как покажут себя новые, теперешние, все эти товарищи.

— Как твой Ржаной? — спросила жена, по какой-то сложной связи мыслей придя именно к тому вопросу, который, она знала это, теперь занимал ее мужа.

— Красный академик наш? Он все жмет. Им, видишь ли, не нравится, что сделали мы, старики, и они теперь все это перелицовывают. Это, видишь ли, то же сукно, тот же фасон, только с другой стороны. Кстати, ты была в пошивочной?

— Ну, когда же, Миша? Я не выходила из дому.

— Право, Анна, я просил, кажется несложно... Послала бы Дуняшу.

Они помолчали.

— Обедать будем? — спросила жена тоном примирения.

— Пожалуй... Позвони Стелькину, пусть придет, шалопай. Только, ради бога, не давай ему водки. Он решительно тупеет от нее, — сказал Затылкин, — а нам еще нужно некоторое время продержаться. Меня будут спрашивать — я не встаю...

Пока жена звонила по телефону и Дуняша накрывала стол, Михаил Викторович разговаривал со своей любимицей Джулли.

— Ты у меня умница, девочка, — говорил он тем нежным голосом, которым нередко разговаривают с грудными детьми, когда их тетешкают на руках. — А ты, сорванец, матрос, погоди, дурак! — грозил он кобельку, отстраняя его от себя. — Пошел на место!

Пудель прыгал и лизал его лицо.

— Поди! Отстань! Аннушка, где плетка? — кричал Затылкин полусерьезно. При этих словах пудель виновато отходил и ложился на старое кресло. — Аннушка, а что будто у Джулли глаза тусклые? Она нездорова?

— Не замечала, Мишенька.

— Степан принес косточек?

— Вчера — да, сегодня — нет.

Степан был кок кают-компаньской столовой, и на его обязанности лежало снабжение собак большого, хотя и бывшего, начальника объедками.

— Я ему, стервецу, приказывал каждый день приносить свеженьких!

— Ах, Миша, он вовсе не обязан это делать.

— Ты, мой друг, не встревай в службу, я тебя много раз просил об этом, пожалуйста.

Они опять помолчали.

— Ты решительно отказываешься от похода? — спросила жена, отвлекая мужа от раздражения.

— Зачем? Скажи, зачем мне, на зиму глядя, лезть в море? Я походил — хватит. Неужели, Анна, я не заслужил покоя? Пусть-ка они, молодые, попрыгают...

— Но может быть что-либо интересное готовится?

— И-и... пустое! Дойдут к берегам Дании... Ну, выйдут в Северное и обратно.

— Ужель до сих пор не прояснилось?

— Представь себе, что нет.

— Странно! Держат в секрете — и от кого же?.. С вами, мой друг, обращаются решительно, как с нижними чинами.

— Ах, Аннушка, эта таинственность некоторых забавляет. — Михаил Викторович прошелся по комнате и, заглянув в окно, продолжал: — Ты знаешь, кого я на-днях встретил?

— Кого?

— Михаила Серафимовича Преображенского.

— Да что ты?! Он жив?

— Как же! В больших чинах теперь, академик. Новые крейсеры типа «Ушакова» строит. Помолодел, посвежел, хотя и побелел, как аист. Спрашиваю: «Куда вы, Михаил Серафимович?» — «В бригаду».—«Зачем?» — говорю. «Приглашен,— говорит, — на поход».

— И он идет? — спросила жена.

— Идет.

— Вот видишь, а ты...

— Ему теперь нельзя отказываться — он партийный.

— Кто?! — с удивлением воскликнула супруга.

— Преображенский. Ты знаешь, он вступил в коммунисты.

— Что ты говоришь?!

— Да, да, Аннушка! Преображенский, эта старая крыса, член партии! И знаешь, кто его рекомендовал? — спросил Затылкин улыбаясь.

— Кто же?

— Этот подобрыш, беспризорник... Ну, как его?.. Я тебе говорил о нем... Егорка их... приемный сын Ржанова...

— Боже мой, какой ужас!..

— Да, милая, таковы времена, ничего не поделаешь... Так вот, — продолжал Затылкин, помолчав, — спрашиваю я его, шутя: «Учить, — говорю, — или учиться?» — «Учиться и учить», — отвечает. «Да будто в ваши годы, — говорю, — поздно уж об этом помышлять, о душе, — говорю, — подумать пора...» А он, ты знаешь, что он мне ответил? «Вы, — говорит, — Михаил Викторович, извините меня, большой эгоист...» Кажется, телефон, Аннушка? — спросил Затылкин, прислушиваясь.

— Нет, Миша, тебе показалось.

— «Да, вы, — говорит, — Михаил Викторович, большой

эгоист, все по себе судите...» Экий ты, думаю, вредный старикашка...

— Сколько ему теперь?

— Наверное, лет на пять он меня старше. Ну, конечно, звонит кто-то! Поди, послушай, Аннушка.

— Ты дома? — спросила жена.

— Я у врача. Нет, я дома, но не встаю! Решительно не встаю, — сказал Затылкин. И он расслабленной походкой, прижимая рукою грудь, направился к постели и лег.

— А Михаил Викторович болен, — говорила жена жалостным голосом. — Кто его спрашивает? Ах, это вы, Петр Емельянович? Лежит... Плохо, совсем плохо... Замучилась я с его сердцем. Благодарю, передам.

И тон голоса Анны Владимировны с каждым словом становился все звонче и приветливее. Этим голосом она обычно разговаривала со своими старыми подругами о прожитом. Этим тоном она осуждала знакомых, это был голос и тон периода их жизни в Петергофе, тон, которого терпеть не мог Затылкин. «Ты не барышня, слава богу, полно тебе егозить», — говорил он ей всякий раз.

— Непременно, Петр Емельянович, непременно, — говорила она, суетясь у аппарата. И на ее пухлых щеках показались от волнения искорки красных жилок. — Понимаю. Послужной список на командира Стелькина и проект приказа... Всего вам доброго, передам, — и она чуть-чуть присела.

— Как бы не так, дожидайся! — сказал Затылкин, когда жена походкой откормленной уточки вошла в кабинет. — Ты знаешь, Анна, почему я еще заболел? — спросил Затылкин, вставая с постели.

— Ты понял, кто звонил?

— Понял, понял, — ответил недовольный Михаил Викторович, увидя раскрасневшееся лицо и тот особый блеск ее глаз, значение которого он так хорошо знал и которого тоже не мог терпеть.

— Твой звонил, — сказала Анна Владимировна.

— Ну, знаю, чего ты радуешься?

— Я радуюсь? Откуда ты взял?

— Что ты так раздула перышки?

— Странный ты какой... Вечно эти твои подозрения... Что ты хотел сказать? — спросила жена сухо.

— Заболел я еще и потому, чтобы спасти Анатолия от грозящей ему беды.

— Ты думаешь, его не снимут?

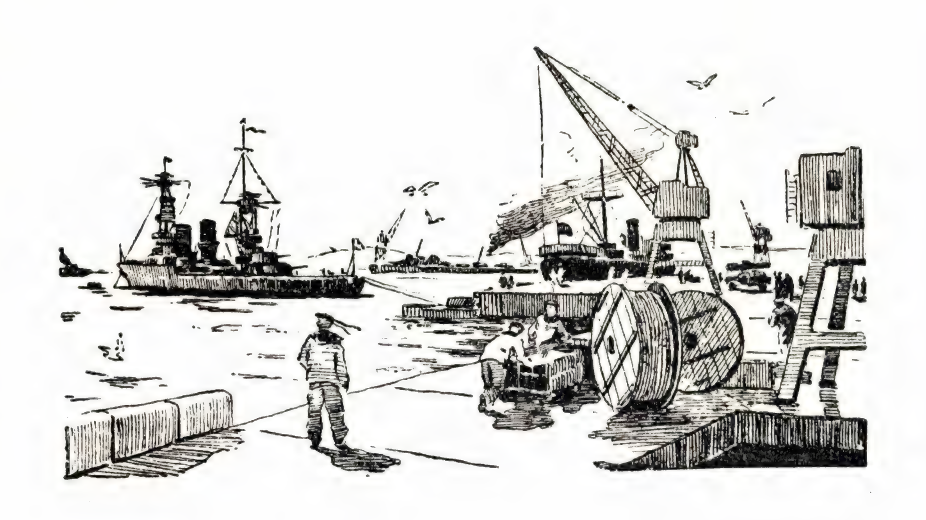
— Не успеют... А сняли бы. Я всегда говорил тебе, Анна, что мы, штабисты, аппарат, вещь значительная... Что он говорит? Уходят? — спросил Затылкин.

— Уходят.

— Ну, и добрый путь!.. Вот, кажется, и Анатоль пришел.

Михаил Викторович прошел к буфету, быстро налил себе крошечную рюмочку водки, выпил ее, закусил ломтиком хлеба с килькой и, прохаживаясь, замурлыкал себе под нос любимый романс: «Ямщик, не гони лошадей...»

Михаил Викторович хорохорился больше на людях, и хорохорился для того, чтобы сохранить к себе хотя бы видимое уважение. Но в душе он давно уже сравнивал себя с затонувшим «Рюриком», тем «Рюриком», на котором он плавал когда-то к берегам Индии и который теперь все еще продолжал торчать на ближнем рейде, загораживая собой фарватер и мешая проходу судов.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Лыков работал на маленьком заводе, притулившемся против Яузской больницы.

В один из дождливых дней октября его вызвали в заводский комитет. В тесном помещении ленинского уголка теснились рабочие и, слушая докладчика, завтракали. Красный директор говорил о пятилетке промышленности и сельского хозяйства и преодолении вековой отсталости, о росте колхозного движения, правом оппортунизме, проблеме спецов и победе социализма над капитализмом.

— Эй, орел, тебе тут казенное... — сказал секретарь завкома Захару, подавая письмо. — Да смотри, новых походов не затевай, выгораживать не стану, — добавил он строго.

Это был упрек за побег в Севастополь. Два года тому назад Захар Лыков намеревался поступить добровольцем в Черноморский флот. Тогда ему по малолетству отказали, и Захар вынужден был вернуться. Но море и корабли произвели на юношу такое сильное впечатление, что, казалось, он навсегда был потерян для земли.

Когда Захар прочел на конверте: «Рабочему-токарю Захару Лыкову», сердце его забилось сильно-сильно.

— Мне, давай, спасибо, — произнес он и поспешно выбежал из завкома.

«Неужели то, чего я так долго ждал, здесь?» — думал он, проходя по двору, ища уединенного места. Он поднялся в давильный цех, прошел мимо визжащих и брызжущих маслом и стружкой станков, спустился в электромеханический. Машинально заглянул в свой ящик на верстаке, порылся в нем, захлопнул его и спустился в штамповальный цех, где ухали тяжелые прессы. Захар пробежал по другим цехам, сквозь визг и грохот и снова очутился во дворе. Захару хотелось с кем-нибудь поделиться своим счастьем, своей радостью.

«А может, ничего этого нет, — подумал он, но сейчас же возразил самому себе. — Да есть, есть, вот оно, тут!» — и, распечатав конверт, стал читать письмо.

«Уважаемый товарищ! Ваша справка о здоровье, образовании и то, что Вы комсомолец и рабочий, — писал ему начальник учебного отряда Балтийского флота, — говорит о том, что всем нашим требованиям Вы, кажется, удовлетворяете, и потому Вам надлежит прибыть в Ленинград».

Захар читал быстро, проглатывая слова, улавливая их смысл, чувствуя, как все сильнее и сильнее кружится у него голова.

— Ур-ра!.. — закричал Захар, поднявшись с места, и, размахивая письмом, опрометью бросился через двор.

— Капитан, капитан, — услышал он позади себя, но, не оборачиваясь на зов, проскочил контрольную будку, перебежал через дорогу и пустился вниз по Тетеринскому переулку к дому.

Дома никого не было. Захар на свободе снова прочитал письмо. «Уважаемый товарищ!», «Уважаемый товарищ!» — повторил он несколько раз и стал ходить из угла в угол по комнате, лавируя между мебелью. «Аверочкин, какая чудесная фамилия! — говорил Захар. — Какие люди моряки, милые, внимательные! Сам начальник учебного отряда Балтики, всей Балтики, мне, простому рабочему, мальчишке... Правда, хорошему, умному, — добавил мысленно Захар, — с прекрасным сердцем и чистой душой, любящему флот, управляющему шлюпкой, знающему лоцию, токарю-металлисту... Но все же, по правде говоря, еще мальчишке — пишет письмо». Чувство это было приятно Захару. Но в эту минуту он подумал о несправедливости цехового мастера, который не прибавлял Захару разряда. «Да за свою работу, — рассуждал Захар, продолжая прохаживаться, — мне следовало бы полу-

чать по пятому, да что я говорю по пятому, — по шестому, если не по седьмому...»

Он остановился у окна. За оградой сада товарищи играли в мяч.

«Пойти сказать Пашке?» — подумал Захар, но, решив, что лучше не говорить до времени, снова подумал о заводе, и досада вновь овладела им.

«Точил же я в смене с его сыном, который получает по восьмому, — вновь заговорил сам с собою Захар. — И коленчатые валы точил, и сложные штампы... Разве это закон, а?» — говорил он, словно видя перед собой мастера.

«Нет штатов, апосля, погоди, молодоват», — сказал самому себе Захар за мастера его словами.

«Знаю я ваши семейные шашни», — отвечал Захар мастеру и был глубоко оскорблен его несправедливостью.

А за окном, несмотря на накрапывающий дождь, слышались удары мяча и крики. Порой в небо свечою взлетал мяч, обивая желтые мокрые листья.

«Не умели ценить — ладно, — думал Захар, прислонившись лицом к запотевшему стеклу, рисуя на нем якорь. — Не умели — так пеняйте на себя».

И он перенесся в думах туда, в будущее, когда они узнают о нем много хорошего, необычного. «Они могут понимать только таких, как Сенька Корягин...» Сенька был его сосед по станку, деревенский паренек, который трепетал и заискивал перед цеховым мастером. Захар не раз замечал его хитрость. Сенька передразнивал мастера, смеялся над ним, но умел казаться почтительным. Мастер часто ставил Сеньку в пример Захару, хотя тот работал неряшливо.

«Где им понять возвышенные натуры, сильных духом!» — думал Захар, прислонившись к стеклу, в задумчивости ломая листья мирта, стоявшего на подоконнике в банке, — мирта, которым мать Захара так гордилась.

Потом он снова вынул письмо и прочитал его несколько раз, не только прочитал, но и понюхал его. И Захару показалось, что от письма и конверта пахнет морским воздухом.

«Мать будет ругаться», — подумал он, смотря на оборванные листья, и стал подбирать их с полу.

«Расчета брать нельзя. Узнают, не отпустят, — сказал он себе. — Пойдет буза, разговоры, советы... Восемь рублей туда, да восемь обратно... на всякий случай», — добавил Захар, вспомнив о своем возвращении с Черного моря. Об этом воз-

вращении — в вагонах и под вагонами — вспоминать было обидно и неприятно. «Куда угодно, но сюда я больше не вернусь. Пойду... Куда?» — спросил он сам себя и, не ответив на вопрос, вышел на улицу.

Захар направился на Землянку, сел в трамвай и поехал к Красным воротам. Вскоре он очутился на Каланчевской площади. «Зачем? — спросил он себя. — А просто так, хочу посмотреть, подышать дорожным воздухом, быть ближе к морю...»

Проводив два поезда и насладившись сутолокой, Захар в полночь вернулся домой.

— Ничего не случилось, — ответил он домашним, обратившим внимание на его возбуждение. — Вечно вам что-то кажется.

Быстро раздевшись, Захар лег спать, но не спал, а все думал и думал о том, что его ожидает.

Утром, когда получасовой гудок завода призывал к труду, Захар еще лежал на прорванном диване. Ему снилось, что он был там... Там корабли, море... Это был полусон, полубред.

«Как он долго гудит, надо спешить, — думал Захар. — Это уже последний гудок. И сейчас он отвалит от пристани».

Сознание говорило Захару, что он дома, что вот сейчас его разбудит мать и что он не там, а здесь, у себя дома. Он еще глубже забрался под одеяло, стараясь не слышать шагов и разговоров, и хоть еще одно мгновение побыть там. Это удалось.

Захар видит, как отдают швартовы, как за кормой вспенилась вода и корабль уходит.

— Вставай, вставай, Захару́шка, уж без четверти, опоздаешь, — сказала мать.

Захар быстро оделся, умылся и, с полотенцем на шее, стоя глотал завтрак. Без двух минут он уже был на заводе. Закрепив супорт, смазав центра и направив струю эмульсии на резец, Захар запустил станок.

Как трудно в семнадцать лет скрывать свое счастье, свою радость!.. Счастье проглядывало во всем: в улыбке, в горящих глазах, в движениях, возбужденной речи и нехитром напеве песенки, которую он напевал. «Ты, моряк, красивый сам собою...» — пел он, и ритм песни, и вращение станка, и завывание трансмиссий, и скрежет резца, и вьющаяся желтосиняя стружка стали — все совпадало с ритмом его сердца. А сердце говорило: «Нынче здесь — завтра там!»

Душа Захара была исполнена какой-то неистощимой, все прибывающей и все подчиняющей себе силой. И эта сила подымала Захара все выше и выше, где приятно кружилась голова. С этой высоты все, что было в прошлом, казалось Захару бледным, маленьким, и, наоборот, ярким, радостным все то, что было там, в его будущем.

В этот день, 2 ноября 1929 года, Захар больше обыкновенного посещал курилку, копался в кладовке, работал в кузнице, хотя это ему и не требовалось.

«Дело со здешним миром покончено», — говорил он своему другу, ученику слесаря, Ванюшке. Говорил потому, что Ванюшка умел хранить тайну. «То, что я знаю, то — мертвый гроб», — говорил про себя бывший беспризорник. И только ему мог доверить Захар свою тайну.

Прибрав станок, сложив инструменты, чертежи и написав записку, в которой просил его не искать, Захар после обеда покинул завод. А вечером, надев свою форму Общества спасания на водах и сказав домашним, что уходит дежурить на Москву-реку, уехал на вокзал.

II

Мальчишка с тонкой шеей, восторженным лицом, в подержанном, но вычищенном бушлате, купленном матерью на Сухаревке, новых суконных брюках и мичманке ходил по перрону. Он ходил вдоль состава большими шагами, с небольшой качкой из стороны в сторону. Это был Захар Лыков.

Лыков не раз наблюдал за тем, как ходят моряки. Ему нравилась их упругая, качающаяся походка, которая вызывала в его воображении валкую палубу корабля во время шторма. Его привлекало к себе все, что было свойственно морю и морякам. Если он слышал охрипший голос военмора, то думал, что это от виски и ветра. Захару Лыкову нравился густой табачный дым, собственно, не дым, а трубка, с накусанным во время тревожных вахт мундштуком, такая бывалая трубка... И он приучал себя к трубке, но каждый раз, когда курил трубку, у него кружилось в голове, было дурно, и он отбрасывал ее прочь. Лыкову нравилось, как стояли моряки, широко расставив ноги, и, хотя это было не совсем удобно, он усвоил и эту привычку.

Иногда, увидев идущего моряка, он шел за ним через всю Москву. Шел, наблюдал за ним, подражал ему и втайне завидовал. Моряки представлялись Захару Лыкову совершенно

другими людьми, другой, высшей человеческой породы. Море, его просторы, его таинственный рокот, его штормы — все это указывало Лыкову на психологическую связь между морем и моряками. «Это другая стихия, и все, из чего складывался моряк, должно иметь свойства этой стихии», — думал Лыков. «Видимо, моряками рождаются», — сказал Захар однажды и убедил себя в том, что и он рожден для моря.

Захар продолжал ходить около паровоза, оглушаемый его свистом и шумом. Обстановка навеяла ему воспоминания о концерте, который он слушал недавно в консерватории. Тогда исполняли симфонию Корчмарева под названием «Паровоз С-15», его же «Комсомольскую чехарду» и музыкальную ораторию «Посвящение Октябрю» Шостаковича. Музыка очень напоминала собой вокзальный гам и грохот.

«Ловко схвачено, что и говорить», — подумал Захар Лыков, вспоминая свой спор с отцом, который защищал Чайковского, Глинку, Бородина и прочих буржуев и который очень непочтительно отзывался о новой музыке, не понимая ее монументальности. «О чем тогда говорил лектор на культпоходе? — вспоминал Лыков. — Ах, да, он говорил об оптимизме, подъемности, целеустремленности этих произведений. Что эта музыка испепеляет привычные рецепции нашей гедонистической концертности. Рецепции?.. Гедонистической?.. — повторил Захар Лыков, не понимая значения этих сложных слов. — А насчет «испепеляет» — это верно», — решил он.

Потом лектор говорил о диференциальной установке, компонентах, инструментальной предметности, плакатности композиции, музыкальном материале и «идеологических, профессиональных эффектах», деформациях звука и звуковом монтаже. Эти слова тоже были непонятны Лыкову, но они ошеломляли его, как и сама музыка. От слов и музыки пахло цементом, веяло железными конструкциями, сталью, и потому было здорово.

Гудки, сутолока, крики, мелькание белых фартуков пронырливых носильщиков, разнообразие лиц, костюмов, звуков — все это энергичное оживление бодрило Захара.

«Что же делать?» — спросил он себя, не достав билета. «Надо уехать», — шептал голос. «Но как?» — спрашивал он себя и снова бежал к военному коменданту, к начальнику вокзала, но все было напрасно — мест не было.

Лыков вернулся к поезду. Его притягивала к себе эта железная махина, дышащая паром и силой. В памяти про-

мелькнули Крым, Кавказ, его поездки на пароходах и поездах без копейки денег.

В голове Захара моментально созрел план, и он стал ждать условий для осуществления своего плана.

— Еле догнал, — говорил он, переводя дыхание, ощупывая свой карман, — обронил, я из четвертого... конечно, нет... — убеждал он себя и других, чувствуя, как жар, вызванный ложью, залил его щеки.

Морская форма, видимо, внушила доверие проводнику, и он пропустил Захара в вагон. В четвертом оказалось случайно место, и Лыков не без волнения занял его. «Вот сейчас войдет настоящий пассажир», — думал он и вздрагивал при каждом хлопанье двери.

В Клину Захар купил билет, и дело устроилось.

— Из отпуска, браток? — обращаясь к Лыкову, спросил сосед по полке.

— Да, служить... — ответил Лыков. Он хотел сказать, что едет служить добровольцем, но заволновался и не сказал. Боясь новых вопросов, он отошел поодаль и долго стоял у окна, смотря в темноту.

Захар Лыков был взволнован. Обстоятельства его отъезда из Москвы были не совсем обычными. Ни на заводе, ни дома, ни в комсомоле — нигде не сказал он о своем отъезде. Лыков пропал из города вдруг, словно сквозь землю провалился. Только здесь, под стук колес он впервые почувствовал себя как будто виноватым и впервые ощутил, сколькими невидимыми нитями он был связан и сколько этих нитей оборвал сразу.

Москва, дом, завод, пионеротряд, комсомол, профсоюз, товарищи и... она. И все это ради моря. Вначале Лыков удивился тому, с какой легкостью и безрассудством он совершил все это. «Я уезжаю навсегда», — сказал он себе накануне спокойно. А сегодня, когда он повторил это «навсегда», то ужаснулся значению этого слова.

Захар Лыков понимал, какой переполох произойдет там, во всех этих точках, с которыми он был связан невидимыми нитями и которые спутаются теперь. Он представил себе в лицах все эти сцены, но это занимало его недолго. На смену пришло другое сознание. Сознание какого-то превосходства над всеми теми, кто остался там, в прошлом.

«Навсегда», — повторил он про себя. «Навсегда», — поддакивали колеса поезда. «Навсегда», — отвечало им все его существо. Внезапность отъезда, таинственность исчезновения

даже понравились теперь ему своей романтичностью. И Лыков увидел себя в другом, лучшем свете. Все, что теперь его волновало, было будущее, то новое, неведомое, но непременно хорошее, во что так верил, чего так ждал и чему он не мог не верить в силу своей молодости.

III

Всю ночь Лыков перебирал в памяти события своей маленькой жизни. Тревожное чувство овладевало им все больше и больше по мере того, как он удалялся. Он испытывал необходимость объясниться, оправдаться... «Оправдаться? Но перед кем?» — спросил он себя.

Лыков стоял на пороге неизвестного будущего. Это будущее уже свершалось. «Что будет там?» — спрашивал он себя и опять несколько робел от этого вопроса, и все же, несмотря на то, что он робел, он всем своим существом стремился к волновавшему его неизвестному будущему.

Подумав о доме, Лыков вспомнил все то, что было связано с ним, и ощутил холод. Он был далек от того чувства, которое вызывает в душе разлука. Дом его с постоянно натянутыми отношениями между отцом и матерью, грубыми ссорами, дикими сценами, бесстыдными словами взаимных оскорблений — все это всегда унижало его. Захар Лыков пытался найти хоть маленькое чистое воспоминание. Оно было, конечно, но где-то далеко-далеко, когда он был еще совсем крохотным. А потом нет, потом, как он стал помнить себя, больше ничего там не было.

Захар подумал о заводе. Здесь было дружно, весело, просто, главное — просто. Лыков отдавался работе — любой работе — с энтузиазмом. Он подолгу любовался какой-нибудь выточенной им деталью. Было приятно сознавать, что эта деталь сделана им, что она скрепляет его с чем-то большим, сложным, с тем огромным процессом труда, в котором принимают участие миллионы людей. Как он гордился в такие минуты своей замасленной блузой, в карманах которой торчали штангель, кронциркуль и другие инструменты! Как гордо произносил Захар каждый раз слово «рабочий»!

«Я — рабочий», — говорил он и чувствовал себя принадлежащим к могущественному классу, который выстрадал, подготовил и свершил величайшую революцию в мире.

Все, что делал Захар Лыков, он делал всегда хорошо. Ему никогда не приходилось прибегать к различного рода ухищре-

ниям, чтобы как-нибудь скрыть дурное качество своей работы. У него всегда выходило точно, чисто и «тютелька в тютельку», как говорили в цехе. Лыкову доставляло особое удовольствие обращаться к самым точным измерительным приборам, хотя обстоятельства сдачи и сама работа этого не требовали. Спросит бывало Захар мастера: «Насколько убавить?» — «А с гулькин нос, — ответит мастер, или: — с птичий волос...»

Что означал этот «птичий волос», какую величину, — никто не знал. Но были и другие измерения...

Деньги — их было мало, но их хватало. Да они и не имели для него и его товарищей особого значения. Булка, кусок колбасы, новая книга, иногда театр, кино, кружки. Но больше всего Захар Лыков любил речку и свою настоящую морскую шлюпку, которую он оборудовал с друзьями.

«Как все это было хорошо!» — невольно подумал он, припоминая свои походы по Москве-реке, Оке, Волге.

— Нет, было здорово, весело, дружно! — воскликнул Лыков.

В цехе ли, в клубе ли, на спортивной площадке, в большом и малом — всегда проявлялся добровольный, честный труд.

Всеми руководило лишь одно сознание, что своей деятельностью люди закладывают основание тому новому, прекрасному, что будет некогда принадлежать всем. И все, что делалось, делалось без оглядки и без корысти, всей душой и в полную силу. Каждый поступок и каждая мысль измерялись одним мерилом — коммунистической моралью. Она умещалась в одном слове, и словом этим было: «Ленин».

Завод и комсомол были для Захара Лыкова и школой и университетом. Здесь формировалось его мировоззрение, и здесь он очищал свое сознание. Захару казалось, что весь мир раскинулся перед ним, как необозримый океан. Океан бывает... но Захар видел перед собой лишь безбрежную даль. И какое дело доверчивой юности, каким бывает океан?! Вперед, и вот он устремился в эту житейскую даль.

Лыков вспомнил своих друзей, Товарищеский переулок на Таганке, Дом комсомола в этом переулке, где был клуб и где он играл в «Синей блузе». Вспомнил, как в одно из сентябрьских воскресений, в праздник Международного юношеского дня, он исполнял в пьесе главную роль и как познакомился с девушкой.

В антракте, на сцене, она подошла к нему тихая, стройная и, протянув свою тонкую руку, энергично пожала руку Заха-

ра. «Вы хорошо ведете свою роль», — сказала она тогда. Захар смутился и покраснел. Потом ее образ преследовал его. Он видел эту девушку во сне, думал о ней, искал с ней встреч и сказал себе, что это «она». С этого памятного воскресенья все сделалось иначе: все казалось лучше, чище и ярче.

Лыков представлял ее себе такой нежной, милой, необыкновенной и удивлялся тому, как она могла до этого существовать без него, без его любви.

Он хотел сделать для нее что-нибудь необыкновенное, чтобы доказать ей свою любовь. «Почему она не потребует от меня такого?.. Я бы все для нее мог сделать. Пусть потребует», — говорил он себе и ждал. Но так он думал лишь тогда, когда не видел ее, а увидев, робел, боясь подойти и заговорить с ней.

Воспоминания уводили Лыкова дальше. Он вспомнил школу.

Тогда в школе больше агитировали, организовывались, иногда бастовали, предъявляя своим «шкрабам» ультиматумы. В классах-группах философствовали о новом и старом, так как мир делился на эти две большие половины. Говорили о диктатуре пролетариата, выносили постановления учкома о смене директора и учителей. «И с нами, учениками первой ступени, считались, — думал Захар. — Считались потому, что мы были новое, и оппозиции не допускалось».

Еще раньше, в девятнадцатом-двадцатом годах, была другая школа, совсем другая... Днем занятия пластикой, ритмикой, фехтованием, музыкой и всем тем, что должен знать каждый человек, независимо от его специальности. Вечерами бывали спектакли в Большом. Привернет бывало Захар к валенкам коньки, зацепится крючком за буфер шестнадцатого номера трамвая, и готово — он уже на месте. Коньки и проволока прятались им в урну у служебного подъезда, так как кататься на коньках было строжайше запрещено. Спрячет Захар свои снасти и, как ни в чем не бывало, является в уборную. Запах грима и нафталина действовал на него всегда возбуждающе. До начала спектакля — резвые игры за сценой, а после третьего звонка — трепетное ожидание своего выхода среди пыльных кулис. Настороженность выпускающих, маленькие репетиции со своими «дамами», сдержанное дыхание и шопот — все это кружило голову и приятно волновало.

Потом увертюра, ярко освещенная сцена и темнота зрительного зала, где сотни дыханий сливались в одно, как дыхание сказочной головы великана из «Руслана и Людмилы».

«Вот и все», — говорил себе Захар, перебирая в памяти ушедшее. Воспоминания его обрываются. Он хочет подвести итог, оценить прожитое, но не находит слов, и на ум приходит только одно: «Весело!» «Да, было весело там, в театральном училище».

Лыков что-то забыл и пытается вспомнить это забытое. На память приходит совсем маленький эпизод: еще одна школа, где его обучали музыке. Ноты, гаммы, этюды... Это, конечно, схема, но во всем этом были тысячи деталей. Детали эти состояли из людей, эпизодов, времени. «Как все это уместилось в моей жизни? Как?..» — спросил себя Захар и не ответил.

Близко или далеко были расположены все эти события друг от друга, но они были соединены между собой какой-то логикой и составляли что-то целое. И это целое имело свое значение. «А имело ли?» — спросил себя Лыков. «Да, надо мной упражнялись, забавлялись там...» — и Лыкову нехорошо и больно сделалось на душе. «А теперь? Что теперь?» — спросил он себя. «Станция?» — спросил кто-то проводника, и этот вопрос сбил Лыкова, не дав ему ответить, что же было с ним теперь.

«Жизнь», — подумал он.

— Разъезд, — ответил проводник, возвращаясь с площадки.

«Нет, жизнь», — возразил Лыков на его слова.

Поезд, чуть остановившись, снова тронулся и стал набирать скорость. Проводник, проходя мимо Захара, пронес с собой струю холодного, сырого воздуха, и Захару стало холодно.

«Да, пожалуй, это мой новый разъезд», — подумал Захар. И под стук колес, которые соглашались с этим, и легкое потрясывание, свернувшись в комочек, под самое утро, заснул.

IV

Шагали по мокрым улицам, не разбирая луж, обрызгивая друг друга. Захар Лыков смотрел на прохожих, на снующие автомобили, на работу художников, оформлявших фасады домов к празднику XII Октября, и думал: «А я принят во флот! Теперь я моряк настоящий», — и радость разливалась в его сердце.

Лыков шел в середине строя. Впереди идущий постоянно сбивал ногу и отставал. Захару приходилось то и дело подталкивать его в спину.

Тамбовских, калужских, рязанских, нижегородских парней вели из Второго флотского экипажа в Кронштадт, к пристани, на водолей. Многие были одеты во все изношенное и потому выглядели неприглядно.

Лыков, уезжая на флот, принарядился, как на праздник, во все лучшее. Многие же — в большинстве это были крестьяне — были одеты в отрепье. «Зачем? — говорили они. — Все равно казенное дадут».

— Как им не стыдно ходить в этом рубище! — говорил Захар. Эта их крестьянская практичность оскорбляла Захара. Оскорбляло его и то, что возвышенное чувство, которое он испытывал к флоту, не только не было оценено, не только не было выделено, а, напротив, он чувствовал, как смешивается и растворяется во всей этой массе. Было и другое чувство. Захар приехал из Москвы. Шел добровольно. Он был рабочий, моложе их всех и, как ему казалось, выше их всех по своему развитию.

Новобранцы шли вдоль улиц, мимо чугунных оград, задумчивых, полураздетых ноябрьским холодом лип Летнего сада. В аллеях парков и бульваров было пустынно. На мокрые скамьи, кружась, опадали запоздалые листья. Ветер рябил мутные лужи на дорожках.

— Раз, два!.. Раз, два!.. — подсчитывал ногу старшина, то забегая вперед, то отставая от строя.

«Так вот ты какой — северный красавец, город Петра, Пушкина, город революционных бурь!» — думал Захар. Он смотрел на дворцы, величественные соборы, широкие проспекты.

— Ух, красота!.. — невольно воскликнул Захар, глядя на величественную Неву, на ее гранитные набережные, у которых стояли ледоколы и еще серые, низкие, незнакомые ему корабли.

У причалов кипела жизнь. Что-то грузили, беспрестанно тарахтели лебедки, по сходням сновали люди, и мощные руки кранов вздымали к небу, как игрушечные, паровозы и ставили их на рельсы. На всем был отпечаток энергии и деловитости.

«Настоящие, морские», — говорил Захар Лыков, смотря на корабли, жадно дыша пахнувшей с реки влагой и запахом тросов. Он любил этот смолянистый запах, который казался ему запахом моря.

«Хорошо, чудесно, очень хорошо!..» — произносил он мысленно, чувствуя, как учащенно бьется его сердце.

— Раз, два — левой! Левой! — раздавалась команда. — А ну, подтянись! — покрикивал старшина.

Партия новобранцев вышла к мосту лейтенанта Шмидта. Неподалеку дымил грузовой пароход-водолей. Справа за Невой, растворяясь в дожде, показался шпиль Петропавловской крепости. Вдоль берега Васильевского острова и Балтийского завода виднелись подводные лодки. Дальше за ними высился огромный корпус строящегося линейного корабля.

Нерасторопно, спотыкаясь и падая на сходнях, задевая котомками за поручни, подымались парни на борт. На водолее было много людей, приведенных из других экипажей. Одеты они были так же пестро, рвано и грязно.

«И все они уже немолодые», — глядя на них, думал Захар.

Люди, которые были с Лыковым на борту и которые плыли с ним в Кронштадт, не только не радовались тому, что попали сюда, как радовался Захар, а, казалось, были равнодушны ко всему и даже унылы. Когда старшина приказывал им что-нибудь, парни вяло подымались со своих крепко сбитых, неуклюжих, как и они сами, сундуков и, сделав несколько шагов, снова усаживались.

Вскоре пришла еще партия, потом еще. И на водолее стало тесно. Люди толпились на палубе, в проходах, среди вещей и тюков. Кубрики и каюты давно были переполнены. Лыков протискался на корму и, забравшись на бухту пенькового троса, с любопытством рассматривал окружающих. На борту водолея, несмотря на тесноту, было тихо. Происходило ли это оттого, что на людей действовала непривычность обстановки, окружение посторонних людей, но все молчали. Быть может, это происходило от сознания какой-то жалости, какой-то потери своего прошлого, которое уходило теперь, как уходил берег за кормой парохода.

— Гляди, военный, с пушками! — раздался молодой восторженный голос. Парень стоял на рострах, указывая рукой на стоящий в устье Невы миноносец.

Все бросились на корму посмотреть диковинку. Произошла давка, во время которой Захара сильно прижали к леерам, и он, не удержавшись, упал за борт.

Произошло замешательство. Те, кто находился на самой корме, кричали о том, что упал человек. Задние, не зная о падении и привлекаемые возбуждением, напирали еще сильнее, желая поглядеть. Многим грозила та же участь, что и Захару.

Водолей шел полным ходом мимо морского канала, выходя в залив. Пока выяснили, в чем дело, пока дали знать на

мостик и пароход, сперва застопорив машину, развернулся, упавший за борт Захар находился уже далеко за кормой.

Моряк в мичманке, сидевший возле спасательной шлюпки, словно кошка, вскочил на спардек, мгновенно разделся и, прыгнув за борт, поплыл в направлении Захара, толкая перед собой спасательный круг.

— Держись! — кричал он, скрываясь за волной и брызгами.

— Держись! — кричали люди, находящиеся на борту, точно в их крике было спасение упавшего.

Моряк, бросившийся на помощь, быстро плыл саженками. Расстояние уменьшалось, но преодолевать его было трудно. Захар обессилевал; он уже не мог подымать рук из воды, все более погружаясь под тяжестью набухшей одежды. С отчаянием смотрел он в сторону берега и парохода, и ему казалось, будто пароход и берег не приближаются, а уходят от него.

— Держись! Даю круг! — кричал пловец.

Он уже мог разглядеть бледное молодое лицо, полузакрытое мокрыми русыми волосами, и большую усталость в глазах.

Еще толчок, еще усилие... Толкаемый круг сбивает волна и течение. Он уходит в сторону, кружится на месте, его не легко вести перед собой.

— Держись! — кричит моряк, напрягая свои силы. Он бросается к черному предмету, покачивающемуся на воде в расстоянии сажени. Он хватается за него. Но это оказался только бушлат.

Вокруг простиралась мутная масса воды, рядом тонущая тряпка, но человека не было. Вдруг дикий и злобный донесся с водолея крик. Этот крик заставил моряка взглянуть влево. Там, в нескольких метрах от него, вынырнул человек. Он высоко закидывал голову, что-то кричал, пытаясь поднять руку, но на это не хватило сил, и он снова погрузился.

Лыков безуспешно пытался скинуть тянувший его ко дну костюм и не мог. Он боролся через силу. Потом он почувствовал, что кто-то схватил его и словно поднял, и, понадеясь на эту неведомую ему силу, он доверился ей, ослаб и потерял сознание. Когда он очнулся, руки его опирались на спасательный круг, а сам он находился внутри него. Захар запомнил дружеский голос: «Ничего, друг, держись!» — и больше ничего. Очнулся он в Кронштадте, на пустом водолее, не зная имени спасшего его человека.

V

В огромном пустом помещении стригли новобранцев. Асфальтовый пол был густо устлан волосами. Те, кого обстригли, подходили к столу, где сидел человек в белом халате.

— На что жалуетесь? — задавал он всем один и тот же вопрос и, не дожидаясь ответа, ставил в списке отметку и выпроваживал полураздетого парня в другую дверь. В новом помещении людей переодевали. Каждый, сняв свое платье и связав его в узелок, надевал на себя казенное. Это была грубая холщовая рубаха и такие же штаны, от которых густо пахло коноплей. Роба была настолько груба, что могла свободно стоять на полу, словно она была сбита из фанеры, и настолько велика, что многие в ней утопали.

Надев яловочные сапоги, подвернув штаны и рукава, надвинув на самые уши бескозырку без лент, парни выходили во двор.

Было поздно. Старшины, наблюдавшие за стрижкой и переодеванием, торопили новичков. Длинный трехэтажный кирпичный корпус казармы уходил в глубь двора. Вдоль фасада был проложен деревянный тротуар. Двор был вымощен крупным булыжником. Тусклый свет качающихся фонарей, маленький палисадник у первого крыльца да гриб часового у входных ворот составляли тоскливую картину Кронштадтского училища.

Жилое помещение представляло собой большую комнату, где в два ряда стояли некрашеные железные кровати. В головах кроватей возвышались рундуки, выкрашенные в цвет металла. Посреди комнаты стоял накрытый кумачом стол. На нем лежали брошюры и журналы. К стене против зеркала была прикреплена винтовочная пирамида, и несколько поодаль большая вешалка. Окна в комнате были высокие, в мелких переплетах рам. В простенках висели портреты членов Политбюро и полотнища кумача со словами привета новичкам, готовящимся стать на трудную вахту морской службы.

Кое-как сбив соломенный матрац, чтобы не скатиться с этого бугра, Лыков застелил его новой простыней. От матраца пахло нафталином.

Новобранцы толпились у стола, за которым сидел старшина, и задавали ему бесконечные вопросы. Молодых интересовало все то, что касалось морской службы, предстоящей учебы, питания, формы, увольнения и внутреннего распорядка их жизни. Старшина отвечал лишь на те вопросы, которые не тре-

бовали ответа — почему, а говорил о том, как следовало делать. Образ действия и поведение людей старшина разделял так: все то, что предусматривалось уставом, инструкциями и расписаниями, нужно было делать. Все то, что не предусматривалось уставом, инструкциями и расписанием, делать было нельзя.

— Слушайте дудку, — сказал старшина смены. — Дудка есть приказание, а приказание нужно выполнять быстро. — Он продемонстрировал звук дудки и, отдав команду: «Построиться!» — повел новичков на камбуз.

...Прошло несколько дней. Новички, следуя во всем дудке, скоро обвыкли, несколько обмялись и вошли в рамки внутреннего распорядка, хотя действия многих еще очень напоминали собой грубую холщовую форму, в которую они были одеты. В смене собрались разные лица, из различных областей страны. Разговор людей делился чаще всего на две части: либо говорили о том, что было, — но об этом говорили мало, — либо о том, что будет, — и об этом говорили больше. Вечерами, после работ и занятий, если не было собраний, люди, стоя за рундуками, писали письма, читали книги, приводили в порядок свои вещи.

Постепенно стали проявляться способности и таланты каждого. Один играл на баяне или гитаре, другой рассказывал или пел, или просто умел почесать язычок и потешить товарищей своими прибаутками. Из разнообразной массы парусины, стриженых голов, одного возраста и одинаковых условий жизни стали обнаруживаться характеры, лица и натуры. Люди сами собой отбирались в небольшие группки близкого знакомства, товарищества и дружбы. Началась служба... Собственно, не сама еще служба, а лишь подготовка к ней. Жизнь потекла, одинаковая и разная, со всеми своими обычными существенными интересами. Интересы эти складывались из учебы, службы, работы, нарядов, увольнений на берег по заведенному порядку, хорошее вперемежку с плохим, от дудки до дудки.

В предутренней мгле будил горн. Вскочив с коек, бежали во двор на гимнастику. По мерзлой земле звонко стучали подбитые железом сапоги.

— Бегом!

— Шагом!

— На месте! — раздавалось со всех сторон.

Фигуры, одетые в черные шинели, то приседали, то подпрыгивали, то бегали по огромному двору училища. Через чет-

верть часа все стихало. Курсантов уводили в помещение. После умывания, заправки коек, уборки и чистки оружия вели на завтрак.

Захар Лыков после напряженного дня занятий, работ и нарядов постоянно испытывал чувство усталости и голода. После многочасовых строевых занятий на заливе, после напряженных упражнений с винтовкой и восьми часов классных занятий есть хотелось страшно. А Захар Лыков рос, был молод и здоров.

Как только раздавался сигнал ко сну, он с огромным удовольствием ложился на свою койку с приятной мыслью о том, что завтра утром он снова получит вкусный завтрак, потом обед, потом ужин и вечерний чай. Так он ложился, думал и засыпал.

В половине восьмого утра все училище строилось, но уже с книгами, и направлялось колонной в классы, потрясая город песнями.

— Смирно! — командовал ротный командир своим звонким, энергичным голосом. — Отставить! — произносил тот же голос, но уже без особого подъема и воодушевления. После этого шли поправки.

— Поднять головки! О чем загрустили? Там, на правом фланге! Морошкин! Васильев! Веселей смотреть! Анютин! Что живот выпятил? Убрать!.. Смирно!.. И замри! И не шевелись! И не дыши! — сыпал команду небольшого роста, кругленький, плотный командир роты, улыбаясь глазами. Он казался, несмотря на свой небольшой рост, гибким и упругим, как хрящ.

— Астахов! Коноплев! Что там у вас?! — называл он фамилии, немало удивляя молодежь своей памятью.

«Вот глаз, ну и память!» — думал Захар, следя за командиром из задних рядов, и, рассчитывая, что его не увидят, полез в карман за платком.

— Лыков! После оправитесь! — услышал он в то же мгновение.

Лыков был изумлен и даже пожал плечами.

— Я вот поежусь, поежусь!.. — сказал командир, шутя грозя ему пальцем.

VI

Лыков заступил часовым у задних ворот училища. Эти ворота иногда назывались «черными». Они открывались только тогда, когда привозили дрова, уголь или выбирали мусор. Лыков вступил на пост в третью смену.

Была темная ветреная ночь. В водосточных трубах стучали капли. Они били то звонко, то глухо, то часто, то медленно. С винтовкой наперевес Лыков прохаживался от мусорного ящика до дверей камбуза, прислушиваясь к таинственным шорохам.

Лыков был одет в морскую шинель с одним рядом пуговиц посередине, затянут ремнем; бескозырка его была надвинута на брови — так было и теплее и красивее. Он чувствовал себя в форме ловко и удобно, и на душе было особенно звонко и легко.

Это была первая вахта Захара, и свою обязанность он исполнял с чувством, как государственный долг. Иногда Захар останавливался, поворачиваясь к ветру, подставляя ему навстречу свое лицо. Иногда ему казалось, что кто-то подсматривает за ним из-за угла или, пригибаясь к земле, крадется. И Захар представил себе картину жестокой схватки с финскими фашистами, которые напали на него. Но он отражает их нападение, убивает одного, другого, третьего, и сам, будучи смертельно ранен... «Нет, просто ранен», — поправляет он себя. «Ранен, но защищает пост. Потом Захар выздоравливает. О его героическом поступке узнают на заводе, в комсомоле, узнает начальник морских сил, узнает Аверочкин, и она, девушка из Дома комсомола. Все они приветствуют его, и это Лыкову приятно, но он скромно принимает их благодарность», — думает о себе Захар в третьем лице.

«Если б действительно так случилось? Ну что ж, я бы им показал!..»

Лыкову хочется щелкнуть затвором. «Ведь это же настоящее, боевое», — думает он и, не вытерпев, все-таки поворачивает затвор.

Где-то далеко в гавани, на кораблях пробили склянки. Одна, вторая, третья. Пробили не сразу, вразброд, на разные голоса.

«Уж семь часов. Как скоро», — подумал Захар, и ему стало жаль того, что через час придет смена, а в этот час, пожалуй, ничего уж особенного не случится.

«Ах, как хорошо быть одному среди ночи, среди ветра, молодым, сильным и защищать их!» — думал Лыков.

Вокруг попрежнему было тихо, где-то долбили по железу капли. Небо на востоке пожелтело, и стало заметно светлее. Потом заиграл горн, засвистели дудки, загорелись огни, в окнах замелькали фигуры, и все наполнилось деловым утренним шумом.

— Пост принял, — проговорил Ермаков.

— Пост сдал, — сказал Захар Лыков и побежал в столовую за расходом, чтобы закусить и бежать на занятия.

Кирпичная облупившаяся стена сарая, деревянные ворота, два ящика для отбросов, груды угля и поленница дров.

— Пост принял... — повторил Ермаков, горько улыбаясь. «Зачем и кому нужна эта игра в службу? — думал он, поеживаясь от холода и завидуя тем, кто проходил сейчас за воротами в теплые классы. — Стой здесь у помойки! Какая глупость!»

— «Если ранят очень больно, отделенному скажи...» — выговаривал запевала проходившей мимо ворот роты.

«Шестая», — подумал Ермаков. Это была любимая песня минеров, и пели они эту песню каждый раз.

— «Хором, хором, вместе, дружно... Нам во всем согласье нужно», — подхватила другая рота, проходя вправо со своей песней.

И не успела затихнуть она, как новый порыв голосов оглушил Ермакова.

— «Наш паровоз летит вперед...» — звонко и весело пел молодой голос. И десятки людей так же дружно и весело подхватили припев и, энергично отбивая шаг, прошли мимо туда же, вправо.

— И — раз!.. И — два!.. Левой! Левой! — командовал кто-то охрипшим голосом. — Оторвем, орлы! — выкрикнул тот же голос покровительственно, и через несколько шагов послышался слабый голос запевалы.

Но новая волна приближающихся голосов захлестнула далекий уходящий напев своей мощью.

— «Там, в за-ли-ве, где мо-ре си-не и го-лу-бая даль, где прозрачны из-ло-мы ли-ний, как го-лу-бой хру-сталь...» — пела новая, проходящая мимо смена, отрывисто и по складам произнося каждое слово на мотив бойкого фокстрота.

«Радисты», — подумал Ермаков, узнавая смену, невольно любуясь их складной выправкой.

Радисты прошли. А новая смена, приблизившись к воротам, заглушила голосами прежнюю песню и, сбивая с ритма впереди идущих, мешая им ногу, неистово кричала:

— «Товарищу Крупской, женщине русской, мы, краснофлотцы, шлем свой привет!..»

Из соседних училищ, казарм береговой обороны еще и еще выходили молодые краснофлотцы и, соревнуясь между собой, поощряемые своими командирами, стараясь перещеголять

друг друга, лихо пели. Издали уже нельзя было разобрать ни слов, ни мотива, и слышался только мощный, сплошной гул тысяч голосов, как выражение крепнущей силы.

Ермаков раз-другой прошелся около ворот, все еще находясь под настроением этих простых и мощных песен. Он погрузился в размышления, незаметно для себя опять перенесся в дом. Там были больны, там не было денег. И эти мысли тревожили его. Перед отъездом в Кронштадт они продали с женой кое-какие вещи. «Дома не было дров, окна так и остались незамазанными», — вспоминал он и ругал себя за это. «Нешто написать матери?.. Да нет, она не пойдет туда. Там косые взгляды, разговоры, упреки...»

Вокруг было грязно, мокро. На старой, времен Гангута пушке, валявшейся во дворе, сидела ворона и каркала, словно дразнилась. И на душе Ермакова от всего этого было тошно. Время тянулось медленно. Ему хотелось курить. А курить было нельзя да и нечего.

Два парня его смены, дежурившие на камбузе, вышли с бачками и лагунами на улицу и начали драить их закваской и песком. Они весело над чем-то смеялись, а Ермаков, глядя на них, удивлялся, как они могут так беззаботно хохотать, когда там, может быть... «Да ведь это у меня», — подумал он снова, вспомнив свою крошечную больную дочку и жену.

Он несколько раз еще прошел от ворот к дровам, поправляя на плече соскользавшую и мешавшую ему винтовку, твердя и варьируя неясный мотив. Порывы ветра, моросящий дождь, яркие огни при побудке, движение людей, их песни, пустынный двор— все окружающее рождало в его воображении музыкальные образы.

— Па-рам, па-рам, та-та-та-та... — напевал Ермаков. Потом, внезапно встрепенувшись, подбежал к мусорному ящику, прислонил к нему винтовку и, вынув из кармана шинели нотный блокнот, быстро и решительно стал писать в нем.

Из окна строевой части пишущего дневального заметили и громким стуком в окно желали отвлечь его от неположенных занятий. Ермаков не слышал угрожающего стука, с увлечением продолжал писать, не замечая подбежавшего к нему дежурного.

— Что вы делаете! — проговорил тот испуганно. — Как смеете?! Какой смены? Как фамилия?

— Я? А что? Я написал кое-что... удачно... Маша будет очень рада... Вы понимаете... — и Ермаков хотел было что-то рассказать дежурному, но тот резко прервал его:

— Вам пропишут, товарищ... Разве можно?!. На посту!.. — говорил дежурный, вытянувшись перед Ермаковым. — Вас приказано снять, — добавил он и покачал головой.

— Пожалуйста, — ответил Ермаков и зашагал за дежурным.

— Отставить! Стойте на месте! Придет разводящий — тогда.

— Хорошо, хорошо, я подожду.

Ермакова сняли с поста и «проработали». Сперва «проработали» на смене, потом «проработали» на ротном сборе, во время вечерней поверки. Говорили о нем много, долго и «продраили», как выражались товарищи, «с песочком».

После всего Ермакову дали три наряда вне очереди и снова поставили у задних ворот.

— Безалаберный парень, — сказал кто-то. И репей-прозвище прицепилось к нему. С этих пор Ермакова в смене стали звать по-новому: «Безалаберный».

VII

Дружно и споро работали моряки «Совета». Оглушительный металлический лязг третью неделю потрясал корабль. Беспрерывный стук пневматических молотков, шипение воздушных шлангов, треск и гуд электросварки на рострах, на борту, под килем и в трюмах раздавались дотемна. Лишь на короткие ночные часы прекращалась работа в доке. После неистового шума, крика и беготни становилось вдруг необычайно тихо, и эта тишина невольно клонила всех ко сну. Но и в ночные часы продолжалась жизнь. В партийном коллективе, где Веригин сидел над философией, далеко за полночь горел огонек. Глубоко в трюме, в центральном штурманском посту электрик Рябинин занимался своим изобретением, вычерчивая сложную схему обмоток. Устав и отложив свою работу, он принялся за отчетный доклад бюро о ходе ремонта в своем подразделении.

На рассвете, незадолго перед побудкой, он вышел из центрального поста и пошел в каюту младших командиров.

Под храп своих товарищей кочегар Добрушин по заданию военкома писал статью. Машинист Влас Травин, сидя на койке, читал толстую книгу о механике.

— Побудка скоро? — спросил Травин, зевая и захлопывая свой учебник.

— Должно, сейчас.

— Закурить есть? — спросил Рябинин, отдраивая иллюминатор.

За переборкой послышался чей-то громкий кашель, залилась дудка, и бодрый голос вахтенного выкрикнул:

— Вставать! Койки вязать!

Зажегся свет, застучали крышки рундуков, засопели, закашляли спросонья моряки, и десятки ног затопали над головой на верхней палубе.

— Эй, царство сонное, го-го-го!.. — закричал Ванин, растворяя дверь в каюту старшин.

— Чего горло дерешь?! Закрой дверь! — послышались недовольные голоса.

— Хватит! Новостей куча, а вы дрыхнете. Во-первых, завтра, чего бы вы думали будет завтра? — продолжал он, не обращая внимания на сонные лица.

— Что ж, кроме «жми-дави», будет завтра? — сказал Рябинин.

— Завтра мы выходим из дока, — и, хитро подмигнув товарищам, запел на мотив авиамарша: — Все выше, и выше, и выше... Идем в Ленинград, в Ленинград.

— Брось! — воскликнули в один голос старшины. А Ванин продолжал напевать.

— Мы будем стоять на заводе, заводе, заводе «Ноль три»!

И по тому, как он пел, притопывал и подмигивал, товарищи поняли, что это была правда.

— Откуда знаешь?

— Командующий сказал!..

— Нет, правда, Серега?

— Говорю — на «Ноль три»... Приказ...

Перед завтраком команду построили в среднем кубрике. Старпом Бусыгин в окружении других командиров подошел и поздоровался с командой.

— Товарищи, получена... — сказал Бусыгин и остановился. — Одним словом, завтра в шестнадцать десять мы выходим из дока, — продолжал он, смотря на левый фланг. — Дéла у нас много, но у нас есть впереди день и ночь и полдня завтра, и я думаю... командование надеется, — поправился старпом, — надеется командование и просит вас шурануть. Да, шурануть, и как следует, как вы умеете. — Он снова остановился, оглянул стоящих, как бы желая услышать возражения, но возражений не было, и он продолжал: — Так вот, товарищи, за эти часы надобно выбрать оставшиеся кончики и главным образом кончики по трюмам. — И при этих словах

старпом посмотрел на механика Аркадия Наумова. — Вам, Аркадий Степаныч, я поручаю лично проследить за ходом этой работы...

— Есть, — ответил Наумов, как всегда, громко, четко и, как всегда, подпрыгнул при этом на своих тоненьких ножках.

— Ну, вот и все, друзья, — сказал Бусыгин. — Теперь заправьтесь и давайте работать. — И он распустил команду.

Перед разводкой Добрушин, ответственный секретарь коллектива комсомола, собрал молодежь.

— Коротко, ребята, без болтовни, — обратился он к морякам-комсомольцам.— Аврал этот особый. Тут дело техническое.

— Знаем, — вставил кто-то.

— Знаешь, так помалкивай, — заметил Добрушин и продолжал: — Поэтому работать надо живо, а не тяп-ляп... Трюмным особо надо обратить внимание на кингстонные выгородки и междудонное пространство. А потому поступило предложение закончить работу вместо шестнадцати в двенадцать. Есть возражения? — спросил он строго и сам сейчас же добавил: — Принимается. Первое место в работе и показателях должно принадлежать нам — комсомольцам. Нет возражений?

— Нет.

— Правильно.

— Принимается.

— Пиши, — сказал он коку, бывшему секретарем. — Кто хочет говорить?

— Ясно, говорить нечего. Пошли, — заторопили моряки.

— Да, стоп! Закрой дверь! Еще дело есть.

Парни остановились.

— Материал в газету передавать мне лично, — сказал Добрушин.

— Ты где будешь?

— В трюме, не в коллективе же мне сидеть. Так вот, братва, в двенадцать часов будем рапортовать командованию...

— Дудка, кажется. На разводку!

— Ну, валите, топайте. Норматив один — отлично. Нет возражений? Голосую. Так. Единогласно. Разойдись!

VIII

Командир подразделения штурманских электриков Рябинин поднялся на палубу. В одной руке он держал кружку чаю, в другой — ломоть хлеба. Дмитрий Рябинин дожидался возвращения своих парней с берега. Он прошел под полуют и,

заглянув в журнал увольнений, увидел, что против фамилии его подчиненного стоял кружочек, перечеркнутый палочкой, что означало «нетчик». Вскоре пробили полночь, и Сухопарин, дежурный по кораблю, забрав журнал, пошел с докладом к старшему помощнику.

— Погоди, Сухопарин, сейчас мой вернется, — сказал Рябинин, удерживая дежурного.

— Дисциплину подклеивать... Нет, товарищи, на этом далеко не уедете, — заговорил Сухопарин намеренно громко, с расчетом на то, что командир корабля, находящийся в соседней каюте, услышит его голос.

— Ладно, подожди... Случай вышел...

— Время... Старпом вызывает... Не могу.

— Ну, чорт с тобой, иди докладывай.

— Напрасно волнуешься! Уж от тебя-то не ожидал...

— Вали, вали!..

В это время на юте послышались торопливые шаги и запыхавшийся голос спросил вахтенного:

— Пробили?

— Пробили.

— Опоздал?

— Дуй скорее.

«Мой, чортушка», — подумал Рябинин и успокоился.

Опоздавший электрик на руках скатился по поручням трапа и очутился сразу между двух старшин.

— Товарищ дежурный командир, краснофлотец Зосимов с берега вернулся, — отрапортовал он.

— Опоздали почему? — спросил Сухопарин строго.

— Да разве опоздал? Ведь только как пробило.

— Можете итти. Три минуты опоздания.

Сухопарин открыл журнал и через кружочек, перечеркнутый палочкой, стоящий против фамилии Зосимова, провел вторую черточку — наискось.

Рябинин взглянул на Сухопарина и покачал головой. Тот будто не заметил немого упрека и пошел вниз.

— И что за народ пошел — ни дружбы, ни понимания, — проговорил Рябинин. — Попадись мне кто из твоих во время моего дежурства, посмотрим, как ты запоешь. «Подклеивать», говоришь? Ладно, посмотрим... Это что еще такое, а? — спросил Рябинин, меняя тон и обращаясь к Зосимову. — Что это значит, я тебя спрашиваю?

— Сам не знаю, как получилось, — ответил оробевший электрик.

— Гулять надоело по берегу... Так это можно и поломать.

— Да ведь три минуты, товарищ старшина, я считаю...

— Разговорчики!.. Он считает, — перебил его Рябинин строго. — Он считает... Мне плевать на то, что ты считаешь. Думаешь, из-за такой мелочи разговаривать не стоит? А я тебя спрашиваю и буду спрашивать за каждую лишнюю секунду, израсходованную без разрешения. Подумаешь, он считает!..

Рябинину совсем не хотелось ругаться. Он был в добром настроении и теперь через силу, стараясь напустить на себя строгость, выговаривал своему подчиненному.

— Бери койку, живо, да чтоб духу твоего не было, слышишь? — сказал он Зосимову. — Иди, иди, завтра поговорим, — добавил он и пошел на шкафут *, где были им оставлены чай и хлеб.

На другой день в обед состоялось бюро комсомольской организации корабля. Вопрос был один: «Об опоздании комсомольца Зосимова с берега». Актив был в сборе.

— Ведет он себя хорошо, и технику знает хорошо и политграмоту хорошо, а тут — на, промах, — говорил Рябинин.

— Ты признаешь себя виновным? — спросил Сергей Добрушин.

— Конечно, признаю, опоздал, — ответил Зосимов.

В это время стали поступать предложения.

— Выговор дать! — выкрикнул Сухопарин.

— «На вид» — заглаза довольно, — предложил кто-то.

— Да ведь время-то пустяшное, всего три минуты, — произнес Зосимов.

«Вот дурень! Ну и дурень! — подумал Рябинин. — Все дело испортил! Ну, так теперь пеняй на себя», — и он так посмотрел на своего подчиненного, что Зосимов сразу замолк и съежился.

— Кто желает высказаться? — спросил Добрушин.

— Что ж говорить, дело ясное.

— Нет, товарищи, ясно не всем. Тут недооценка факта налицо. И говорить об этом нужно, — сказал Рябинин. — Дайте мне слово. По-моему, — продолжал он, — минута или шестьдесят — разницы никакой, и вот почему. Корабль есть боевой организм, так? Принцип его боеспособности основан на точности. Условия точности составляем мы — ты и я, понял? — говорил он, указывая пальцем в грудь тем, кто находился с ним рядом. — Техника и дисциплина — основа боевой подготовки.

---

* Место на палубе корабля между фок-мачтой и грот-мачтой.

Сочетание того и другого делает корабль боевым организмом. Я ему говорил... Нет, туго идет, — он постучал пальцем по столу. — Коли ты, садовая голова, допустишь неточность, выйдет перебой. Опоздаешь — смерть. Динамо-машина тебе вещь понятная. Слушай. Приказываю я тебе ее запустить, — запускаешь, а она напряжение ноль развивает. В чем причина? Туда, сюда, начинаешь проверять. Будто все в порядке. А машина на холостом ходу вращается — напряжения нет. Подающие механизмы, радио, освещение, гирокомпас — все без питания, все ни с места. Стрелять нужно, а вольтиков нет... Вид как будто нормальный, корабль плавает, трубы дымят. Вдруг атака. Трам-тара-рам, бум-бум, — Рябинин изобразил на своем полном лице тревогу, посмотрел по сторонам и продолжал: — Проходят три зосимовские минуты, и шунтовая обмотка является с берега. «Ах, неужели, — говорит она, — из-за такой мелочи разговор заводить?» Даже обижается. А корабля нет.

Рябинин предложил записать электрику Зосимову строгий выговор. Бюро так и постановило.

IX

Рябинин, так много мечтавший и говоривший о Москве и своей учебе в университете Ломоносова, узнав о гибели эсминца, «в ответ на аварию», как он писал в своем рапорте, просил командование зачислить его на сверхсрочную службу. Его оставили. Рябинин хорошо показал себя во время спасательной экспедиции. Он вытащил из залитого водой и нефтью машинного отделения «Благополучного» десять человек, а потом, как поговаривали, спас и Бусыгина.

— И ты, Митрич, не боялся? Не страшно тебе было? — спрашивали его товарищи.

— Надо... Нырял и выныривал, — отвечал Рябинин без всякой рисовки. — А страшно?.. Да я об этом тогда не думал.

И Дмитрий Рябинин был действительно удивлен тем, что об этом так много говорили. Говорили на собраниях, на сборах и писали в газетах.

— Как же ты их обнаружил? — спросил машинист, точа на бруске нож.

— Э-э, надоело! — отмахнулся Рябинин. — Говорил, хватит.

— Нам расскажи, мы не слыхали, — заговорили моряки, списанные недавно на «Совет».

Когда из баталерки принесли мешки с картофелем, все пошли на камбуз, расселись на скамейках и принялись «драить». На камбузе было тепло, пахло щами и мясом.

— Старшина, иди сюда, — пригласили Рябинина чистильщики картофеля.

Дмитрий примостился на скамейке, закурил и начал рассказ:

— Был я в аварийной партии. Это еще до большого шторма было. Ну, облазили всюду... Людей всех уже перетащили тогда. «Дай, — думаю, — еще на корму пройду». Прошел. Бросало здорово, холод собачий, промок до нитки... Да, чтоб не забыть. Еще в первый раз, когда мы с Гулаем и Егором Ржановым по отсекам пробирались, показалось нам тогда, будто кто стучит, но мы не обратили на это внимания. Так вот, пробираюсь я на корму и слышу опять стук. Будто кто по обшивке морзит. Думаю: «Может быть, человек пишет, знать дает?..» Только я в этой морзянке ничего не разбираю. Открыл крышку, заглянул в люк — темно, тихо, только вода булькает. Осветил фонариком и вижу — нефть лоснится. «Эге, — думаю, — цистерны течь дают». Постоял, послушал, ветер воет, слушать мешает, да и волна о борт колотит, — ничего не слышно. Отошел. Слышу, опять тот же стук с разумом.

Рябинин бросил очищенную им картофелину в лагун и ножом изобразил стук морзе.

— А положение с «Благополучным» вот какое было. Нос его выскочил на камни и задрался, а корма, надломившись, перегнулась и погрузилась под воду. Только часть машинного отделения, шпангоутов * десять, наружи, и то нефтью затопило. Значит, выходит, что человек под водой, задраился в отсеке и сидит — дожидается... смерти.

В круг сидящих принесли и поставили новый мешок картофеля. Моряки, загнув и расправив края мешка, сгрудились теснее.

— Перекурим это дело, — сказал Рябинин. Моряки закурили.

— Докладываю я нашему Тюте, — продолжал Рябинин (так называли Аркадия Наумова), — а он мне: «Пустое, — говорит, — показалось». А сам надвинул на себя зюйдвестку, да и в кают-компанию — греться. Я тогда Гулаю: так, мол, и так. Тот — Егору Кузьмичу, а старпом — командиру. Николай Николаевич поднялся, послушал, взял молоток и сам стал отсту-

* Ребра корабля, к которым крепится наружная обшивка.

кивать. Слышим: из-под воды отвечать стали, да бодро так, — обрадовались, значит, морские дети... Послушал командир корабля, да и говорит: «Там не один, а десять. Трое уже того... концы отдали. Задохнулись. А эти пока дышат».

Пристроили помпу, качаем. Вода не убывает. Одним словом, длинный разговор... Автогеном резать нельзя...

— Почему? — спросил марсовой.

— Да нефть же, — пояснили товарищи. — Такой костер заведешь, что спасу не будет.

— Попробовали корму подтянуть, — продолжал Рябинин, — волочили-волочили — ни с места. Тросы и перлини рвутся, как нитки. Что делать? Водолаза нового ждать — люди погибнут, а старый в лазарете, с раздробленной рукой. Николай Николаевич смотрит на меня да и говорит: «Есть одно средство...» — «Я, — говорю, — товарищ командир, готов». — «Опасно», — говорит. «Что ж, — отвечаю, — игра нормальная: один — десять...» Зосимов, толсто срезаешь, — заметил Рябинин, прерывая рассказ.

— Да она гнилая, — ответил электрик.

— Казенная, думаешь... Вот поедешь домой в отпуск, так посмотри, как мать чистит... Гнилая!.. Ну, начертили мне схему расположения горловин, — продолжал Рябинин. — Разделся, жиром смазался, фонарь на брюхе приделал да и пошел.

Моряки на время прекратили работу, и взгляды всех устремились на рассказчика.

— Ну?.. — послышалось со всех сторон.

— Что ж, спустился в первый отсек, воды в нем — по грудь, — говорил Рябинин, — нащупал дверь, отдраил, вошел и сейчас же закрыл. Во втором отсеке воды и нефти оказалось по пояс. Только вода сверху, через затопленную верхнюю палубу сочится. Жутко... Как вошел во второй отсек, сразу услышал голоса за переборкой. Гулко так, словно в бочке. «Э-э, — говорю, — братва, покойнички, попались!» Услышали меня эсминщики и такой аврал от радости подняли, что деваться некуда.

Слова насчет «покойничков» Рябинин придумал сейчас. Они как-то сами собой вдруг сорвались у него с языка, но вызвали всеобщее одобрение со стороны слушателей.

— Выходит, они думали, что они под водой? — спросил трюмный.

— Не перебивай, «думали»!.. Ясно, что под водой, когда отсек затонул, — прервал его машинист.

— Что дальше-то?

— Стал я их тогда по очереди через полузатопленные отсеки на свет выводить да в палубную горловину подавать, — пояснил Рябинин.

— Вытащил?

— А то как же!

— Дальше-то что, старшина?

— Ничего, вымылся, хлебнул двести граммов спирту, да и спать. Сам Николай Николаевич приказал подать... Так до самого шторма и проспал, пока на шлюпку не позвали.

На камбуз вошел вахтенный-рассыльный и передал Рябинину приказание явиться к старшему помощнику.

— Наверно, «фитилять» меня за твое опоздание будет, — сказал Рябинин, обращаясь к Зосимову.

Вытерев руки, поправив фуражку и вытянув из-за пазухи свою тельняшку, Рябинин направился в кают-компанию.

X

— Вот какие дела у нас на корабле творятся, — сказал Сухопарин, входя в партийный коллектив, протянув Веригину грязную ладонь, на которой лежала дюймовая гайка.

— Что случилось?

— Вот...

— Ну, вижу, гайка.

— Гайка... А знаешь, где я ее нашел? В кулисах паро-динамо.

— Так что ж? — спросил Веригин, все еще не понимая, в чем дело.

— Вредительство, — проговорил Сухопарин таинственно. — Я тебе говорю, что это вредительство... Прошлый раз я механику докладывал, что нашел в насосе болт, — говорил Сухопарин с воодушевлением, — а теперь — на — гайка. Чья рука, как ты думаешь?

— Ну, этого я не знаю.

— Враг орудует.

— Враг, думаешь?

— Непременно.

О гайке доложили военкому.

— Это надо хорошо проверить, — сказал комиссар корабля. — Ты, товарищ Веригин, присмотрись.

— Есть, товарищ комиссар, присмотреться.

— Я бы, товарищ комиссар, предложил, — заговорил Сухопарин.

— Что?

— Обсудить бы предложил это дело на секторе, среди коммунистов. О бдительности покалякать, мобилизовать...

— Покалякать не торопись... Как у вас дела в трюмах? — спросил комиссар, меняя разговор и строго глядя на Сухопарина.

— Все в порядке.

— Качество страдает, Сухопарин.

— Никак нет, товарищ комиссар.

— Вы принимали водоотливные механизмы?

— Я... и Аркадий Степаныч.

— Кто работал?

— Наши, Ванин и Томилин.

— Почему там оказались перекошенными прокладки? Веригин, тебе известно, что питьевые цистерны залило водой и что их снова надо перекрашивать?

— Известно.

— Как вы расцениваете это. Сухопарин?

— Кто-то вредит...

— Кто? Томилин или Ванин?

— Нет, не они. Из чужих кто-то орудует... Вот гайка опять же.

— По неряшливости своей не могли они допустить?

— Они, товарищ комиссар, у меня отличники.

— У тебя... Вот посмотри, — продолжал комиссар, указывая на отопительную батарею в своей каюте. — Три дня ковырялись, измазали всю палубу, а парит.

— Аппаратура, товарищ комиссар, старая, бьешься бьешься...

— Ой, Сухопарин, вечно у тебя шипит, парит и капает. Все, как видно, на сурике да на пакле держится. Нехорошо! Так вот, Веригин, — продолжал военком, обращаясь к секретарю, — пока никаких митингов не затевай, понимаешь?

— Есть, понимаю, товарищ комиссар.

— Теперь о завтрашнем дне, — сказал комиссар. — Завтра на политическом семинаре особенно надо остановиться на диверсионной деятельности кулаков. Побольше приведите примеров об их саботаже на хлебном фронте. Прошлый раз ты много путал, Сухопарин: «Мы... мы...» Помнишь, что ты говорил? Это неверно. Факт борьбы, классовой борьбы, надо оценивать трезво. И еще. Что ты там говорил? Твои угрозы по отношению «нерадивых», как ты называешь крестьян, являются линией не нашей, антипартийной линией, слышишь?

Сухопарин молчал.

— Поменьше теоретической отсебятины и любомудрствования. Уклоны левый, правый, — разберись в них сам прежде хорошенько, а потом говори. А с точки зрения политики это одна шайка-лейка.

Комиссар помолчал, достал «Правду» от 3 апреля с подчеркнутыми красным карандашом абзацами и подал ее Веригину.

— Товарищ комиссар, разрешите, — открывая дверь и останавливаясь на пороге, сказал дежурный по кораблю.

— Что, товарищ Рябинин?

— Телефон, политотдел вызывает.

Комиссар вышел из каюты.

— Томилин твой вчера на пятнадцать минут ухитрился опоздать, — сказал Рябинин Сухопарину. — Слышал?

— Слышу, — буркнул Сухопарин, не поднимая глаз, крутя в руках забитую тавотом гайку.

— Вот тут, дорогой, «подклеить» дисциплину трудновато, — говорил Рябинин. — А насчет того, чтобы вклеить суточек десять, — это можно...

— Так вот, товарищи, насчет завтрашнего дня, — сказал комиссар возвращаясь. — Твою группу, Сухопарин, я поведу сам. Ты свободен... Одним словом, — продолжал военком, — тебе надо поработать над собой, а пока я за тебя.

Трюмный старшина Сухопарин после обнаруженной им гайки сделался энтузиастом по борьбе с вредительством. С сосредоточенно-таинственным видом ходил он по кораблю, ко всему присматривался и все разглядывал.

6 апреля, в тринадцать часов, все доковые работы на «Совете» были окончены. Перед самым выходом из дока, когда вода с шумом стала наполнять камеру, растерянный Наумов выбежал из машины, требуя остановить впуск воды.

— Что такое? Что?! — спросил не менее испуганным голосом старший помощник Бусыгин.

— Понимаете... товарищ командир, Георгий Кузьмич, — говорил, еле переводя дыхание, механик Наумов, — в средних кингстонах * обнаружили...

Услышав про кингстоны, Бусыгин попросил инженера дока прекратить наполнение.

— Ну что там у вас? Что? — спрашивал Бусыгин.

---

* Клапан в подводной части корабля, служащий для доступа забортной воды.

— Понимаете. Устроили в кингстонах прокладку так, что при выходе из дока...

— Ну?

— Нельзя выходить, переделать все надо.

— Да что вы говорите? Кто же работал в кингстонах?

— Работал Сухопарин, я принимал. Да не принимал, а поверил, — сознался Наумов.

— Экий вы народ, право! — с укоризной проговорил Бусыгин. — Все дело смажете. Идите да справляйтесь живее.

Оказалось, что не только средние, а и кормовые кингстоны, в которых Сухопарин менял прокладки, нужно было заменить. Прошло полчаса, а в трюмах все еще копались. Команда негодовала на Сухопарина и трюмных. Старпом два раза спускался в выгородки.

— Может, что не так, Аркадий Степаныч, а? — спрашивал Бусыгин с беспокойством.

— Простите, Георгий Кузьмич, уж это дело я знаю.

— «Знаю»!.. На два часа выход задерживаете! Эти штучки я выведу. — И он ушел.

— Вы меня извините, инженер, — сказал Бусыгин, поднявшись на ют, обращаясь к начальнику дока. — Случай такой... Потрудитесь взглянуть своим глазом, пожалуйста, — убеждал он инженера.

Механика Наумова и Сухопарина старпом вызвал наверх. Сухопарин, измазанный маслом и суриком, стоял на палубе насупившись. Аркадий Наумов прохаживался, заложив руки за спину, нервно перебирая пальцами.

— При таких условиях я ни за что не отвечаю. Отвечать не могу, — уточнил Наумов.

— Разговорчики!.. «Отвечаю»! Нужно будет, так ответите. Подумаешь, штучки!.. Стыдно!

Начальник дока, пригласив рабочих, спустился с ними в трюм и, спустя некоторое время, поднялся, приказав продолжать впуск воды. Проходя мимо Наумова и Сухопарина, он посмотрел на их вытянутые лица и покачал головой. «Эх, шляпы!» — выразил его жест. Сухопарин и Наумов поняли это и поспешно скрылись в палубе.

И все же, несмотря на задержку, «Совет» вышел из дока на три часа раньше срока. Старпом Бусыгин получил благодарность командира корабля и флагмана. Поэтому Георгий Кузьмич был в благодушном настроении и много шутил. Про неприятность с кингстонами он скоро забыл. Механик Наумов

упросил Бусыгина не подымать дела о Сухопарине. О себе он вообще не упоминал.

— Знаете, Георгий Кузьмич, неудобно... Сухопарин член партийного коллектива, авторитет... неудобно. Не стоит.

— Да как же, батенька, такой чепухи не знать, как прокладка?

— Бывает, товарищ командир. Иной раз найдет затмение. И рад бы, да ничего не выходит, — оправдывался Наумов, услышав миролюбивую нотку в тоне Бусыгина.

— Аркадий Степаныч, этак вы скоро до царствия небесного договоритесь... Вздор! Хорошо, идите, некогда мне с вами судиться.

Дело, казалось, было замято. Наумов рассказал Сухопарину о своем разговоре со старшим помощником, и оба они успокоились. Но в корабельной газете «Ильичевке», которую редактировал Сергей Добрушин, появилась заметка под заглавием: «Лишних полтора часа в доке», и дело об аварии приняло другой оборот.

XI

За время докования накопилось пропасть грязного белья. Все вышли на палубу с огромными узлами. Корабль по выходе из дока ошвартовался у стенки морского завода. Назавтра ожидалась погрузка, и потому пока не делали большого аврала. Стирку обыкновенно проводили за доками, на северо-восточном берегу острова, возле корабельного кладбища. Кладбища, собственно, никакого не было теперь, если не считать двух остовов старых буксиров, приткнутых к берегу, нескольких проржавленных котлов, рубки подводной лодки постройки времен японской войны да всякого мелкого хлама. Но место это продолжало называться кладбищем, и звалось оно так чуть ли не с петровских времен. Правда, в двадцатых годах, уже после революции, здесь было много «покойничков», но часть из них «воскресили», а часть пошла на другие нужды.

— Не отставай, братва! — покрикивал боцман, перепрыгивая через лужи. — Приказано до ужина с бельем пошабашить.

— «Есть Россия — свободная страна...» А ну, давай, оторвем, — прерывая пение, сказал Рябинин, идя по рельсам узкоколейки и жонглируя своим узлом.

Воздух был теплый и душистый. Иногда из-за облаков выглядывало солнце, и тогда оно особенно ярко отражалось в воде залива, в висящих сосульках, мутных лужах и слепило своим блеском глаза. Все были оживленны и радостны. Радостны

оттого, что окончили тяжелую работу, оттого, что была весна, что предстояла стоянка в Ленинграде и что все были молоды и сильны и не могли не выражать своей радости жизни.

— «Есть Россия — свободная страна, всем защитой служит она», — запел Рябинин. Моряки подхватили песню, и она широко и свободно разлилась в апрельской лазури.

— Читал заметку про механика и Тюленя? Молодец Добрушин! В самый раз подцепил. Сухопарин теперь из себя выходит.

— Да, сказано крепко. «Неучам, — говорит, — на корабле не место».

— Не давай ему, не давай, — раздались голоса, когда вышли на берег.

— Я сам буду...

— Не давать — и все, — говорили моряки, обступив Власа Травина.

— Брось, Влас, мы за тебя постираем, а ты нам сыграй.

— Мне еще завтра на угле придется баянить, — возразил Травин.

— Завтра — другое дело, увидим, а сегодня валяй!

— Да неудобно, что вы, — говорил Травин, удерживая свою набитую бельем наволочку, которую у него отнимали.

Влас Травин был баянист. Играл он отлично. Команда любила его музыку и каждый раз освобождала от работ.

— Так мы сбегаем за баяном.

— Как хотите...

Рябинин подмигнул Зосимову. Тот развернул простыню, в которой был завернут футляр с инструментом, и все закричали, одобряя предусмотрительность Рябинина. Договор с баянистом был заключен такой: за крупную вещь — простыню — увертюра, за среднюю — рубаху или наволочку — вальс или марш, за прочую мелочь — песни. Травинский узел белья был быстро рассортирован и поделен.

На отмели, приспособив листы железа, натянув леера для просушки и раздевшись до пояса, моряки начали стирку.

— Доброе солнышко, доброе! — говорил трюмный Томилин, пристраивая на камнях доску.

— Ты бы на железе, — заметил ему Ванин.

— Сойдет! — И Томилин принялся намыливать и тереть щеткой свой комбинезон.

По берегу протянулась живописная цепочка моряков. Тельняшки, голландские рубахи с голубыми простиранными воротниками, рабочее синее платье сочно пестрели на фоне воды,

песка и неба. Тела выглядели болезненно-белыми под ярким солнцем, и только кисти рук, шеи да лица выделялись своей загорелой чернотой.

— Как думаешь, воткнут старшине? — спросил Ванин, обращаясь к Томилину, подходя к нему и выжимая тельняшку.

— Непременно, — сказал Томилин, подымая голову и щуря глаза.

— А нам?

— Нам за что? Нам, как приказано, мы так и сробили. Конечно, неприятно, — продолжал он, отбросив щетку и не замечая, что она отплывает от берега. — Конечно, неприятно, — повторил он. — Я ему давеча говорил, что надо бы сменить. А он мне свое — «сойдет», говорит. «Замажь суриком, и вся недолга. А то от других отстанем».

Томилин подул на застывшие от воды руки, потер их и продолжал:

— Я тебе одно скажу: старшина наш вроде как труба с трещиной — свищет, а толку от него мало. Дело он знает хуже моего, только так, все на бога берет.

«Ты одна, голубка лада...» — заиграл в это время баянист, и друзья замолчали.

— Хорошо дает, а? — сказал кто-то.

— Из «Игоря».

— Тише!

Влас Травин сидел в тени, падавшей на песок от подвешенного белья, и, склонив голову на баян, закрыв глаза, играл.

Здесь, на берегу залива, как-то по-новому звучала в музыке тоскующая мелодия чистой любви. Происходило ли это оттого, что настроение разлуки было так близко и так понятно душевному состоянию каждого, или оттого, что проникновенная музыка касалась потаенных струн сердца, которые многие скрывали за внешнею грубостью и напускным озорством, но только все заслушались и остановились.

Спустя несколько часов все было простирано. Кое-кто из смельчаков попробовал было искупаться, но пробкой выскочил из воды, стуча зубами. Ветер, теплый и нежный, пузырил висевшие рубахи. Солнце клонилось к западу, но все еще было тепло под его лучами. Рябинин, сложив свое чистое белье, сидел на песке и что-то рисовал палочкой. Его рассказ о кулачной дуэли привлек много слушателей.

— Я и говорю им, что она моя, а они свое, — говорил он ухмыляясь. — Их трое, а я — один. А она ни гу-гу, помалки-

вает: знает кошечка, чье мясо... Вокруг никого, тихо, — продолжал Рябинин, — только слышно, как Нева плещет. Что делать? Снимаю я тогда бушлат, даю его одному из них. «Держи, — говорю, — браток», — и пошел...

Рябинин вздохнул, отбросил палочку и тихо продолжал:

— Когда одного уложил, тут они, видя, что их дело плохо, — на меня. Их опять двое, а я — один. Ну, я тоже убеждал неплохо, — тряся головой и показывая кулак, сказал Рябинин. — В меня во — два прямых попадания было. — И он ткнул себе пальцем в правую бровь и в челюсть. — Но зато я их в шахматном порядке чесанул, густо выкрасил...

— Мурочка-то твоя, что ж?

— Смылась во время перестрелки.

— Куда?

— Кто ее знает? Домой, наверно.

— Ну, потом?

— Потом умылись все вместе и двинулись.

— Куда же?

— Двинулись куда? А в ресторан. На извозчика да и айда. Хотели на Невский, да уж мосты над Невой развели. Мы тогда курс сменили и на Васильевском островке якорек бросили...

Парни весело смеялись, расспрашивая о женских достоинствах Мурочки. Рябинин описывал их сочно.

XII

— Знаешь, Вася, я часто думаю, как сделать так, чтобы мы, молодежь, заняли в боевой подготовке первое место.

— Мысль хорошая, Добрушин.

— Как осветить человека изнутри так, чтобы он увидел себя, понял свое место, свою... величину.

— Так...

— Кажется мне, что мы должны способствовать осознанию — ну, как тебе сказать? — зацепить главное...

— Что же ты считаешь главным?

— Вот в этом-то и вопрос! Как сделать, чтоб человек осознал всю многозначительную связь своего труда с той общей грандиозной целью, ради которой мы все живем?

— Ну?..

— Мне кажется, что очень часто мы разрываем эту связь, ограничиваем значение нашей деятельности, мельчим ее.

— Едва ли...

— Нет, ты послушай. Какие огромные залежи духовных сил таятся в людях, и нам всеми формами нашей партийной работы надо подымать их на-гора́, как говорят шахтеры. Возьми наших кочегаров. Они в течение долгого времени шуровали и шуровали. Но когда им раскрыли значение их труда шире, в масштабе флота, они поняли и проявили не просто труд, а труд красивый, понимаешь? Вот об этом я хочу с тобой говорить.

— Давай, давай...

Веригин закрыл книгу, сколол вместе исписанные им листочки и, сев на койку, приготовился слушать.

— Приведу тебе другой пример, — продолжал Добрушин. — Зосимов, ты знаешь, хороший парень, если не считать одного — опозданий. На три-четыре минуты всегда опаздывает. Эти минуты, как сучки, торчат на его гладкой службе. Недавно мы слушали его на бюро. Он продолжал не сознавать своей вины и все говорил: «Подумаешь!..» А его старшина Рябинин, этот странный и непонятный для меня человек...

— Что в нем непонятно?

— Непонятно многое... Непонятен он своей неорганизованностью... В нем, Вася, мне кажется, нет принципа. Он словно с гвоздя соскочил.

— Не заметил... Я думаю, у него гвоздь имеется. Ну, хорошо.

Добрушин помолчал, подумал, прошелся по каюте и, остановившись перед Веригиным и глядя на него, продолжал:

— И этот второй пример убеждает меня в необходимости освещать труд человека дополнительным светом, как освещают на сцене солиста, выводя его из тени кулис. Ведь если отнять этот свет, потушить духовный смысл, все уничтожится. Ведь вот — война... А люди идут и не боятся умереть. Не умереть вообще, — я не про это, это нетрудно, а умереть сознательно, побеждая. Вот об этом я... Ты понимаешь?

Веригин молчал.

— На войне очень наглядна эта связь, — продолжал Добрушин, — от первого до последнего, то-есть от начала до итога. Гражданин и государство. Гражданин и народ. Народ, нация, свобода. Самое маленькое — и самое огромное. Все ясно и четко — никаких промежутков. Или — или, понимаешь? Общая цель — победа, и все устремлено к ней...

— Можно к вам? — спросил голос из-за двери, пытаясь открыть в темноте замок.

— Рябинин?

— Я.

— Легок на помине, — сказал Добрушин, отворяя ему дверь.

— Не спите? Я к вам на огонек... Дай, думаю, зайду, — забасил Рябинин, расстегивая шинель и внося с собой с палубы струю вешнего воздуха. — Ну, начальство, теперь с вас полагается...

— Это почему же? — спросил Веригин.

— Предложение мое принято. Почти принято, — поправился Рябинин. — Теперь хватит. Голову и руки мне отвертела.

— Машинка твоя таинственная, да? — спросил Веригин.

— Сам начальник штаба флота Тимофеев заинтересовался. Уж он и высчитывал, уж он и просматривал, и в чертежах, в модели копался.

— Ты разве и модель сварганил?

— Уж как полагается.

— Ну, так что ж начальник штаба?

— Бить, говорит, этого стервеца некому...

— Это тебя?

— Меня.

— За что?

— За то, значит, что я эту самую штуковину до сей поры прятал, — сказал Рябинин, и добродушная физиономия его расплылась в улыбку.

— Разве ты ее давно кончил, машинку-то?

— В том-то и дело! Я сдуру возьми да на чертеже и поставь дату, а у него глаз орлиный, сразу приметил.

— А ты чего тянул?

— Проверял... Сунься так-то вот, на дурачка. Смеху не оберешься... Одним словом, завтра на флагманской комиссии буду докладывать.

— Брось?!

— Верно. В шестнадцать часов.

— Ну, так поздравляю!

— Погоди, Вася, я хоть и того... А кто его знает, что завтра... Ведь их там столько набежало, и все с широкими! — Рябинин засмеялся и сказал: — Давай, Вася, на завтра поздравления отложим.

— Давай, — согласился Веригин.

— А вот проглотить чего-нибудь я бы проглотил с удовольствием.

— Вон хлеб, вон масло. Вали!

— А вы?

— Мы уж пили. Да и спать пора, да и нечего, — сказал Веригин. — Сколько времени-то?

— Э, что время? Ночь хороша сегодня! — воскликнул Рябинин. — Звезды, что глаза у моей Мурочки. Морозит немного, ледок под ногами похрустывает — люблю!..

— Ты стихи не пишешь, Рябинин? — спросил Добрушин.

— Стихи? Нет. А хочется другой раз. Такая музыка на душе, что терпенья нет... Так бы вот всего себя и выплеснул в небо... Все думаю: как бы так с толком новый, 1930 год прожить?!. Да вы мне голову не морочьте, стихи... — спохватился Рябинин. — Ну, добро. Вы только не спите, я сейчас что-нибудь сварганю. — И он вышел за дверь.

— Что скажешь? — спросил Веригин.

— Звонкий парень!

— А ты говоришь — гвоздя нет.

— Я про другое...

— Что надо парень! Поэт, а не электрик и к тому же скромно храбр, а это и есть настоящая храбрость! Таких бы побольше. Так что ты мне еще хотел сказать?

— Про отца я тебе не сказал. Слушай. Нас у него сыновей было шесть, — продолжал Добрушин. — Был он рабочий. Работал на «Гужоне». Коммунист-подпольщик. С Лениным в ссылке был и многое про него рассказывал. Всем он нам дал образование среднее, образование, как он говорил, на взлет. Старшие теперь кто инженер, кто архитектор. Средний — журналист. Двое, теперь уж трое — военные. Между братьями и отцом, когда я еще маленьким был, часто происходил разговор о жизни. Что жить трудно, что надо все самим, что не на что опереться. Что другие родители имеют средства и потому, мол, их детям пристроиться в жизни легко. Я многого не понимал тогда. Но всегда втайне держал сторону отца. Я любил его. Он казался мне моложе нас всех, столько было в нем жизни и жизненной остойчивости. Отец всегда говорил, что он не пристроиться нам в жизни предлагает, а «занять» свое место. И что на это мы имеем все данные и позначительнее тех, которыми располагали сынки фабрикантов. Что у них, у братьев моих, есть голова и чувство пролетарского сознания. Меня всегда поражала эта его мысль. Поражала потому, что он простой рабочий, а был горд и независим, словно князь какой. Помню, как-то собрались мы у него, на заставе Ильича, он нам сказал: «Вот что, ребята: бароны, графы и прочие там титулованные тунеядцы всегда дорожили своей фамильной честью, гордились ею. Они оберегали свои родовые традиции,

хранили их и передавали из поколения в поколение. У нас, говорит, родовых книг нет. Отец мой и дед были рабочими. Я тоже. Но оставляю, говорит, я вам, по-нашему, по-стариковски сказать, завет: оберегать революцию! И чтоб вы фамилии нашей не посрамили и тень на род Добрушиных не бросили». Вот об этой огромной взаимосвязи, о большой ответственности в каждом маленьком деле я и думаю. Я думаю, Вася, — говорил Добрушин, — как бы так всем, одним дыханием... Скажи — это партийно?

XIII

Рябинин привел за собою в коллектив Ванина, заведующего корабельной лавочкой.

— Ну, докладывай, какой у тебя провиант имеется, купец?

— Ты меня звал, товарищ Веригин?

— Тебя? Нет. Видишь, мы спать ложимся.

— Вижу. А Рябинин разбудил меня и говорит, давай на бюро.

— Это он соврал. Зачем людей тревожишь? — спросил Веригин.

— Не развалится, — ответил Рябинин. — Вечером перед берегом заходил к нему — спит. Прихожу с берега — спит. Ведь он опух, товарищ Веригин. А у него там и колбаса, и сыр, и прочая гастрономия... Я ему говорю: пойди, отворяй, накорми человека, есть охота, а он, что называется, вмертвую. Вот я и пригласил его на заседание...

— Наврал, парня разбудил, нас тревожишь, сколько ты зла натворил, а?..

— Какую-то штуку там выдумал, — вставил Добрушин в тон Веригину. — Я думаю, — продолжал Добрушин, — что по этому делу следует сделать оргвыводы...

— У меня есть предложение, — сказал Веригин, придавая своему голосу деловито-протокольный тон.

— Слово имеет товарищ Веригин. Пожалуйста, — сказал Добрушин.

— Во-первых, я думаю... Чай и какое-нибудь приложение к нему, что-нибудь закусить.

— Правильно! — воскликнул Рябинин. — Ванин, тащи! Что у тебя там есть?

— Мне рыбы, — сказал Веригин. — Соленая у тебя семга?

— А мне колбасы. Ты за наличные или в долг?

— Вот черти, полуночники! — сказал Ванин. — Поспать не дают. — И он сладко и заразительно зевнул.

— Да ты, милый, оплыл от него, от сна-то. Ведь у тебя не лицо стало, а «выхожу один я на дорогу...».

— Погоди, я тебя тоже куплю!.. Я тебя, Митрич, разыграю!.. — И Ванин опять зевнул.

Минут через десять все четверо молча сидели за столом, пили чай и ели. Заказанных в первый раз продуктов не хватило, и их пришлось повторить.

— Ну так рассказывай, что ты там изобрел, — попросил Веригин, когда все запасы были уничтожены.

— А что, Рябинин, ты у нас в самом деле знаменитостью будешь.

— Это очень просто, — согласился Рябинин. — Я тоже думаю, Вася, что все это от необходимости зависит.

— Что зависит от необходимости?

— А эта самая гениальность... Сработал необходимое — хорошо, нужен; плохо — иди к бабушке!..

— Пожалуй, что и так, — подтвердил отсекр, подсмеиваясь над рябининской прямолинейностью.

— Схема эта очень простая, — начал Рябинин, — во... — И он стал чертить пером на бумаге, которой был накрыт стол, разные кружочки, петельки, обмотки. Места, по мере того как чертил Рябинин, не хватало, и потому кружки, тарелки, книги — все летело под стол.

— Вот это повышающие, а это понижающие обмотки, — говорил он. — Они исполняют те же функции, что и у сперри-компаса. Это контактирующие планки, связанные перемычкой с ограничительным реле... Конденсатор мы ставим... Ну, хотя бы вот здесь... — и Рябинин, сдвинув письменный прибор на самый край, поставил на бумаге условный знак.

— Упадет, — сказал Веригин, имея в виду прибор, который переставил Рябинин.

— Никогда, — возразил Рябинин, думая, что слова секретаря относятся к его чертежу. — Упасть не может, — говорил он, — потому что здесь зажимы, а ротор укреплен...

— Да прибор упадет, — подсказал Добрушин, но Рябинин уже не обращал внимания ни на какие замечания. Подобно тому, как исследователь ссылается в своем труде на источники и документы, чтобы подтвердить мысль, так и Рябинин вычерчивал схему своего аппарата, желая наиболее полно раскрыть взаимодействие его частей, чтобы убедить своих слушателей в возможности его работы.

— Все очень просто, — сказал он, окончив чертить, и посмотрел на схему сбоку, как бы любуясь, отбрасывая попа-

давшие под руку хлебные крошки. — Вот и все, — сказал Рябинин.

— Подожди, как же? — спросил Добрушин, которому, как и другим, схема еще ничего не говорила о назначении аппарата.

Рябинин говорил на особом языке формул и терминов. Говорил возбужденно и быстро. Это был другой Рябинин, не тот, который целыми днями после вахты мог спать у себя в центральном посту, и не тот, который часами просиживал у «фитиля» на баке, куря и болтая о всяких небылицах: Митрич — удалой добрый молодец.

Теперь он своей крупной фигурой, с большой курчавой черной головой, с быстрыми, точными движениями и острым взглядом казался Добрушину человеком особого калибра. В нем все было точность, мысль, энергия.

«Как может преобразиться человек!» — думал Добрушин, и он позавидовал ему, но не внешне, не тому, что сделал Рябинин, а тому внутреннему содержанию, тому накалу, благодаря которому этот человек мог так гореть, работать, думать.

Эту же мысль Добрушин заметил, как ему показалось, и у Веригина и у Ванина. Их глаза, их выражение, с каким они смотрели на Рябинина, говорили об этом. Они завидовали ему, но завидовали так, как береза могла бы позавидовать яблоне — ее сочным плодам, взрастить которые она на своих ветвях не могла.

«Есть ли во мне эти свойства, — думал Добрушин, — которые так свободно, закономерно, просто, сами собой проявляются у Митрича?»

— Да ты скажи, наконец, что это за штука? — спросил Веригин, предупредив мысль Добрушина.

— Ну да! «Частота», «обмотки»... А для чего? — добавил Ванин. — С чем ее едят, эту твою «частоту»?

— А-а-а! — протянул Рябинин. — Вы бы так и спросили. Это... ну!.. Я еще не придумал, как его назвать. Только штука эта при помощи электрических волн на нужном расстоянии от корабля будет обнаруживать и подрывать минные поля. Только вы об этом, чур, не болтать!.. Это вроде как параван, только радио-параван.

— Это правда? — спросил Веригин.

— Факт.

— Да ты знаешь ли, Митрич, — сказал Веригин, — что ты наделал?!. Что произойдет после этого?!.

— А что? — спросил Рябинин, с некоторым испугом смотря на Веригина.

— Это значит, что минное оружие потеряет свою силу, так как каждый корабль и транспорт смогут иметь твой прибор. Нет, ты вправду?.. — спросил он еще раз.

— Ну, не божиться же мне... Факт, правда, — ответил Рябинин, удивляясь их удивлению и неверию.

«Нет, Веригин не завидует, Веригин рад, — подумал Добрушин. — Он хороший, он чистый. Я зря подумал».

— Ай да Митрич!.. Да как же ты придумал это? — спросил Веригин.

— Придумал?.. А я не придумывал. Оно само придумалось.

«Верно! Очень верно, само», — согласился мысленно Добрушин.

Коммунисты еще долго говорили о том, что произойдет в будущем, как назвать изобретение и чем Митрича за это наградят. Этот разговор прервал Сухопарин. Сменившись с вахты, проходя мимо и услышав голоса, он вошел в коллектив.

— Ты здесь? Очень кстати, — сказал он, обращаясь к Рябинину и придавая своему голосу озабоченный тон.

— Чего тебе?

Сухопарин, насупившись, с выражением фальшивой значительности на своем одутловатом лице, спросил:

— Сколько тебе лет, Митрич?

— Кому Митрич, а тебе Дмитрий Степанович, — ответил Рябинин.

— Сколько? — повторил Сухопарин.

— На что тебе?

— Скажи, не девушка! Двадцать пять?

— Ну, двадцать пять. Зачем тебе?

— Помнишь, во время стирки на отмели ты говорил о своей драке... Было это?

— Это?.. А как хочешь! Хочешь — было, хочешь — нет! — добродушно посмеиваясь, сказал Рябинин.

— Ты о чем? — спросил Веригин Сухопарина.

— Он знает... Это дело серьезное... Так зачем ты это говорил? — приставал Сухопарин, не отвечая на вопрос Веригина.

— Сказал тебе — так. А ты все подслушиваешь?..

— Значит, было? — допытывался Сухопарин.

— Как хочешь...

— Ты людей разлагаешь.
— Ничуть!
— А зачем говорил?
— Скучно было, и говорил...
— А люди тебе поверили.
— По себе не суди.
— Люди тебе подражать будут.
— Не будут.
— Почему?
— Потому... Ну, потому, что я это выдумал.
— А для чего выдумал?

— Вот пень! Да сказал тебе, что скучно было... Подумаешь, про девку рассказать нельзя. Плевал я на это дело! — И Рябинин, подняв плечи и раскачиваясь из стороны в сторону, подошел к двери, готовясь уйти.

— Да в чем дело наконец? — спросил Добрушин. — Что ты его допрашиваешь?

— Элементы морального разложения в среде коммунистов, — ответил Сухопарин. — Вот вам факт на лицо.

— А что, ты у женщин не бываешь? — спросил Рябинин, отходя от двери. — Набожностью свят не будешь...

— Это ты про что? — спросил Сухопарин.

— Так, поговорка такая есть... Ханжа! В чужом глазу соломинку заметил... — И Рябинин, открыв поспешно дверь, вышел.

— Я этого не оставлю. Это типичный факт разложения... Я требую, Веригин, поставить это дело на бюро. Завтра же...

— Вали, вали, старайся, Тюлень, — приоткрыв дверь и высунув голову, сказал Рябинин. — Знаешь, ты кто, Сухопарин? Ты ханжа, партийная ханжа! — и, сказав это, Рябинин с силой захлопнул за собою дверь.

XIV

Вернувшись из плавания в Кронштадт, Владимир Ляпунов был назначен старшим помощником командира корабля на «Благополучный», тот самый корабль, который осенью 1929 года наскочил на мину и который теперь стоял в доке.

Корабля, точнее, не было: были две развороченные половины и груда бесформенного железа на баке.

Ляпунов, помимо своих, временно исполнял и обязанности командира корабля.

Экипаж корабля был собран «с миру по нитке». На борту образовался своеобразный конгресс из представителей всех классов кораблей флота. На «Злополучный», как теперь, после второй аварии, называли «Благополучный», служить шли неохотно. В сознании людей был тот наивный предрассудок, что кораблю и в третий раз не миновать аварии и что ему уж так на роду написано. Из кадровой команды эсминца остались единицы. Часть команды миноносца погибла в прошлом году, часть находилась на излечении, а немногие ушли в долгосрочный отпуск, отслужив срок своей службы.

Была еще одна трудность, которую испытывал Ляпунов. Каждый из списанных на миноносец, помимо личного неудовольствия и предубеждения к «Злополучному», принес еще с собой укоренившиеся традиции тех кораблей, откуда каждый пришел. Многим теперь казалось, что там, где он служил раньше, было лучше. О том, что было, моряки рассказывали друг другу, нередко прибавляя и украшая свое прожитое.

Когда Ляпунов поближе ознакомился с людьми, краснофлотцами и командирами, он понял, что этих людей отдали ему на «Благополучный» не потому, что людей этих там считали хорошими, а, наоборот, потому, что их считали там плохими. За каждым из них был грешок; поменьше или побольше, но был. И когда командирам судов представился удобный случай от этих людей отделаться, их отдали. Это противоречивое и сложное обстоятельство Ляпунов и решил использовать и направить на пользу боевой подготовки.

— Каково на вашем «Сборном»? — спрашивали его в штабе соединения.

— Работаем...

— Экипаж у вас не блестящий, прямо надо сказать, — предупреждали Ляпунова. — Сорванцы, народ штрафной, избалованный, а делать нечего, придется потерпеть. Может, ближе к лету что и придумаем...

Ляпунов знал, что никто ничего «ближе к лету» не придумает, и знал, что говорили с ним на эту тему просто из чувства своеобразной канцелярской учтивости.

«Знаем, молодой человек, что вам трудно, но это не наше дело. Уж вы там сами как-нибудь...» — говорил их вид, их взгляд и вся их ложно торопливая занятость.

С приходом на миноносец Владимир Ляпунов организовал партийную ячейку. Он возложил на нее большую ответственность за ремонт, предоставив людям партийного коллектива широкий почин. И люди, почувствовав к себе доверие, без

слов и жестов, искренне, во всю человеческую мощь принялись за дело.

— По смете у нас, товарищ командир, на электрооборудование сорок тысяч рубликов значится?

— Так, — подтвердил командир Ляпунов.

— Вот мы и решили эти деньги сэкономить.

— А продумано? — спросил Ляпунов.

— Продумано, в самый раз выйдет. — И электрик, который имел в прошлом за кормой своей службы ряд взысканий, развернул перед Ляпуновым схему и стал объяснять ее.

— Штука проще пареной репы, Владимир Павлович, — говорил веснушчатый, одетый в рваный комбинезон моряк, у которого на голове вместо бескозырки был повязан платок. Это была доковая «форма», в доке это разрешалось. — Всю электропроводку мы таким манером берем на шкерты, прямо, значит, с распределительными коробками. А когда палубу настелют, мы ее снова укрепим.

Ляпунов улыбнулся, подумав, что действительно проще пареной репы, и вслух сказал: «Утверждаю».

— Нам бы, товарищ командир, из строевых кого подкинуть в помощь, а то нас всего двое, — сказал моряк.

— Выделю. Двух достаточно?

— Хватит, товарищ командир.

— Добро! Прикажу.

Со своими проектами, предложениями и вопросами шли к Ляпунову и другие моряки. И шли они к нему запросто. Шли потому, что получали от него совет, одобрение и поощрение своим выдумкам. И странное дело (странное для посторонних) — эти люди развили такой темп труда, что не только сбили все распланированные графики и нормы, выработанные в канцеляриях штаба, но втянули и подчинили своему темпу, своему энтузиазму и доковых рабочих.

Ляпунов стал замечать, что мало-помалу предубеждение, царившее среди команды миноносца, стало пропадать. Теперь он все чаще и чаще слышал среди моряков слова «наш», «на нашем». Если случалось, что кто-нибудь по старой привычке и крикнет с берега: «Эй, там, на «Злополучном!», то в ответ на такое обращение с борта не только сыпались увесистые словечки, но и грозили обидчику кулаками. Ляпунову было приятно сознавать, что эти люди через свой труд сроднились с кораблем и полюбили его, как разумное существо. Это чувство свойственно было всем тем, кто хоть немного имел в душе морскую зазубринку.

С середины апреля Ляпунов ежедневно начал проводить минные, артиллерийские учения, тревоги и занятия. Незадолго перед выходом из дока на корабле все чаще и чаще стали слышаться дудки и приказания, которые дополняли собой служебное расписание корабля. Тут была политика, с ее сложными проблемами коллективизации, морская стратегия, разбор десантных операций, механика и химия. Ляпунов для этого через шефов специально приглашал из Ленинграда профессоров, а из штаба флота и Пубалта — знатоков своего дела.

Обладая живым, веселым характером, Ляпунов умел воодушевить и расшевелить всех. Он гордился и тем, что у него на корабле были хорошие минеры, хорошие машинисты, но не меньше гордился и тем, что на его корабле, правда пока еще каких-нибудь пять-шесть человек, могли читать Шиллера и Шекспира в подлинниках. И думал о том, что Пушкина и Льва Толстого в английском и немецком флоте, наверное, на русском не читают.

На корабле, так же как и «наверху», к ляпуновским затеям вначале относились иронически. Скептические голоса, говорившие о том, что хоть бы с работой-то справиться, а не то что «университетничать», скоро смолкли. Оказалось так, что все эти общественные ляпуновские мероприятия не только неплохо отразились на службе, а, наоборот, работа и служба шли с должной энергией и жизнь партийная и общественная на корабле била ключом.

XV

В апреле залив очистился. Наступила весна. Вокруг посинело, почернело, заблистало и повеяло землей и морем. В порту, в гавани, в каменных глубях доков оживление усилилось. По гавани засновали трудолюбивые буксиры, задымили водолеи, и, словно сердясь и ругаясь, запари́ли у трапов штабные катера-самовары со своими блестящими медными трубами. Буксиры подводили к линкорам и крейсерам тяжело груженные нефтью и боеприпасами баржи. На кораблях торопливо вели погрузки. Повсюду скрежетали лебедки, пели тали, посвистывали блоки и, казалось, еще неистовее и громче заливались соловьем боцманские дудки.

— Ви́ра!

— Майна!

На кораблях авралили, красились, наряжались. На беседках, и за бортом, и под клотиком, как в люльках, покачивались моряки, крася борты и мачты.

— Поднаддай, братва, навались! — покрикивали старшины.

Люди на кораблях, корабли между собою вели соревнование. Никто не хотел уступить друг другу чести первыми поднять вымпел, открыть кампанию. В эти вешние дни обычно достается всем: и рядовым и командирам.

На верхней палубе красят мачты, борта, надстройки, драят медяшку и с наждачком и кирпичиком протирают палубы. Внизу, в корабельной утробе, все полно грохота и делового возбуждения. Машинисты производят сборку механизмов, кочегары банят котлы, трюмные опробовают вспомогательные механизмы, донки-насосы. У электриков, радистов, минеров, комендоров своя работа, и работа жаркая.

С доковых низин, куда сполз и где еще белеет снег, доносится трескотня молотков, отбивающих последние заклепки, шип автогена с бьющей золотом искрой, с голубым пламенем и соленая речь братвы, покрывающая собой и треск, и шип, и весь гам дока.

Владимир Ляпунов поднялся на верхний мостик. Перед ним открылась военная гавань. Вон там, мимо ворот гавани, по фарватеру медленно проходят сейчас загруженные нашим добром иностранцы — английские, шведские, аргентинские «купцы». Они любезно приспускают перед русскими кораблями свои пестрые, как матрацная обивка, флаги и, пройдя Кроншлот, ускоряют ход.

На рогатке, где стоят линейные корабли и где сейчас идет аврал, играет оркестр, аккомпанируя тяжелому труду погрузки. На крейсерах, эскадренных миноносцах, минных заградителях, тральщиках и подводных лодках семафорят сигнальщики. Быстрые, непоседливые сторожевики один за другим уходят в море. В учебном отряде идут последние приготовления перед уходом в заграничное плавание. На реях кораблей и на вышке штаба флота то взвиваются, то опускаются своды сигналов, пятная голубое небо шерстяной радугой флагов.

И всюду, куда простирается взгляд, видна напряженная, осмысленная жизнь флота, полная труда и украшенная этим трудом.

Ляпунов на минуту задумался, вспомнив о своем друге Анохине, погибшем на этом корабле. Он вспомнил о своей службе с ним, о совместной учебе и общих с ним мечтах. «Он остался бы доволен», — подумал Ляпунов, глядя на возрождающийся корабль.

Был полдень. Солнце ласкало землю своим теплом. Каждую каплю, частицу каждую оно щедро наделяло своим светом, своей красотой и радостью. В такие минуты особенно манило в синюю даль моря и неба, где блистало солнце.

— Скоро ли, товарищ командир, мы из этой дыры вытряхнемся? — выходя из рубки и щурясь на солнце, спросил рулевой.

— Все от вас зависит, товарищи.

— Мы свое дело пошабашили, товарищ командир. Мы не держим.

— Трюмы держат.

— Это мы дело обсудим нынче, это можно...

Васнецов — молодой рулевой, но он и секретарь комсомольского коллектива корабля, и тон его поэтому деловой, заботливый, хозяйский.

— После отбоя вы к нам загляните на бюро, товарищ командир, — сказал он все тем же озабоченным тоном. — Трюмы — это не вопрос, это обсудить можно.

Командир дал согласие «заглянуть», и Васнецов снова скрылся в своей рубке. Вечером обсудили положение и выделили две комсомольские бригады. Не откладывая дела, прямо с бюро разошлись по работам. Случилось так, что бригада Васнецова отстала.

— Что теперь делать? — спрашивал комсомольский руководитель, упрекая своих товарищей.

— Работать надо.

— Работать!.. Время где? Сутки не растянешь?

— А ночь?

— А нам за это не того... не нафитиляют?

— Знать никто не будет. А утром заявим: давай, мол, механик, принимай!

— Вот трюмные задрожат от зависти!..

— Тише!..

Два машиниста, электрик, сигнальщик и рулевой — все комсомольцы и члены бюро — так и решили. В полночь, как только заступила «собачка», ночная вахта, пятерка собралась под полубаком. Дежурный командир покурил с ними и, пожелав покойной ночи, направился в дежурную каюту.

— Ну, братки, можно начинать, — сказал Васнецов. — Ты, Митяй, освещение обеспечил?

— Налажено.

— Мы двинем под питьевые цистерны, а вы — под левый холодильник, — продолжал Васнецов.

— Гришка пусть отбитую краску выгружает, — заметил сигнальщик.
— Не учи ученого! — перебил его рулевой. — Так будет, как я сказал. Работаем до побудки... Очки, рукавицы — за трапом, на пакле. Да чтоб без лишнего аврала, а то спугнут...
— Как бы командир не узнал, — сказал машинист.
— Узнал!.. Ты не скажешь, он и знать не будет. Ну, пошли!
— Ключи от горловин у тебя?
— Открыто. Какие замки еще!.. Небось, в доме стоим.
— Все бы спросить сначала, — не унимался машинист. — Спросили бы, и все чин чином, никаких крыс изображать не нужно.
— Э-э, брось! Сдрейфил, что ль?
— Пошли, пошли, что вы там шушукаетесь, а то застукают.
— Ты, что ль, в кингстонные выгородки первым пойдешь? — спросил сигнальщик.
— Я.
— Ну и давай, потом сменимся.
Наутро, когда горнист выделывал свое: «Вставай, вставай, браток, поспел уж кипяток...», парни окончили работу и направились в баню. Первая ночь прошла благополучно. Под конец следующей ночи, перед самым рассветом васнецовскую бригаду обнаружил Ляпунов. В приказе, объявленном на утренней разводке, прямо так и было сказано: «За нахождение в ночное время в трюме и производство работ в неурочное время объявляю выговор. А за прекрасно выполненную работу по очистке трюмов, что позволяет на три дня раньше срока освободить док, объявляю благодарность и награждаю ценными подарками...»
— Это как понимать? — спросил после разводки Васнецов.
— Понимай так, что вам всыпали.
— Боком приказ написан...
— Много ты понимаешь! — говорили товарищи.
— В самый раз приказ! Заработал — получай, а «заработал» — тоже получай... Так-то оно, милый!..
На комсомольском собрании секретарь партийного коллектива сказал:
— Работу сделали хорошо, правильно. Но надо еще знать, когда ее делать.

Собрание постановило предупредить бюро о недопустимости нарушения инструкции.

— На-ка, выкуси! — говорил рулевой Васнецов, указывая на Доску почета, где красовались имена пяти членов бюро коллектива комсомола, когда ему указывали на «украденное» соревнование. — А первенство принадлежит нам, комсомольцам, — говорил он. — На-ка, выкуси!

XVI

Ляпунова задержала приемочная комиссия штаба флота. Члены комиссии были удивлены тем, что увидели на корабле. Корабль был готов. Дело в том, что временно исполняющий обязанности командира экскадренного миноносца «Благополучный» Владимир Ляпунов, когда ему задавали вопрос: «По графику ли развивается ремонт?» — всегда отвечал: «Да, вполне по графику». Не раз и не два он приглашал свое высшее начальство взглянуть, но всякий раз слышал в ответ флегматичное: «Успеем...»

«Вот когда на воду встанете, тогда...» — говорили ему.

А тут вдруг, как в сказке. На шестьдесят пять дней раньше срока. Проводив комиссию, в отличном настроении Ляпунов поспешил в Дом флота, где было назначено совещание командно-политического состава. Оно уже подходило к концу, когда Ляпунов вошел в зал и, выбрав место в сторонке, сел. Совещание вел начальник штаба флота Тимофей Тимофеевич Тимофеев, дореволюционный адмирал.

Это был пожилой человек, с небольшой остренькой бородкой, совершенно белыми, но все еще вьющимися волосами. Лет ему было немало, но выглядел он бодрым и свежим. Вот уже около десяти лет, как знает Ляпунов на флоте этого старика, а он все такой же. Все та же простая, бесхитростная речь, в которой соединилась речь крестьянина и морского академика, тот же открытый, приветливый взгляд, та же добрая улыбка, та же старая, всем знакомая на флоте «тимофеевская» трубка (подарок адмирала Макарова).

На трибуне, когда вошел в зал Ляпунов, выступал представитель бригады подводных лодок. Его фигура и голос чем-то напомнили Владимиру бывшего комиссара «Совета» Ржанова. Владимир помнил Ржанова еще с тех пор, когда тот носил форменку и бескозырку. Это было давно и недавно, в 1921 году. Теперь на рукавах его кителя, он знал, красовались широкая и две средние нашивки.

«Молодец, здорово!» — думал Владимир, смотря на подводника, вспоминая о Ржанове и мысленно перебирая вехи его и своей жизни.

И мысль его, как часто случалось теперь с Ляпуновым, задержалась на «Благополучном», на его людях, больших и малых заботах, неприятностях и удачах, которые были связаны с этим кораблем, и на том, что, может быть, он будет когда-нибудь командиром этого корабля.

«Есть проект приказа, — сказал ему один из членов комиссии, — вверить вам корабль...»

«Ну что ж, я готов, я смогу», — сказал себе Ляпунов и постарался отогнать от себя эти мысли и прислушаться к тому, что говорилось с трибуны, но никак не мог понять. «Ах да, он говорит о том, чтобы мы все учили себя. Что ж, это очень верно», — понял, наконец, Ляпунов, почувствовав, как он устал и как хочет спать.

После представителя подплава на трибуне появился чистенький, весь блестящий, как надраенный лагун, механик «Совета» Наумов. Он чем-то напоминал собой Ляпунову только что сорванный с гряды, недозревший, еще колючий огурец, от которого так и пахло этой зеленой недозрелостью.

— Мы распустили, мы не наказываем, — начал свою речь Наумов. — Мы не поддерживаем дисциплинарной практики. Мы, наконец, омертвили столь важный фактор в деле боевой подготовки, каким является взыскание, это уставное, священное право командира...

— А поощрение? — спросил кто-то из партера.

— Поощрение? Это дело совести каждого командира. Оно, конечно, тоже известный воспитательный фактор, но наложение взысканий необходимо; и потому это наложение необходимо, что оно упрочняет наш с вами авторитет.

В зале при последних словах оратора произошло веселое оживление.

— Да, да, мы игнорируем это право, и это у нас, я хочу сказать, строевых командиров, а у товарищей политруков... у товарищей политических работников ситуация еще более печальная.

Наумов замолчал и, покашливая, стал перебирать свои многочисленные записи, которые он разложил перед собой на трибуне.

— Посмотрите, например, в немецком флоте, — продолжал он, — там, я вам скажу, дело обстоит совсем иначе...

— Надо думать! — выкрикнул кто-то с балкона.

«В немецком флоте» — это была та последняя новинка, которой очень хотелось поделиться с высоты общественной трибуны механику Наумову и ради которой он записался выступить в прениях. Эту статью он только вчера прочитал в «Английском морском вестнике» по подстрочнику.

«Надо им рассказать. Правда, там критикуют немецкую систему, но это неважно, — соображал он. — Пусть знают... Важно иное. Важно показать, что я знаю, то-есть мы тоже не лаптем щи хлебаем».

Но реплика, надо думать, как-то смутила его, и он заколебался.

«Развивать или не развивать свою мысль?» — спрашивал он себя, чувствуя, что долго уже молчит, что его ждут, что надо было что-нибудь говорить, и он проговорил:

— Вот я и говорю, что в немецком флоте иначе, — повторил Наумов. Он хотел продолжать дальше и не мог. Все, что он прочитал вчера, как-то вдруг вылетело из его головы, и там было пусто и легко.

«В немецком флоте иначе», — попрежнему крутилось в его мозгу и дальше не шло. Взглянув вниз, перед собой, он увидел на лицах сидящих командиров недоумение. «Ну, что запутался? Кончай, товарищ, бывает», — говорили эти лица.

В партере становилось шумнее. Вон те двое — с четырьмя средними нашивками, — что сидели против него в третьем ряду, о чем-то смеялись. «Это они надо мной, — подумал Наумов. — Надо им доказать».

И, собрав свои силы, он громко произнес:

— В немецком флоте иначе... — «Это я уже говорил. Надо дальше». — Но дальше не двигалось. Сознание, словно треснувшая граммофонная пластинка, проворачивалось, задевало об иголку и, задевая, повторяло одну и ту же фразу.

— В немецком флоте иначе... — дрогнувшим голосом повторил он еще раз. Колокольчик председателя известил, что его время истекло, и смущенный оратор, так и не сказав, что же представляло собой это немецкое «иначе», поспешно сбежал с трибуны.

— Каждый солдат должен уметь казаться глупее своего начальника — вот это немецкое «иначе», вы об этом хотели сказать нам, сердитый механик? — начал свою речь Василий Грязнов, человек большого роста, с крупным, характерным лицом. Он как-то просто поднялся на трибуну, словно то была не трибуна, а ходовой мостик, на котором он привык находиться. И говорил он тем тоном, каким привык командовать

с этого мостика. В этом тоне слышалась власть и уверенность.

— Немецкое «иначе» оставим Фридриху и Вильгельму, — продолжал Грязнов. — Нам с ними не по дороге. «Если бы мои солдаты начали думать, ни один не остался бы в войске» — вот что говорил и чего боялся ваш Фридрих. Это немецкое «иначе». А наша армия могущественна именно тем, что воин этой армии умеет думать, понимаете, товарищ с «Совета»? И сила армии будет до тех пор, пока рядовой солдат и матрос не разучится думать. Вы понимаете меня, «наложение»?.. Меня заинтересовал предыдущий оратор ходом своих, как бы это сказать, мыслей. Где, думаю, эти люди с философией «наложения», как они говорят, и на вид молодые люди, — чорт возьми! — черпают этакое пруссаческо-тумаковское мировоззрение?..

— Какое, какое?.. — послышались голоса.

— Ну да, яйца такие, тухлые яйца, тумаки, — под общий хохот всего зала пояснил Грязнов. — А впрочем, это неважно, — и он махнул рукой, словно что-то отбросил в сторону.

Ляпунов знал Грязнова. Он командовал теперь сторожевым кораблем «Декабрист», входящим в шестой дивизион. Это был лучший дивизион — лихие командиры, великолепно сплававшиеся. Шестой дивизион еще назывался «особым». Почему? Никто этого не знал, но люди гордились этим названием, как наградой. Ляпунов часто встречал командира «Декабриста» на учебе, где он преподавал астрономию.

Всякий раз, когда Владимир Ляпунов смотрел на этого командира, его рост, плечи, то невольно думал о том, как он помещается там, на своем корабле, как он пролезает сквозь палубные горловины и люки. Это он на полном ходу выходил и входил в гавань, соревнуясь в удальстве приставания к стенке. Он знал только два хода: «полный передний» и «полный задний». В двух саженях от мола «Декабрист» стопорил машину, давал самый «полный вперед», подымая бурун воды за кормой, и замирал как вкопанный. И все это делалось при абсолютной тишине. Иногда, правда, случалось помять кормовой герб, но это случалось редко.

Василий Грязнов на походах, да и в гавани всегда спал под открытым небом, на ходовом мостике. Воет ли ветер, идет ли дождь — ему нипочем. И так продолжалось до поздней осени, до белых мух.

Он был грозой для подчиненных, его боялись, но и любили. Пройти его школу — значило быть моряком. Нередко вечера-

ми его можно было встретить в биллиардной. Иногда он сидел у «мыса Доброй Надежды», как еще со времен парусного флота назывался особый столик в Кронштадтском морском собрании. Столик этот стоял у самой стенки в углу, где некогда бражничали удалые капитаны. Советские капитаны хотя теперь и не бражничали, но столик этот все-таки попрежнему назывался «мысом Доброй Надежды».

— Вы мне позвольте остановиться всего на двух вопросах, — продолжал Василий Грязнов после некоторой паузы, за время которой он осмотрел зал и со многими знакомыми перекивнулся. — Меня удивляет также взгляд некоторых моих сослуживцев. Взгляд этот здесь, на совещании, готов был сложиться в своеобразную теорию «некогда». Эта теория, как я думаю, противна духу командира флота Союза Советских Социалистических Республик. Знать — вот принцип нашего отношения к людям, к кораблю, к соединению. Знать — это те тали, при помощи которых мы подымем любые тяжести боевой подготовки.

— Правильно! — раздались голоса.

— Что бы вы там ни окончили в свое время, — продолжал оратор, — школу ли, курсы, училище или академию, а подлинной академией является корабль. Если то, что вы получили там, на берегу, приносит пользу кораблю — хорошо, не приносит пользы — за борт такую теорию.

— Верно! — закричали с мест.

— Подождите. Тут, кстати, мне хочется сказать об образе нашего командира. Посмотришь на иного — так, курица моченая. И отношение его к морю куриное, и на корабле он себя чувствует по-куриному. Матросов... извините, краснофлотцев, воспитывает по-куриному.

В зале весело и одобрительно засмеялись.

— Ни дерзости, ни риска, ни чувства моря, никакого огонька в ином нет. Так, исходящее и входящее вместо морской души, а не душа.

Смех и аплодисменты при этих словах усилились.

— И надо мыть, драить, — продолжал командир «Декабриста», — и драить с песочком и содой, так, чтобы следа этой чиновничьей ржавчины на флоте не осталось. Пусть эти куры идут в почтовое ведомство... марки наклеивать...

— Правильно! — закричали слева, где сидели представители дивизиона сторожевиков.

— Надо поменьше опекать! — кричали линкоровцы.

— И побольше плавать!

— И подальше! — раздавалось с разных сторон, и собрание бурно зааплодировало.

— Второе — и я кончаю, — продолжал Грязнов, заглушая своим голосом начавшие стихать аплодисменты. — Каждый политический работник обязан приобрести морские знания. Овладеть ими, не торопясь, но быстро. Это задача дня. Без этого нельзя руководить. Политически обеспечивать — это прежде всего знать. Пусть это слово каждый из политруков и комиссаров запишет в плане своей морской жизни с большой буквы. Вот на этом я и пошабашу, — закончил он и под аплодисменты сошел с трибуны, направляясь к лесенке, чтобы сойти в зал.

— Да, товарищи, прошу простить, — заговорил он вновь, подняв руку, когда перешагнул рампу. — Насчет знать: десять лет я был политическим работником, а теперь еще и командир корабля... Молодой, правда... Попробуйте! Уверяю вас, что я, как старый комиссар, чувствую себя теперь куда крепче. Главное, знаете ли, политически обеспечивать легче, даю вам слово.

После долгих аплодисментов и одобрительных реплик из-за стола поднялся Тимофей Тимофеевич Тимофеев.

— На этом, я думаю, мы и окончим наше совещание, — сказал он. — Я доволен совещанием. Доволен потому, что вижу ваше желание работать, учиться и учить. Доволен еще и потому, что многие из вас стоят на правильной дороге. Головы у вас ясные, руки крепкие, глаза зоркие, и многое, что здесь говорилось, верно. Но позвольте мне, я не задержу вас, указать вам на те отмели и баночки, на которые мы нередко с вами садимся... Выступление инженера Леонова является странным. Он сказал нам, что никакой доктрины, никакого единства взглядов флоту не требуется, и потому не требуется, что все это заменяется Коммунистической партией, марксистской атмосферой. Партия — не идол, которому нужно поклоняться и льстить; партия — идеал, который должен воплощать коммунист в своей повседневной жизни.

— Верно! — зарукоплескали в зале.

— Можно считать себя марксистом и в то же время быть скверным моряком, — продолжал Тимофеев, — потому что недостаточно одного знания партийной программы и марксистской атмосферы, о которой вы тут нам говорили. Подлинная же теория марксизма-ленинизма требует от нас внимательного изучения военного дела. Слово доктрина вам не нравится, Леонов? Хорошо. Замените его словом: воззрение, комплекс идей... Я о формально-логической стороне не спорю. Да ведь

и вы не об этом говорили. Теперь о матросе — основной и первейшей единице флота, — продолжал начальник штаба. — Некоторые тут говорили, что мелочи заедают, что некогда. Я уже пятьдесят лет на флоте и скажу вам, что мелочей на флоте нет. И часто мы на так называемых мелочах свое днище царапаем. Был у нас на фрегате «Пересвет» боцман. Давно это... в 1875 году было. Так он среди матросов такие штуки выкидывал!.. Напутает бывало снастей целый ворох, даст его команде и говорит: «Распущай!» Иной это раз-два, только ногти ломает, суетится, а другой легонько, со смыслом, не торопясь, по кончику все и разберет. И я говорю: не суетись. Суета — это только видимость дела, а дела нет. Второпях — все без пользы. Второпях и зерно выкинуть можно. Так и с командой. Человеческий материал — штука и сложная и легкая, — как подойдешь. Иной раз — глина, иной раз — гранит... Нет, ты обопрись на лучших, выдели их, доверяй, смелее доверяй, это я непременно знаю. Говорить, скажете вы мне, старик, легко. Да ведь и мы дело делали, товарищи. Приходилось и плавать, и немало приходилось. Вы тоже не из пены родились. А мы вас учили. И трудно было, а ведь вот — выучили. Посмотрите, какие теперь молодцы. Хочешь быть хорошим моряком — учись, всю жизнь учись. И тут настойчивость надо проявить не дьявольскую, как тут говорили, зачем так далеко?.. Да и кто знает, есть ли она у него? А вот настойчивость крестьянскую — хорошо бы! Знаете, как он, крестьянин-то, от зари до зари по солнышку... Вот ты по-крестьянски и взращивай и окапывай, да каждого!.. Посмотришь на иного командира, и видишь, что он норовит все гамузом, скопом. Некогда, видишь ли, ему с каждым заняться. А ведь он, крестьянин-то, каждую морковку либо луковицу окапывает, а то человек!.. О дисциплине. Иногда, конечно, и наказать можно, да делать это надо с разбором. Накажи так, чтобы человек сам на себя за это обиделся. Иной, не буду имен говорить, что ни шаг — десять суток да десять суток. Это не годится. В жизни суток много, всех не передаришь. Пользы только это должной не приносит. Не было пользы флагу андреевскому, не будет и красному. Вот, как я думаю, дорогие товарищи. А насчет кур, это он верно говорил. Есть у нас такая птица на флоте.

Гром аплодисментов потряс зал. Выждав, когда рукоплескания утихли, Тимофеев продолжал:

— Сила флота — в моряках. Многие из нас этого раньше не понимали. Да спасибо, коммунисты научили, и за то им, коммунистам, великое спасибо!..

И как-то особенно оживившись и обращаясь в зал, спросил:

— Кто со мной меняться хочет? Чин свой отдам, нашивки, годы... А вы мне, по-старому сказать, ну, мичмана и свою молодость. А? Кто хочет? Ну!..

Тимофеев посмотрел по рядам и, встретившись глазами с Владимиром Ляпуновым, спросил:

— Как, товарищ командир «Благополучного», есть желание? — и весело, и молодо, и громко засмеялся.

XVII

Ранним апрельским утром 1930 года корабли пришли в Севастополь. В Крыму была весна. Та южная, бурная, очаровательная весна, от которой пьянеешь. Сады были убраны инеем цветов, все благоухало и радовалось. Тихое, зеленое впереди и синее, как небо, у горизонта, плескалось Черное море.

Петр Ржанов поднялся по крутой лестнице на южный склон Севастопольской бухты. Под ногами его, под горой лепились маленькие домики с разноцветными черепичными крышами. Глубоко внизу, в бухте виднелись корабли, и его корабли, которые он провел через моря Европы. А рядом — совсем крохотными выглядели подводные лодки. По бухте, пересекая ее и оставляя след, сновали буксирные суденышки и шлюпки.

Петр стоял, смотрел и радовался. Радовался и утру, и солнцу, и морю, и всего больше тому, что он был на своей земле. Все было полно утреннего оживления. Народ спешил на работу и непрерывным потоком в две человеческие струйки подымался и опускался по ступеням. Одни шли вниз — в порт, на корабельную сторону, в доки, на заводы. Другие — наверх, в город, на базар, где выгружались пришедшие от берегов Евпатории толстобрюхие лайбы. Рыбаки прямо на камни набережной выкидывали свою снедь: камбалу, судаков, крабов. И все это было живое, трепещущее, красочное... От всего крепко пахло морем, и всего было целые горы.

На военных судах, где пробили побудку, виднелись белые фигуры моряков. Потом блестящие, гибкие, как телеграфная проволока, засверкали под солнцем струи воды из брандспойтов. По склону бухты, скрываясь за откосами, ползли севастопольские трамваи-размахайчики, обтянутые брезентом. Это под них на рельсы ложилась подгулявшая братва, демонстри-

руя свою разухабистую удаль. Ложились поперек и кричали: «Режь меня!.. Я Бискай перешел!»

Позади Петра, цокая и оскользаясь подковами на булыжниках, неумело гарцуя на лошади, проскакал с пакетом моряк-вестовой. Вон там, у Графской пристани, где грузились пароходы, над трубой одного из них поднялся в небо плотный клубок пара — один, второй, третий, и через несколько секунд послышались густые звуки гудка: «Оу-оу-оу!..» Пар растворился в синеве неба, как потом и сам пароход, ушедший в синеву моря.

Днем Петр Ржанов ездил с краснофлотцами по Севастополю и его окрестностям, показывая места минувшей, но не забытой славы русских моряков. Моряки посетили могилу Нахимова, возложив на нее венок с надписью: «Русскому адмиралу — коммунисты и комсомольцы балтийцы».

Академик Преображенский предложил Петру съездить вместе с ним на северный берег Большого рейда. Петр охотно согласился. На берегу Большого рейда высился одинокий курган, поросший полынью и вереском. Над курганом обращенный к морю, огромный, видимый издалека, деревянный, покосившийся крест — братская могила команды «Императрицы Марии».

Моряки прочли старую, стертую временем надпись, задумались на мгновение и, постояв, разошлись. Одни спустились к журчащему у подножия холма ручью, чтоб утолить жажду, другие — к морю. Петр отошел поодаль и, сняв китель, лег, глядя в бездонную синь неба.

Возле старой, забытой могилы остался один Преображенский наедине со своими мыслями. Мысли его были о прошлом.

И как тогда сквозь прозрачные воды смутно виднелись очертания покоящегося на дне моря корабля, так и теперь сквозь толщу лет увидел он то, что покоилось на дне его души. Неумолимая, безжалостная память перенесла его за грань давно прожитых дней. И он увидел вновь нависшую над рейдом огненную тучу, зарницы взрывов, горящую россыпь летающего по воздуху пороха, огненные струи, окутанные ядовитыми газами желтозеленого пламени, и стонущий гулом взрывов умирающий корабль, который походил на огнедышащий вулкан. Он видел безумно-храбрых людей, тщетно стремившихся спасти корабль ценой своей крови, ценой своей жизни. Так погиб и его сын...

То, о чем вспоминал Преображенский, случилось утром 7 октября 1916 года.

«Торпеда врага с подкравшейся ночью подводной лодки? Злой умысел? Самовозгорание? Разложение пороха?..» — эти вопросы занимали тогда многие умы.

Самовозгорание не могло иметь места. Процесс изготовления и анализы порохов не допускают этого. Мельчайшее исследование тщательно фиксировалось. Каждая партия пороха выдерживала все химические и технические испытания. Тем более это не могло случиться на его «Марии», где порох был «молодым».

Преображенский, блестящий инженер, до этого специалист по взрывчатым веществам, бывший руководитель минного офицерского класса и, наконец, глава всей технической части морского штаба, отбрасывал эту мысль. Подводной лодки врага не было. Оставалось одно — злой умысел. Но кто?..

Уже после революции из сумерек тайн стали выплывать мрачные тени былого. Это была вереница гнусных предательств, направляемая таинственной рукой. Кровавые следы тянулись к Берлину.

Незадолго до взрыва «Марии» был взорван итальянский линейный корабль «Леонардо да Винчи» и вскоре итальянский крейсер «Венеция». В Тулоне произошел взрыв французского броненосца, на Темзе — английского. Так же таинственно погиб русский крейсер «Жемчуг». «И все теперь, недавно... и все у союзников! Ни одного у врагов», — думал Преображенский, переносясь в прошлое и с расстояния этого прошлого оценивая происшедшие события.

В 1913 году, когда «Мария» была спущена, сын Преображенского — Петр, молодой офицер, нашел в бомбовом погребе корабля странную изящную безделушку. Никто не знал, зачем она. Тогда ее повертели в руках и выбросили в море. В июне пятнадцатого года, после того, как «Мария» вступила в строй Черноморского флота, в картузе порохового погреба вновь обнаружили несколько металлических трубочек. Они оказались взрывателями. Как они попали на корабль?

— О чем вы задумались, Михаил Серафимович? — спросил Петр, подходя к Преображенскому. — О прошлом?

— О прошлом? Нет, Петр Емельянович, я думаю о настоящем, — как бы пробуждаясь, сказал Преображенский.

И он действительно, вспоминая о «Марии», думал о недавно спущенных им крейсерах — «Сенявине», «Нахимове», «Истомине», «Корнилове» и «Макарове». Их, как и «Марию» тогда, облепляли теперь с разных бортов заводские баржи.

— Много у нас врагов. Надо держать ухо востро... Людей-

червей, предателей внутренних и наемников внешних много. Они были, есть и будут, — сказал Преображенский.

— Крест вам эти мысли навеял? — спросил Петр.

— Нет, что под крестом... — сказал старик со вздохом. — Поедемте, пора, я думаю. — И он поднялся с земли.

После обеда Петр выступал на заводах и кораблях с докладами о походе. Вечером гулял на приморском бульваре и после банкета в Доме флота заехал с черноморцами в ресторан — выпить за возвращение.

Усталый, но веселый вернулся Петр к ночи на корабль. Дежурный писарь подал ему телеграмму, в которой предлагалось срочно явиться в Ленинград, где ожидал его начальник морских сил.

На другой день вечером, простившись с краснофлотцами и командирами, Ржанов, Кузнецкий и Преображенский покинули город черноморского флота.

XVIII

С приездом в Ленинград Петр погрузился в атмосферу напряженно-деловой однообразности. Незадолго перед тем со дна залива была поднята потопленная русскими моряками в гражданскую войну английская подводная лодка. Теперь Петр руководил разборкой этого трофея.

На рассвете 10 апреля британский санитарный пароход забрал на свой борт сорок пять гробов и с приспущенным флагом повез печальный груз к берегам королевства, воскресив в памяти современников былую войну, страдания и забытую славу.

У ворот дока «Трех эсминцев», где происходила эта погрузка, стояло штабное начальство, иностранные атташе и кто-то из штатских, собравшихся на богослужение. Приглашенных было много.

Советское правительство на предложение английского продать трофей ответило отказом, хотя, как говорили в штабе, Британия предлагала за подводную лодку раз в пять больше ее стоимости.

Петр хотел было пройти вперед, где ему следовало стоять по своему рангу, но задержался. Собравшиеся перебрасывались различными замечаниями.

— Это было, как сейчас помню, — рассказывал шопотом моряк штатскому, позади которого остановился Петр, — на рассвете. Крадучись, подошла она... Я был в ту пору вахтен-

ным, а стояли мы на Большом рейде... — он показал на вест. — Вон, вон там... Видите, где чернеют надстройки затонувшего «Рюрика»?

— Там?

— Нет, левее... За фортом Петра Первого.

— Ага!.. — воскликнул штатский, наконец поняв. И Петр Ржанов услышал давно известный ему рассказ.

Не слушая, смотрел он туда, где по убранным цветами и крепом сходням, торопясь, вносили гробы. Он смотрел на полного священника в вишневой рясе, застывшего в смиренной позе с молитвенником. Этот священник что-то шептал и кивком головы будто отсчитывал число жертв.

Вокруг было серо и скучно. В небе в несколько слоев, перегоняя друг друга, неслись облака.

Прошло около часа. Небо местами прояснилось, и в прореху облаков вдруг брызнуло ослепительное солнце. Не подозревая того, что делалось на земле, и не обращая внимания на людей, оно радостно засверкало на всем: и на воде, и на позументах чужой формы, и на трубах оркестра.

— Как же узнали? — лениво осведомился штатский.

— Это целая история... Одним словом, сами же англичане проболтались.

— Кто этот высокий? — снова спросил штатский.

— Кажется, посол.

— Посол стоит вон там, у поручней, — подсказал кто-то, — видите, поправил сейчас перчатку... вон тот, где встал сейчас офицер...

— Не вижу...

— Вон, смотрит сюда... Повернул голову, видите?

— Толстяк?

— Нет, рядом с ним.

— Ага!

— А толстяк — это морской атташе, — пояснил невидимый, но знакомый Петру по голосу человек. Голос, он знал, принадлежал адъютанту начальника штаба бригады подплава.

— Любопытно, — продолжал адъютант, — что когда мы в первый раз проникли в лодку, воды там абсолютно не было. Трупы все походили на мумии и рассыпались, как труха, когда мы прикасались к ним.

«Что ты там болтаешь?» — подумал Петр, вспоминая, что адъютанта при вскрытии лодки не было.

— Интересно, — продолжал адъютант, — что у многих мы обнаружили огнестрельные раны.

— Скажите?! — удивился штатский.

— Но самое удивительное, что глубина, на которой лежала лодка, позволяла людям выбраться на поверхность посредством простого выбрасывания.

— Очень интересно, — сказал штатский, но таким тоном, который говорил обратное: что все это ему не только неинтересно, но и скучно.

— Простите, товарищ, который сейчас час? — спросил он навязчивого рассказчика.

— Без трех с половиной шесть. Сейчас будет побудка, как водится, — ответил адъютант.

— Благодарю, — сказал штатский и прошел вперед.

Адъютант хотел было поспешить за ним, но Петр придержал его.

— Перед кем это ты любезничаешь? — спросил Петр своего одноклассника по академии.

— А ты не знаешь? — удивился тот.

— Нет.

— Чудак!.. Это же новый хозяин Питера.

— Кто? — переспросил Петр, хмуря брови.

— Председатель Ленсовета, — пояснил адъютант. — Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Мужик он деловой, свойский... Хочешь? Пригодится.

— Ты приказ о рабочих моих оформил? — спросил Петр, желая переменить разговор.

— Пока не докладывал.

— Постарайся доложить. Я тебе вечером позвоню.

В это время оркестр заиграл похоронный марш, все вытянулись и замолкли. А вслед за этим на кораблях заиграли побудку, затрезвонили рынды, и военная гавань Кронштадта наполнилась шумом пробуждения.

И утро, и солнце, и жизнь вокруг заглушили собой панихидную мелодию, и вся эта надуманная, чуждая жизни торжественность показалась Петру и ненужной и даже кощунственной.

Не дождавшись конца ритуала, Петр покинул берег и с первым пароходом уехал в Ленинград.

На пароходе Петр полдороги читал, полдороги думал. Думал о том, что опять начнутся дни и ночи лихорадочной работы. «Ну, и хорошо, хватит, отдохнул», — говорил он себе и был доволен, что теперь что-то отлетело от него, не звало и не мешало. «Ах да, это трофей. Ну и хорошо, что с ним покончено», — думал он.

Пароход застопорил машины, коснулся левым бортом пристани и замер.

«Да, не забыть Егорке деньги занести», — подумал Петр, выходя на берег. И он направился наискосок, через дорогу к Военно-морскому училищу имени Фрунзе.

XIX

Книги, чертежи, модели, проекты и опять чертежи, чертежи... Лишь на короткие минуты отрывался Петр от своих занятий, и тогда особенно приятно было поговорить с людьми о чем-нибудь постороннем, чтобы отдохнуть после своего одиночества. Но разговор как-то сам собою переходил снова на дело и на заботы об этом деле. Одни говорили, что надо утвердить новую смету или подписать счета и чеки; другие приставали со своими контрпредложениями по деталям проекта, утверждая, что так будет лучше, и их надо было слушать. Третьи жаловались на своих подчиненных; четвертые, наоборот, на своих начальников; пятые вообще о чем-то говорили и спорили, и невозможно было понять, о чем они говорили и спорили, но их приходилось слушать, и они тоже занимали время.

Так летели дни. Петр проводил время в своей мастерской, на заводе или на эллинге. Когда ему в мастерскую приносили обед и напоминали об этом, он ел, если не напоминали — судки оставались нетронутыми.

Коллектив людей, подобранный Петром, работал хорошо. Случалось, что во время постройки лодки встречались всякие неожиданности, появлялись новые изобретения, вводились новые усовершенствования, и многое требовало бесконечных переделок. Петр, подшучивая над собой, говорил, что когда корабль будет спущен, то он не узнает его, так как от его первоначального проекта ничего не останется.

«А ведь этот мой помощник, флагманский инженер Леонов, оказался симпатичным, понимающим, хотя несколько странным товарищем, — подумал Петр, услышав за дверью его сочный баритон. — Почему странным? — спросил он себя. — Странным?.. Да нет, так показалось...»

Петр подошел к окну и задумался. И мысли его были все те же. Несмотря на решение Ленсовета о предоставлении заводу дополнительной территории, несмотря на ходатайство и внушительные мандаты, которыми Петр был снабжен, дело затягивалось. Думал он о рабочих, которых не хватало на стройке, — а не хватало и землекопов, и плотников, и метал-

листов; думал о заводах-поставщиках, о материалах, которых не то что не хватало, но которые, как правило, поступали с опозданием. Все это нервировало. Приходилось либо ничего не делать и ждать, либо «жать», как говорили рабочие, и жать крепко.

Петр настежь распахнул окно, и его обдало дыханием весны. От взрыхленной земли и прошлогодних листьев, собранных в кучи, пахло сочно и пряно. В подстриженных, с набухающими почками кустах газонов чирикали воробьи. На всех предметах, домах и деревьях был тот особый голубой с золотом тон весны. Все эти нежно-радостные звуки и краски первоначальной весны как-то не соответствовали озабоченным мыслям Петра.

«Вот весна дует себе, и ни на кого не надо обращать ей внимания», — думал Петр, прислушиваясь к ее тихому дыханию.

Это была уже шестая весна, которую видел Петр в этом году. Весна там, во Франции, Италии, Турции, весна в Крыму, Москве и, наконец, здесь, в Ленинграде. Правда, эта не была южной раскрасавицей, но бледнозеленые иглы травы, пробивающиеся из-под истлевших листьев, кудлатые ветви берез с коричневыми сережками, пушинки вербы были Петру ближе и радовали больше, чем все мимозы, померанцы и мирты юга.

Дверь кабинета отворилась, раму хлобыстнул сквозняк, и Петр услышал разговор:

— Нас пряником дарить не надобно. Мы работаем потому, что не можем не работать, и потому еще, что любим свою страну, — говорил Веригин, остановившись на пороге и давая дорогу инженеру Леонову.

— Прошу, прошу, — говорил вежливый Леонов Веригину, приглашая того к ржановскому столу.

«Старая школа, — подумал Петр. — Уж в чем, в чем, а в обхождении ему отказать нельзя. Молодец!»

— Получилось, Алексей Романович? — спросил Ржанов, обращаясь к Дудину.

— В самый раз, Петр Емельянович, а то как же!

Петр взялся было за телефон, чтоб позвонить в лабораторию, но Дудин остановил его:

— Кузьма сейчас принесет. Я велел ему.

По тону голоса и блеску глаз старого мастера Петр понял, что опыт удался. Дудин был счастлив. Счастлив за сына своего Кузьму, за Преображенского, а главное — за дело. А дело было большое. Технолог Кузьма Дудин, работавший под ру-

ководством академика Преображенского, добился новой стали. Она была в четыре раза прочнее и значительно легче обычной, применявшейся до этого в кораблестроении. «Самая, значит, корабельная, матушка», — говорил Дудин-старший.

Дудин с Веригиным сели у окна. Ржанов, шурша калькой, приготовлял чертежи мастерам новой смены. Леонов, доложив нужное Ржанову, вышел.

— Так, что насчет пряников, Михаил Григорьевич? — спросил Петр Веригина.

— Обижают, Петр Емельянович, — сказал Веригин, махнув энергично рукой.

— Да чем? Пряниками?..

— Ты погоди, ты не смейся! И разве мы за пряники работаем? — сказал Веригин, вставая и отходя от окна. — Первое, Петр Емельянович, разрешите доложить, работу по корпусу мы пошабашили, — отрапортовал он.

— Как пошабашили? — удивился Петр. — Ведь там, по всем расчетам, на две недели работы было.

— Хе-хе! Было!.. Бог предполагает, а человек располагает... Мы с Дудиным там новый метод сварки применили... Кабы теперь вспомогательные механизмы подоспели, то можно бы и к сборке приступать...

— Так, так, придумали, говорите?

— Вот я и спрашиваю, — продолжал Веригин, — кто же нас может осчастливить? Инженер Леонов? Он этого не может, да мы в этом и не нуждаемся.

— Почему же, Григорьевич? — спросил Ржанов.

— А видишь ли, Петр Емельянович, счастье — это то, чего человек желает для себя одного; благо, прости за старое слово, благо — это то, чего человек желает для себя вместе со всеми. Верно?

— Верно, — согласился Петр.

— После революции все честное желает блага России, — продолжал старый рабочий, — а благо достигается только любовью да умным трудом. Верно я говорю, Романыч?

— По-нашему, по-пролетарскому, в самый раз говоришь, — сказал Дудин.

— А инженер Леонов этого не понимает, — продолжал Веригин, — то-есть понимать-то он понимает, да все по-старому, по-своему. Ты, дескать, работай, а я тебя награжу пряником. Эти приемы — разврат. Это все равно, что любить мать свою за награду какую. Труд — не добродетель, Петр Емельянович, но главное условие добродетельной жизни.

XX

«Еще немного, а там на корабли. Начнутся походы и новая жизнь, о которой я так мечтал», — рассуждал Захар, шагая в строю по чугунной мостовой. Вон морской манеж, мост через Сухой овраг, ворота главвоенпорта и каменная стена, заросшая диким виноградом, в котором обитают сотни воробьев. Целыми стаями вылетают они оттуда с громким чириканьем всякий раз, когда парни с песнями проходят мимо этой заросшей стены. Вон там, на краю площади, почти у самого края оврага высится памятник адмиралу Макарову. «Буржуй, а стоит», — недоумевали некоторые. Дальше виднелся морской собор, и перед ним расстилалась пустынная Якорная площадь, опоясанная цепями, подвешенными к торчащим стволам старых пушек и проржавевшим якорям. «Да, старые пушки», — думал Захар, проходя мимо одной, вывороченной на сторону. «Кто знает, быть может, вы устрашали когда-то врагов и в огне своих залпов выковывали могущество моей Родины, свою славу и нашу гордость. И вы, — обращая свой взгляд к якорям, говорил Захар, — где, на каких широтах ни приходилось вам измерять океанские глубины под гордым русским андреевским флагом?..»

— Взять ногу! — приказал ротный командир. — Раз-два — левой! Запевалы, вперед! А ну, оторвем!

— «Если ранят очень больно, отделенному скажи...» — начал сиплый голос запевалы. Словно жалуясь, пел он эту странную, скучную, как параграф караульного устава, доморощенную песню.

— «Хором, хором, вместе, дружно! Нам во всем согласье нужно...» — подхватила рота и громко и озорно, проходя мимо заросшей виноградом стены. И опять, как всегда, с чириканьем и свистом выпорхнули из путаных, безлистных лоз на стене стаи всполошенных птиц.

Шагая в строю под такт дружной песни, Захар Лыков невольно задумался над тем, что было недавно. С первых дней своего пребывания на флоте Лыков почувствовал, словно все они попали в жесткие руки. Руки эти обминали, обивали, отряхивали и давали всей разнородной, шершавой массе парней известное направление. Лыкову и другим трудно было понять вначале, чем оправдана вся эта, как многим казалось, ненужная жесткость.

«Почему эти хмурые корпуса училища? Почему пустынный, булыжный двор, когда он мог быть иным? Почему этот

резкий, так оскорблявший его, тон старшин? Почему неуютно в жилых помещениях?» — спрашивал он себя и задавал себе еще десятки различных «почему», которые занимали Лыкова и на которые в первые дни он не находил ответа.

Работая на камбузе или дневаля по кубрику, перебирая картофель в баталерке, таская воду, стирая белье, убирая помещение — все, что бы ни делал Лыков, он всегда делал это с чувством собственного уважения. И Лыков однажды понял, что мозолистые руки военной службы не только не царапали его, а, напротив, ласкали его, и Лыкову было приятно чувствовать их прикосновение.

Лыков получил благодарность за отличную работу, и его имя, написанное крупными буквами на кумаче, было вывешено на почетном месте. Ему было приятно сознавать себя поднятым на высоту. Лыков на свое имя смотрел как-то со стороны, будто то был не он, а совсем другой, очень хороший, умный парень. Особенного в том, что сделал Лыков и за что ему командование вынесло благодарность, он не видел. Он работал так же, как всегда, без особого усердия, без желания обратить на себя внимание, а просто честно.

Вскоре Лыков получил второе поощрение и привлек к себе этим всеобщее внимание училища. О Лыкове заговорили в смене, в роте. Имя его появилось в газете, и это тоже было приятно ему.

После этого он все меньше и меньше стал ощущать прикосновение к себе жестких рук. От него словно отпали колодки внутреннего распорядка, и стало вдруг вольно.

Научившись исполнять все аккуратно и быстро, Лыков стал располагать свободным временем, которого до этого ему не хватало. Теперь он уже не нес дополнительных нарядов, не «драил» картофеля, не пилил дров, не работал на камбузе, не ездил в порт. Теперь всю эту черную, необходимую, но неблагодарную работу делал кто-то другой, а он только учился.

После уроков в классах Лыков читал. Совершенно неожиданно для себя он узнал, что является отличником учебы. Закон Ома не свел его с ума, как на это жаловались товарищи в смене. Лыков учился не то чтобы легко, а просто поставил учение на первое место и потому всегда получал «отлично».

За свое отношение к учебе Лыков также получил благодарность. Он был выделен из всей массы, и на него теперь указывали как на образец, как на ту ступень, к которой надо было стремиться другим.

А некоторых пришедших служить, неуклюжих, неряшливых, иногда нерадивых парней, подобно льну, обминали мялицею, выбивали трепкою. В училище всем порядком вещей били, колотили, мочили, стлали, сушили и вычесывали ческою их жесткую костру, с тем чтобы добиться нужной кудели.

— И добились... — произнес Лыков.

— Чего добились? О чем ты говоришь? — спросил Анютин, смотря на восторженное лицо товарища. — Творишь?..

— Скоро на корабли, Анюта! Теперь мы годны, теперь мы можем, — сказал Захар Лыков мечтательно, с благодарностью вспоминая мозолистые руки флота, которые напомнили ему мозолистые, заботливые руки матери.

XXI

На Якорной площади становилось жарко. Ровными квадратами чернели выстроенные роты моряков в бушлатах. Начальство складывало из этих живых квадратов батальоны, полки, а складывая, покрикивало и суетилось.

Было утро 1 мая 1930 года.

В новой, угловатой, еще не успевшей облечь тело форме стоял Лыков в строю. С фуражки на его плечи спускались, чуть шелестя, муаровые ленты с золотыми буквами. Ленты на фуражке — это своеобразное посвящение в моряки, признание равным в семье отважных. Захар сознавал это и гордился.

Моряки, одетые по всей форме, с оружием в руках стояли в сдержанном ожидании торжества.

Захар смотрел на памятник Макарову, который указывал рукой на восток, и мысленно взгляд Захара простирался туда, вдаль. «Почему он указывает туда?» — думал Захар Лыков.

— Почему он на восток показывает? — спросил кто-то.

— Показывает, да и все, — ответил сосед Захара.

По тону его голоса Лыков понял, что парень, которого спрашивали, и сам не знал этого. Не знал, но вывернулся.

— Ради востока вас, мол, сюда, салажат, и поставили на запад, — сказал Ермаков.

— Это пожалуй...

— Не шевелись, — прошептал Анютин, — командир сюда смотрит.

Парни на секунду замолчали, но потом снова послышался их оживленный и восторженный шопот:

— Ермаков, это кто же такой с бульдожьей челюстью?

— Где?

— Вон, к Минной школе подходит.

— Я не знаю.

— Чудаки! — встрял сосед справа. — Да ведь это царь и бог наш — начальник отдела комплектования.

Молодые говорили о своих заботах. Волновало многое: куда, на какое море спишут? На какой корабль? И скоро ли?

— Увольнять будут сегодня? — интересовался парень.

— Говорят, после обеда...

— Кабы в Ленинград, к своим!.. — мечтательно сказал кто-то позади Захара.

— Вон электроминка тронулась...

— Это не наши, береговые.

— В самый раз наши... к оврагу подтягивают.

— Равняй-сь! — раздалась команда ротного командира, который каждый раз, когда командовал, подымался на носки своих коротких, упругих ног. И вслед за ним эту же команду повторили старшины смен, напоминая собой Лыкову перекликающихся петухов.

Школу подвели к самому краю оврага. Здесь было тихо, пахло травой, выбивающейся по склону, и не так жарко.

— Какая школа?

— Электроминная, — последовал ответ.

— Кто вас сюда привел? Убирайтесь! Это место артиллерийской.

Электроминцев развернули и отвели на прежнее место.

— А не все ли равно, — ворчали парни, расположившиеся было на травке.

— Проходите, проходите, — размахивая руками, торопили адъютанты, на рукавах которых ослепительно блестели новенькие нашивки.

Солнце подымалось все выше и припекало крепче. Оно пронизывало жаром теплые бушлаты, оно блестело на медных, надраенных добела пуговицах, бляхах и на синих гранях штыков. Стоять было душно, хотелось пить. Хотелось расстегнуться, скинуть с себя суконные нагрудники, раздеться и подставить солнцу и нежному дуновению ветра свое обнаженное тело.

Захара Лыкова не раз тревожила мысль о том, как люди на войне, имея всего одну жизнь, не боятся умереть. «Ведь это не игра, не театр, а жизнь, — думал он. — Жизнь со всей ее красотой, ее природой, морями, лесами, пашнями. Жизнь со всей ее любовью, ее необъятным чарующим смыслом, этим

солнцем... И вдруг — на тебе, все это может оборваться. А потом?..»

Захар не мог себе представить того, как это можно перестать быть. Он чувствовал в себе столько энергии и силы, столько бурлило в его крови жизненных соков, что какая-то там смерть казалась ему не только далекой, но и вообще невозможной.

Лыков смотрел на морской собор. Тяжелый, мрачный, стоял он посреди площади каменной грудой. Его архитектура представляла собой бесталанное нагромождение: ни изящества, ни простоты. Его врыли здесь в землю, как врывают швартовальную тумбу на молу: прочно, чтобы не сдуло балтийским ветром.

«И чего по пустякам голову ломать? — говорил своим видом неуклюжий храм. — Живи себе, и все тут. Уж сколько я всего этого наслышался, навиделся, пока здесь стою!.. И другие, как ты, тоже так думали, цвели, тянулись к солнцу подсолнечником, а ушли... Слова были иные, а мысли все те же. И много их было, да всех время покосило. Живи себе! Тихо, смиренно, с боязнью...»

«Нет, нет, дылда, ты не прав, — возразил Лыков. — Разве это жизнь? Жизнь — это труд, борьба, мужество, любовь. Жить — это значит гореть, принадлежать стране, ее благу, сохранять в себе честь сердца и свежесть души до последнего вздоха».

— Вот счастье, вот жизнь! — воскликнул Лыков и, стукнув прикладом, отвернулся, подставляя свое лицо вешнему солнцу.

— См-и-ррр-на!.. — раздалась команда, отрепетованная десятками голосов полковых, батальонных, ротных и взводных командиров.

Ряды вздрогнули и застыли.

Высокий худой человек с бульдожьей челюстью стоял на дощатой трибуне и, обращаясь к морякам, громовым голосом произносил слова Красной присяги:

— «Я — сын трудового народа», — читал он, и тысячи людей одновременно, в одно дыхание повторяли эти простые, наизусть заученные слова.

— «И да покарает меня суровый закон...» — возглашал он дьяконским голосом, и опять все разом, потрясая площадь гулом голосов, вторили ему.

Захар чувствовал, как в его сердце проникало значение этих слов; и это значение укладывалось там навсегда, и так,

что вынуть это значение можно было, лишь разбив это сердце.

И то, что чувствовал Захар, чувствовали тысячи других Захаров, Иванов, Петров, Егоров — молодых граждан, дающих клятву.

Захар ощутил в словах присяги такую силу, словно умылся живой водой, от которой стал еще чище, еще выше и еще сильнее. Словно весь народ, которому присягал Захар, вдохнул в него свою силу, свою волю, и он стал богатырем.

И казалось Захару Лыкову, будто стоит он уже теперь не здесь, на Якорной площади Кронштадта, а на всем виду, перед всем народом, перед всей страной.

Лыков говорил негромко и не тихо, но клятву его — он знал это — слышали теперь всюду.

«Только почему клятва? — спросил Захар. — Клятва как-то мрачно, таинственно, и от этого слова попахивает божком. Я же весь принадлежу вам! Разве вы мне не верите?»

Белые чехлы бескозырок, как ромашки на лугу, заколыхались на площади. Начался парад. Стройными колоннами, под звуки оркестра, гулко отбивая по притоптанной земле шаг, держа оружие наперевес, тронулись полки.

Захар не обращал внимания ни на музыку, ни на крики приветствий, ни на громовое ответное «ура», ни на лица флагманов, стоявших на трибуне. Его занимало теперь только одно — родившееся в его душе новое, величественное чувство, и чувство это говорило: «Теперь не боюсь смерти, не боюсь!»

XXII

Встреча произошла как-то случайно и совсем не так, как он предполагал. А Захар предполагал ее так: они встретятся где-нибудь в обществе, например в Доме флота, нет, лучше среди народа, на улице, поправил он себя. «Я благодарю вас, — скажет ему Захар. — Я обязан вам своей жизнью», — и крепко пожмет его руку. Или, еще лучше, дружески обнимет и поцелует.

«Полно, что вы, вы поступили бы на моем месте точно так же, — ответит он, — это долг каждого».

Захар Лыков не знал имени спасшего его человека и не помнил его. Но в своем воображении представлял его себе красивым, честным, смелым и умным. И Захар, не зная этого человека, уже любил его. Ему хотелось, чтобы человек этот был таким, каким он представлял его. Всякий раз, когда Захар проходил по улицам Кронштадта, он вглядывался в лица,

искал среди бескозырок этот им самим выдуманный образ и не находил его.

Однажды Лыков возвращался из порта на корабль с бухтой тяжелого, освинцованного провода. На скамейке, мимо которой он проходил, сидели трое моряков с чемоданами и ящиками казенного образца. Лыков подошел к ним, чтобы передохнуть.

Моряки с увлечением говорили о предстоящем походе. В их словах, мимике и жестах был тот особый, залихватский оттенок и молодцеватая удаль, которая кипит и брызжет и которой бывает море по колено. Захар сразу почувствовал это.

Красивый моряк в щегольски сидящей на нем новой командирской форме с двумя средними нашивками отодвинулся в сторону, давая место Захару. Он умными, несколько озорными глазами долго смотрел на Захара в упор в той развязной манере — Захар знал это, — которую иные напускали на себя, и, обращаясь к своим приятелям, сказал:

— Вот, кажется, этого салажонка я выудил однажды из воды. Ты не тонул в прошлом году, а? — спросил он Захара.

Моряки, услышав это, почему-то засмеялись.

— Он тебе, Егор, бутылки не поставил? — спросил один из них.

— Придется, парень. Литром, меньше не ополоснешь свою душу, — поддержал другой.

— Курить у тебя есть? — спросил тот, первый, фуражка которого была так сплюснута, что на ней нельзя было разобрать названия корабля.

— Нет, — ответил Захар, — я не курю.

— И видно, что ты утенок... — И моряки громко засмеялись.

Разговор про вино, искусственный, как показалось Захару, смех, грубость обращения оскорбили Лыкова.

— Я благодарю вас... но я бы хотел... Я бы хотел не так, — проговорил Захар, волнуясь и подбирая слова. — Это воспоминание для меня дорого, а вы... вы мараете его...

— Ишь ты! — воскликнул тот, которого звали Егором. — Подумаешь, мараете! — повторил он слова Захара. — Пошли, ребята! — добавил он.

Все трое поднялись со скамейки и, отряхиваясь и поправляясь, захватив свое имущество, пошли по аллее, о чем-то разговаривая, смеясь и дурачась.

Последние слова моряка почему-то убедили Захара в том, что он не ошибся. Что моряк этот был именно таким, каким

представлял его себе Захар в своем воображении, — умным, красивым, смелым, а вовсе не таким, каким он пытался казаться.

Здесь же на скамье, в аллее, Захар написал стихотворение: «Я встречи ждал иной, мой неизвестный друг...»

XXIII

Механик Аркадий Наумов был болен. Сухопарин исполнял его обязанности. В тоне его голоса звучали теперь особые, начальнические нотки. Сухопарин подражал Наумову. Ему нравилось быть старшим. Он даже и не старался скрыть это свое честолюбивое желание, так как весь светился этим желанием.

Сухопарин искал среди краснофлотцев и курсантов популярности. Но именно поэтому он был предметом острот, насмешек и анекдотов. На корабле его звали Ланцетик или Тюлень и уверяли, что ланцетик по-латински означает водяное божество. Сухопарин верил. Он был столь же глуп, сколь толст и неряшлив. Он был с круглым, оплывшим лицом, с маленькими, поросячьими, вечно вытаращенными глазками. И глазки эти выражали только два состояния. Они говорили либо о том, что Сухопарин обдумал сейчас маленькую гадливую историю, либо, что он объелся и у него болит его толстый живот. Другого они не выражали.

— Смир-рно! — скомандовал трюмный Ванин, полушутя-полусерьезно, как выйдет, когда Сухопарин спустился в машинное отделение.

— Вольно! — ответил Сухопарин с достоинством, окончательно войдя в роль механика корабля.

— Дурковат больно! — шепнул машинист в рифму под дружный хохот команды.

— Нечего, нечего, отставить! — сказал Сухопарин, нисколько не смущаясь такой встречей.

Он подошел к выгородке, посмотрел в отделение динамомашины и, убедившись, что посторонних нет, продолжал:

— Вот, братишки, дела какие... Опять, значит, кто-то орудует...

— Ты про что? — спросили моряки.

Сухопарин, не отвечая, открыл крышку конторки, где хранился машинный вахтенный журнал, вынул оттуда какой-то предмет, завернутый в бумагу, и развернул его.

— Добрушин, твой болт, а ты искал!

— Где? Врешь... — отозвался кочегар.

— Смотри, твой и есть. У Ланцетика в лапах.

Добрушин подошел к Сухопарину и протянул руку, чтобы взять болт. Сухопарин отстранил его руку. Прищурив глаза, он вертел болт в своих жирных, кургузых, с грязью под ногтями, пальцах.

— А мне на завод бегать пришлось, точить. Зачем прятал? — спросил Добрушин.

— Этот предмет мы обнаружили в насосе, — сказал Сухопарин. — Чье это заведование? — спросил он строго и так, как всегда спрашивал в подобных случаях Наумов, и так же, как он, глядя куда-то мимо глаз своего собеседника.

— Мое. Не знаешь, что ль? — ответил Добрушин.

— Вам придется ответить!

— Брось, Тюлень, чего травишь?!. Какая-то язва слямзила. Не часовых же у тисков ставить. «Ответить»!.. — передразнил он.

— Это дело серьезное, — сказал Сухопарин.

— Вот и я говорю: серьезное. Мы время тратим, запасные точим, а он их по ящикам прячет...

— Не забывайтесь, товарищ старшина, — пригрозил Сухопарин.

— Когда ты его нашел? — спросил Добрушин.

— Третьего дня.

— А болт у меня два дня как пропал.

— Два?

— Два, — подтвердил Добрушин.

— Этого я не знаю, — ответил Сухопарин. — Третьего дня он найден мною в насосе.

— Будет врать-то! — перебил его Влас Травин, спускаясь в машину. — Два дня тому назад мы этим насосом забортную воду качали, и ты же запускал. Забыл?

— Бюро разберет детально, — сказал Сухопарин, заворачивая и пряча болт в карман. — Это дело билетом пахнет...

— Чего бюро?.. Чего пахнет?.. Самим прежде разобраться надо, — сказал Добрушин. — А партией, Сухопарин, нас не стращай, — чай, не бука. И мы ей не чужие. Воду мутит Тюлень.

— Похоже, — согласились моряки.

Больной механик Наумов специально был приглашен на заседание. Сухопарин на бюро говорил о тайных силах капиталистического окружения, уроках шахтинского дела, цитировал слова из «Правды», переписанные им в свой блокнот, при-

водил решения XVI партийного съезда и требовал непримиримости к классовым врагам.

Рябинин смотрел то на Сухопарина, то на Наумова, сравнивал их обоих и думал, что из Сухопарина, пожалуй, можно выточить таких, как Наумов, трех, а двух наверняка, и даже останется.

Под конец своей речи Сухопарин больше жестикулировал руками и всем совал обнаруженный им в насосе болт.

— Меня удивляет то, — кричал он, — как некоторые партийцы относятся к фактам вражеских действий!..

— Кого ты подозреваешь? — спросил Веригин.

— Надо отвечать за свое заведование. Каждый отвечает за свой участок. Так учит партия.

— Это мы уже слышали. Факты?..

— Факты налицо. Вот! — и Сухопарин снова показывал болт.

— Что ты предлагаешь?

— Я призываю к большевистской бдительности.

— Мы приветствуем твое предложение. Но большевистская бдительность — это не только теория, а и практика.

— А разве это не практика, не практика? Что? — спрашивал Сухопарин, и круглые его глазки поблескивали хитрецою. — Наша задача искоренять...

— Не авраль! Твои предложения? — спросил Рябинин.

— Надо записать в сегодняшнем решении...

— Что, кому записать? Добрушину?

— Всем. Записать и отметить, наконец, в нашей организации положительные явления по разоблачению вредительских махинаций.

— Ну, это не к спеху. Это мы как-нибудь в другой раз, — возразил Веригин. — А вот если кому записать, так это прежде всего тебе, как исполняющему обязанности корабельного механика.

— Мне? — с удивлением и страхом спросил Сухопарин.

— Да, тебе, — подтвердил Веригин. — За неумную шумиху вокруг всего этого.

— Выходит, что надо замазывать?

— Не кричать, а делать.

— Я и делаю.

— Пока только болтаешь.

— Я не раз сигнализировал в коллектив.

— А я думаю, что Сухопарину надо сегодня указать... указать на имеющиеся в машине непорядки.

Бюро партийного коллектива корабля отнеслось к заявлению и вещественному доказательству, как показалось Сухопарину, странно.

«Ну, хорошо, — говорил себе Сухопарин, выходя с заседания, — хорошо! Я вам докажу!..»

После бюро Сухопарин по кубрикам и каютам повел исподтишка разговор о странной линии Веригина, непонятной линии комиссара корабля, оппортунизме бюро, которое плетется у них на шкентеле.

XXIV

Был день отдыха. Рябинин сидел в своем центральном посту и скучал. Ему хотелось поехать в Ленинград, «развернуться», как он говорил. Но «развернуться» было не на что: не было денег. Из штаба флота все еще не приходил ответ, хотя прошло уже более месяца.

«Ну и лих с ними!» — сказал себе однажды Рябинин и старался больше не думать ни о штабе, ни о своем изобретении. Он старался не думать, а думы об этом как-то сами собой забирались в голову. Он пытался занять себя каким-нибудь делом, но дело валилось из рук. Рябинин чувствовал себя так, словно внутри него была пружина, а пружину эту кто-то взял и накрутил. И под действием этой пружины он все время куда-то стремился и не находил себе места.

На походе, сменившись с вахты, Рябинин подолгу спал. Он просыпался только для того, чтобы пообедать, поужинать или выпить чаю, и снова заваливался на боковую. Но и это надоело. Чтобы прогнать хандру и ослабить действие внутренней пружины, Рябинин снял гитару, рванул по струнам и, усевшись поудобнее на койку, запел одну из тех песенок прошлого, которые втихую, понизам, как крысы, обитают еще на кораблях.

Но играть и петь Рябинину тоже было скучно, и он отложил гитару.

— Алло, Митрич! — приподымая крышку люка и заглядывая вниз, крикнул Ванин.

— Достал? — спросил его Рябинин.

— Пустота, — ответил тот, спускаясь в центральный пост и закрывая за собой крышку люка. — Да, Митрич, жизнь, видно, дала трещину. Ни у кого денег нет. Хоть бы выпить!

— Не на что.

— Кабы спиртику!

— Взять негде.

— Выписать.

— Наумов болен? — спросил Рябинин.

— Болен.

Рябинин задумался.

— Пиши, говорю, — настаивал Ванин. — Ланцетику дадим, он враз подмахнет.

— Это идея.

Рябинин вызвал электрика Зосимова и проинструктировал его:

— Придешь и рапортанешь: товарищ, мол, механик и прочее и прочее, по уставу.

— Как бы не догадался, — заметил Зосимов.

— Ни в жизнь! — вставил Ванин.

— Не твое дело, — продолжал Рябинин. — Ты в случае чего знать не знаешь и ведать не ведаешь. По приказанию, мол, старшины. Иди!

В требовании, которое выписал Рябинин и которое должен был подписать Сухопарин за механика, значилось два литра спирта для... Эта графа на секунду озадачила приятелей.

— Вот тут буза получается, — сказал Рябинин останавливаясь.

— А ты что-нибудь позадиристей. Этакими, знаешь, учеными словами вырази, — советовал трюмный. — Напиши так, чтобы в них ни рожна не понять. Сухопарин заграничные слова любит, я это знаю. Пиши!

Рябинин ухмыльнулся и четким почерком вывел: «Для отдраивания синусоид и амплитуд».

— Ну вот, теперь, Зосимов, ступай!

Электрик замялся.

— Вали, вали, чего! Без спирта на глаза не показывайся. Вот тебе для отвода глаз еще требование на провода. Это сперва, а спирт потом.

Зосимов удалился.

Сухопарин, пока механик Наумов болел, переселился в его каюту. В то время, когда Зосимов постучал в дверь, Сухопарин сидел и читал Аркадия Аверченко, купленного им на толкучке. При стуке он спрятал книгу под подушку и, взяв «Капитал» Маркса и склонившись над ним, сказал:

— Да!

— Разрешите, товарищ механик? — проговорил Зосимов, входя в каюту, козыряя и вытягиваясь.

— В чем дело? — спросил Сухопарин с видом глубокой озабоченности, не поворачивая головы.

— Старшина просит вас подписать требование... — электрик снова козырнул и подал бумаги.

Сухопарин всегда показывал вид, что он очень занят, и занят не своими маленькими делами, а большими, общественными вопросами. Он делал вид, что очень обременен, что у него нет времени, стараясь при этом напустить на свое лицо заботу и усталость. Но люди, окружавшие его, видели, что это была лишь ширма, а за ширмой «вакуум», как говорили в команде.

— А ну, покажи, — сказал Сухопарин с таким видом, как будто его оторвали от чего-то особенно важного и спешного. — «Провода освинцованного пятнадцать квадрат», — читал он.

— А не много?

— В обрез, товарищ механик.

— Ладно. — И Сухопарин старательно вывел свое имя. — А это что? — спросил он.

— Не знаю, товарищ механик, старшина велел. — И Зосимов подал ему второе требование.

— «Для отдраивания синусоид и амплитуд», — читал он вслух. — Это где же?

— В сперри-компасе где-то, — не моргнув глазом, соврал Зосимов. «Ну, влип старшина», — подумал он, глядя на Сухопарина, стараясь прочесть на его лице признаки догадки.

— Что-то многовато выписываете? — спросил Сухопарин.

«Не понял, шляпа», — подумал электрик, а вслух сказал:

— Обычная норма, товарищ механик.

— Полтора заглаза хватит, — возразил Сухопарин и, исправив цифру, подписал и возвратил требование.

— Скажи Рябинину, что механик больше не разрешает. Скажи, что надо казенное имущество беречь.

— Есть беречь казенное имущество! — ответил Зосимов, еле удерживаясь от смеха, и, выйдя из каюты, опрометью бросился в баталерку.

Бутыль спирта была получена.

— Ты, Зосимов, этот человеческий электролит спрячь в кладовку.

— Как спрячь? А выпивон когда же? — спросил Ванин, облизывая губы, не веря словам Рябинина.

— Ты что, рехнулся? — сказал Рябинин. — Убери эту бутылку, как вещественное доказательство глубин ума Тюленя, да смотрите... — И Рябинин погрозил обоим кулаком.

XXV

Перед уходом на совещание новый военком корабля вызвал к себе Рябинина. Он передал ему от своей каюты ключи и просил исправить настольную лампу.

— Надо тебе, товарищ Рябинин, завтра в Ленинград, на «Красный путиловец» съездить. Я тебя включил в рейд-поход по проверке рабочих предложений и изобретений.

— Есть, товарищ комиссар!

Отвечая на вопросы комиссара, Рябинин проводил его до сходен и, проводив, пошел в каюту. Он просмотрел несколько новых книг, лежавших на полке, опустился в кресло, закурил и задумался. И думы эти были все те же.

«Признают или не признают? Нужно это или не нужно?» — думал он.

Окна каюты комиссара выходили на шканцы *. На освещенной солнцем палубе работали люди. Машинально листая книгу, Рябинин смотрел на палубу. Вот куда-то, спеша и кряхтя, побрел Терентий Ильич, как всегда суетясь и о чем-то разговаривая сам с собою. Вот писарь Крючков, которого звали на корабле Ситуация, звали за любимое им слово, кстати и некстати употребляемое. Крючков присел на лазаретный люк, вынул из кармана зеркальце, подавил свой нос и кокетливо, как девчонка, стал слюнявить пальцы и прилизывать ими брови. От этого занятия его отпугнул старпом Бусыгин, который появился на палубе. Похрамывая, прошел он по левому борту, перегнулся через фальшборт, что-то разглядывая за бортом, задумался, покачал головой и, почесав себе под коленкой, исчез в люке.

Вот, позевывая и потягиваясь, щурясь на солнце, вышел из камбуза кок. Вся его упитанная фигура была исполнена покоя, равнодушия и сна. Кок свистнул и, подозвав к себе рыжего щенка, принялся с ним за очередное «прохождение службы», вознаграждая его успехи кусочками говядины.

Потом несколько раз прошмыгал в своих опорках Сухопарин. Видя, что никого нет, он не спеша, с развальцей принялся перематывать свои шланги. Окончив работу, Сухопарин подошел к окнам каюты комиссара, снял фуражку и, смотрясь в них, как в зеркало, принялся расчесывать свои жидкие волосы, стараясь прикрыть ими лысину. Когда Сухопарин подошел к окнам, заглянул в них, Рябинин невольно углубился в крес-

---

* Часть верхней палубы между средней и задней мачтой.

ло, чтобы не выдать своего присутствия. Но в каюте было темно, и с палубы ничего не было видно. И странно было наблюдать за человеком, который не подозревал, что на него в этот момент смотрят. Странно благодаря той обнаженной интимности, которая бывает свойственна людям, когда они остаются сами с собой, и наблюдая которую мы сами зачастую испытываем чувство смущения. Подобное чувство было и у Рябинина.

Внезапно Сухопарин весь оживился и, озираясь по сторонам, необычно быстро вынул из кармана наган, посмотрел на него и снова спрятал. Потом он подошел к борту, опять достал наган, снова посмотрел на него и швырнул за борт.

— Чудеса! — воскликнул Рябинин и никак не мог объяснить себе причину сухопаринского поступка.

Наладив лампу, он вышел из каюты, обдумывая, как ему поступить с тем, что только что сейчас довелось увидеть.

«Может, это мне только почудилось? — спросил он себя. — Да нет, как же почудилось, когда сам, своими глазами видел», — возразил он. И вдруг вспомнил и про гайку, и про болты, и про гвозди, которые находил среди движущих частей машин Сухопарин, и ему стало сразу все ясно.

«А кто мне поверит, где доказательства?» — спросил себя Рябинин и решил до поры до времени выждать и посмотреть, что будет дальше. С этим он и уехал в Ленинград.

Вскоре обнаружилась пропажа оружия. Пошли разговоры, предположения, поиски, обыски... Все чувствовали себя на корабле препротивно, гадко. Сухопарин в составе обыскной комиссии, назначенной старшим помощником, шарил по рундукам, чемоданам и отсекам. Потом начались допросы, показания. Сор из избы, чего так боялся Георгий Кузьмич Бусыгин, был выметен. В отряде заговорили о краже на «Совете». Старшине Добрушину, который хранил оружие и отвечал за него, грозило не меньше пяти лет... Он круглые сутки, как тень, бродил по кораблю и все искал, искал...

— Странно, дико, чудовищно! — сказал секретарь партийного бюро, когда коммунисты обсуждали это дело.

Комиссар сказал еще короче; он сказал одно слово: «Позор!» — и было видно, как ему и стыдно и больно.

Сухопарин на партийном бюро был особенно активен. Пары его энтузиазма по борьбе с вредительством поднялись до предела.

— Мы не можем поощрять ротозеев!.. Может быть, для некоторых это тоже не является достаточным сигналом, — го-

ворил Сухопарин, смотря на Веригина. — Мы, я... мы требуем исключить Добрушина из партии.

— Не будем торопиться, товарищи, — сказал Влас Травин, — всякое бывает.

— Это гнилой... гнилой, — Сухопарин запнулся и никак не мог подобрать нужное ему слово. Тогда он вынул свой блокнот. — «За ротозейство, приведшее к пропаже революционного оружия, отметая гнилой либерализм некоторой части... бюро единогласно постановляет: члена партии с двадцать девятого года Добрушина из своих рядов исключить», — прочитал Сухопарин свой проект, заготовленный им заранее.

— Не будем, да и не стоит торопиться, — повторил Травин, взяв слово. — От всех этих сухопаринских болтов и гаек попахивает... — он хотел сказать «авантюризмом», но не сказал.— Ну, как вам сказать, — продолжал моряк, — одним словом, удивляет меня то, что Сухопарину так чертовски везет на все эти находки. Мне бы хоть шурупик маленький где сыскать. Короче, я советую с наганом полегче, — заключил он, в упор смотря в тусклые глаза Сухопарина.

Бюро после бурного обсуждения большинством в два голоса приняло формулировку Сухопарина, опустив лишь из нее слово «революционного».

После отбоя, когда заседание бюро только что окончилось и коммунисты расходились, Дмитрий Рябинин вернулся на корабль. Узнав об участи Добрушина, он опрометью спустился в жилую палубу.

— Вы ошалели? Вы это что же наделали, а? — кричал Рябинин, врываясь в коллектив. Лицо его горело, глаза сверкали, и он так неистово размахивал руками, словно звал на абордаж.

— Погоди, ты о чем? Ты это на кого? — спросил Травин, удивляясь его горячности.

— На тебя, на вас всех!.. — сказал Рябинин, влепив при этом крепкое словцо.

— А, Митрич! Здравствуй, Митрич, — сказал Сухопарин приторным голосом, протягивая ему руку.

— Никогда! — сказал Рябинин и спрятал руку за спину. Он видел, каков Сухопарин, сквозь то, чем он хотел казаться. Казаться же Сухопарин хотел коммунистом, и это было лишь сверху, а под демагогической оболочкой были мерзость, грязь и ложь. Он давно считал Сухопарина человеком-плевком и потому руки ему не подал.

Когда на бюро пришел комиссар корабля, Рябинин рассказал коммунистам, как было.

XXVI

«Совет» стоял в Луге, среди топких берегов. На отмели рыбаки шпаклевали и красили свои лодки. И ветер доносил на корабль приятный запах смолы. Погода хмурилась и грозила дождем. Перед обедом над кораблем пролетел самолет и, сделав круг, сбросил на парашюте почту. Моряки жадно следили за разбором конвертов.

— Морскому солдату Никите Пшенову, — читал Зосимов, ведавший корабельной почтой.

— А ну-ка, морской солдат, — смеялись парни, — оторви!

И, кто на губах, кто на расческах, подложив курительную бумагу, заиграли «Яблочко». Молодой, по первому году служащий краснофлотец, стесняясь, неумело двигая ногами, прошелся по кругу.

— Гавриле Кленову! — оповещал почтальон. — Из Рязани, — добавил он.

— Пусть тоже пляшет.

И строевой Кленов вошел в круг, сменив собой Пшенова, и, выкинув гримасу, получил письмо.

— Дмитрию Рябинину из Ленинграда! Товарищ старшина! — крикнул Зосимов. — Еще Рябинину — из Петергофа...

— Митрич, песенку! — закричали голоса.

— Пусть сыграет.

— Ладно, потом, — спрыгивая с рундука, сказал Рябинин, подходя к центру.

— Не давай письма, пусть номерок представит. Да, да, по-честному!..

Делать было нечего. Пришлось подчиниться.

В разгар коротких плясок и песен в кубрик вошел старпом Бусыгин.

— Это почему? Дневальный! Почему в рабочее время? — спросил он строго.

— Письма отыгрываем, — замешавшись, ответил дневальный.

— Не дело, не дело...

— Егору Кузьмичу Бусыгину, — громко и нараспев произнес почтальон. — Из Волочка, товарищ командир, — добавил он, подавая конверт. — Нет, прежде чего-нибудь... — движимый волной веселого настроения, сказал он.

— Сплясать командиру, — подхватили голоса, и моряки обступили старпома.

И как-то особенно дико и весело, сразу, словно сговорившись, запели лезгинку.

— Асса! Асса! — выкрикивали все, хлопая в ладоши и притопывая ногами.

А в кругу, забыв свою строгость, уступая общему неизъяснимому веселью, размахивая руками, кружился и скакал боком Георгий Кузьмич.

— Спровоцировали!.. Ведь вот, а!.. — говорил Бусыгин, запыхавшись. По глазам и по его улыбке было видно, что он очень ждал этого письма и был рад ему. — Поплясали... попляшите,— поправился Бусыгин, — и хватит, — и он поспешно ушел в кают-компанию.

А на ужин вдруг без всякого расписания сварили сладкий компот. И никто не знал, что это объяснялось хорошим настроением Бусыгина. А хорошее настроение заключалось в письме, которое он получил из дому.

После вечерней поверки Рябинин лег. Он уже в третий раз перечитывал полученные письма. В них были надежда, упрек, сожаление и любовь. Тоненькие, так знакомые ему строки как бы перенесли его в прошедшее, а это прошедшее теперь казалось ему особенно милым. Маленькие буковки словно оживили звук ее голоса, и голос этот звучал теперь здесь, на корабле, так жизненно и так ясно. Рябинину показалось, что он ощущает ее присутствие, ее теплоту. Это приятное воображение было прервано дудкой.

— Митрич, к командиру корабля, срочно! Слышишь, что ль, Митрич?! — кричал вахтенный наверху. — Николай Николаевич требует, давай! — торопил вахтенный.

— Есть! «Коли насчет спирту... скажу, что подшутил, чтобы разыграть Тюленя», — подумал Рябинин вставая.

— По вашему приказанию старшина штурманских электриков прибыл! — переступив порог и стукнув каблуками, отрапортовал Рябинин.

— Добрый вечер, Дмитрий Степанович, садитесь, — сказал командир корабля, подавая руку.

«Тонко разыгрывает, — подумал Рябинин здороваясь. — За что он мне «нафитилять» хочет? У меня, кажется, все в порядке. Может, это мои архаровцы выкинули что-нибудь», — и он задумался.

— Садитесь, Дмитрий Степанович, — повторил командир, указывая на кресло. — Одну минутку, и я закончу.

В каюте командира было уютно. Николай Николаевич почти безвыездно находился на корабле, посвящая все свое сво-

бодное время работе над историей флота России. Мягкие кресла, красного дерева стол, семейные фотографии с женскими лицами, непременные цветы в кувшине, лампа под абажуром, статуэтка Л. Толстого, высокая, во всю стену каюты книжная полка создавали тот особый, спокойный уют, от которого веяло берегом и домом.

— Где думаете служить в дальнейшем, Дмитрий Степанович? — спросил командир, откладывая перо.

— Попрежнему на вверенном вам корабле.

— Та-ак, — произнес командир и, открыв стол, стал что-то разыскивать среди папок.

«Куда клонит?» — думал Рябинин, стараясь объяснить себе причину вызова, вопроса и внезапного необычного обращения к себе по имени и отчеству.

— Вы владеете немецким? — спросил командир.

— Плохо, по складам, товарищ командир, наподобие отца Варлаама, если уж очень надо...

— Английским?

— Есть.

— Вы бы не хотели перевестись на другой корабль? — спросил командир, переходя на английский.

— Нет, я хотел бы продолжать службу на «Совете», — ответил Рябинин также по-английски.

— Очень хорошо, — сказал командир. — Мне бы тоже не хотелось расставаться с вами. Ну, так вот... Комиссар вам ничего не говорил?

— Нет.

— Я должен вам нечто сообщить... Вы догадываетесь?

— Да ведь разное может быть, — сказал Рябинин, переходя на русский язык. — Может, о моей чертовщине? — спросил он уклончиво.

— Вы угадали.

Командир раскрыл папку и вынул бумагу.

— Это приказ. Слушайте.

«Встать или не надо?»— подумал Рябинин, когда командир сказал, что это приказ. Приказы старшина Рябинин привык слушать всегда стоя и всегда в строю. Теперь же он сидел в кресле, у командира корабля.

— Вот слушайте. — И Николай Николаевич стал читать: — «Изобретение старшины штурманского электрика срока службы 1926 года и т. д., — эти подробности командир корабля опустил, — изобретение, — продолжал он, — признать значительным», — по складам, громко произнес командир. — Вы по-

нимаете, Дмитрий Степанович, — зна-чи-тель-ным, — повторил командир, — «...и принять на вооружение действующих кораблей Рабоче-Крестьянского Красного Флота под наименованием «прибора Рябинина».

— Иди ты!!! — вскрикнул Рябинин и, бросившись на командира, сжимая его в своих объятиях, принялся целовать.

— Тише, тише!..

— Нечего! Отставить! Ур-ра! — закричал Рябинин и, подхватив командира на руки, стал кружиться с ним по каюте. Полетели стулья, посыпались книги. Рукописям и предметам, лежавшим на столе, угрожала та же участь.

— Да полно, отставить! Вы мне часы раздавите! — стараясь освободиться из объятий и достать пол ногами, говорил командир. — Вот бык! Право, бык! Ну и силища!.. — убеждал командир, все еще находясь на руках Рябинина.

Привлеченный шумом и грохотом, в каюту командира вошел военком.

— Командира бьют! — сказал он смеясь. — Николай Николаевич, помочь?

— Освободите, он меня задушит!

Рябинин поставил командира на пол.

— Экая сила!.. Измял всего, — говорил командир оправляясь.

— Ты что ж командира уродуешь, а? — спросил комиссар.

— Да ведь дело-то какое! Товарищ комиссар... — и, не договорив, Рябинин быстро нагнулся, подхватил под ноги комиссара и закружился с ним по каюте.

Командир весело смеялся, придерживая вещи и сторонясь.

— Эй, парень, стоп! Ты мне ноги поломаешь! — урезонивал военком Рябинина.

— Даешь!.. — кричал Рябинин, лавируя между мебелью с комиссаром на руках.

— Ну, поставь меня, хватит.

Рябинин поставил.

— Я же вам, Николай Николаевич, говорил, что опасно, — сказал комиссар, потирая руку. — Его предварительно связать надо было. Смотри, ну что ты наделал?! Испортил руку-то, — сказал он, потирая локоть.

— Дальше я действительно боюсь читать... Слон, право, слон! — сказал командир.

— Я не буду больше, — сказал Рябинин и отошел от стола.

— Садитесь, садитесь. Я вам еще кое-что прочту.

Рябинин присел.

— «...под наименованием «прибора Рябинина»... Это мы читали. Вот... «Выдать изобретателю денежную премию в размере...» Товарищ военком, придержите его, пожалуйста. Обещайте мне больше не скакать, хорошо? — сказал он, обращаясь к Рябинину.

— Есть! — ответил Рябинин краснея.

— Сколько вы думаете вам назначено? — спросил командир.

— Тыщонки три, — сказал комиссар улыбаясь.

— Вы, Рябинин, как думаете?

— Ей-ей, не знаю...

— Берите больше, ну...

— Ну, Рябинин, по-твоему? — спросил комиссар.

— Как комиссар, три, наверное.

— Сто, — сказал командир корабля. — Говорил, больше берите. — И командир поспешно встал, чтобы предупредить налет со стороны Рябинина. Но Рябинин сидел спокойно.

— Это за что же? — спросил он.

— За труд.

— Ну, это зря. Труд... Какой же труд? Так, между делом...

— Разве ты больше не собираешься работать? — спросил комиссар.

— Работать? Нет, работать я буду. Впрочем, вы правы, деньги пригодятся. Есть у меня одна штука... Вот кабы ее осуществить!.. — и он задумался.

— Поздравляем вас, Дмитрий Степанович, — сказал командир, подавая руку. — В добрую голову сто рук.

— Спасибо! — ответил Рябинин и снова смутился.

— Штука, говоришь, — ну, продолжай, голова у тебя, как видно, хорошая, — сказал комиссар.

Рябинин был сильно смущен тем, что произошло. Он, конечно, ожидал признания, но не этого. Главное, что радовало его, был прибор его имени.

— Вы мне позволите удалиться? — сказал Рябинин, вставая и чувствуя, как волнение охватывает его все больше и больше.

— Нет, тут есть еще пунктик. Читайте, — сказал командир, подавая Рябинину свод приказов, от которых приятно пахло свежей типографской краской.

«Оценивая заслуги в деле боевой подготовки Рабоче-Крестьянского Красного Флота, — говорилось в приказе наркомвоенмора, — изобретателю Рябинину Дмитрию Степановичу присвоить воинское звание среднего командира».

— Полно!!! — воскликнул Рябинин и снова бросился на командира корабля.

— Часы, мои часы!.. — успел проговорить командир.

— Да что там часы! Жми, дави!.. — кричал Рябинин.

И он жал и давил так, что командир корабля только покряхтывал. Потом он оставил командира и кинулся на комиссара и расцеловал его.

— Ну что? — спросил комиссар, желая знать, как чувствует себя Рябинин. Но спрашивать было лишним. Все было наружи. И то, что было видно, говорило о счастье.

— Мне сейчас, — сказал Рябинин, подняв руки и потрясая кулаками, — хочется этого... ну, расшибить что-нибудь!.. Понимаете?..



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Корабли на отдаленном рейде мылись, подкрашивались и чем-то напоминали собой морских птиц, когда те чистят и разбирают свои перышки. Был вечер. Было тихо и на воде и в небе. Гористые берега нежными и тонкими красками отражались в дремлющей воде залива. Изредка эти прозрачные краски леса, оранжево-глинистые спуски откосов, белые пятнышки домиков, красные флаги рябил пахучий, насыщенный ароматом цветов и трав ветерок. И когда затихало, тогда казалось, что нет моря, а есть два бездонно синих неба — и наверху и внизу. И корабли будто плывут в лазоревом океане среди двух небес.

Анютин с томиком «Былого и дум» сидел на рострах. Близкий берег манил его к себе зеленой прохладой. Хотелось уйти в лес, в луга, зарыться там в сено и лежать. Лежать, молчать и слушать... Слушать птиц, насекомых, шелест листьев, о чем так соскучилось сердце.

Где-то на соседних крейсерах, не то на «Большевике», не то на «Коммунаре», заиграла гармоника, выводя знакомую Анютину мелодию: «Далеко, далеко степь за Волгу ушла...» Анютин вспомнил свою деревню, ее косогоры, шопот верб над ре-

кой, поемные луга, покосы на этих лугах, костры, ночное, гулянки за околицей и еще многое, из чего складывалась та жизнь, пробудили звуки этой мелодии.

«Все это далеко и близко, — думал он, — ушло — и здесь», — и как-то особенно защемило сердце и, словно ветром, обдуло нежной грустью. Из этой тихой задумчивости Анютина вывел говорок старпома Бусыгина, «фитилявшего» за что-то Наумова. Они поднялись из машинного люка, остановились. Бусыгин сдержанно, но строго делал выговор.

— Кузьмич «гроссмейстера» уму-разуму учит, — заметил рулевой, обращаясь к сигнальщику.

— Да, разговорушки, — соглашается тот.

— Да с иными «сачками» иначе сладу нет, — встревает в их разговор Двадцать лет, как теперь звали на «Совете» главного боцмана, сурового на вид, но доброго, не по годам свежего, энергичного старика Болтина. — Кабы вам старого флота понюхать, — ворчит он, — так узнали бы кузькину мать, службу, а не то, что у вас, — службишка.

— Это Болтин на наш счет причитает, — говорит сигнальщик.

Новое свое прозвище Терентий Ильич Болтин получил за то (раньше его звали Дед), что в третьем году, когда его хотели по старости списать на берег, «на отмель», как он выражался, он направил в отдел комплектования свою анкету, где вместо 1862 года поставил 1882-й.

— Или умирать не хочется, Дед? — шутили моряки.

— Умирать сегодня страшно, а когда-нибудь ничего, — отвечал старик.

— А зачем годы отводишь?

— Годы-то? А это невзначай вышло. Малость кружочек перевел...

— Может, ты это уж не впервой.

— Да как вам сказать, а вы не сбрешете?

— Что ты, Терентий Ильич, за кого нас считаешь, — и парни насторожились, чтобы услышать истину.

— Я уж так-то в пятый раз балую, — говорит старик, — и ничего, сходило. Только уж того, ни гу-гу, смотрите...

В это время крейсер «Ушаков» «при малых шарах» прошел вдоль рейда, словно оглядывая, все ли здесь в порядке.

Убедившись, что все было исправно, крейсер развернулся и, как старший, встал на якоре впереди всей эскадры.

— Ну, теперь держись. Молоко сразу на хуторах вздорожает, — шутил рулевой, обращаясь к Терентию Ильичу.

— Что? — отозвался старик, высунувшись из шлюпки, где он работал.

— Вона сколько, говорю, ушаковцев привалило, — указывая на крейсер, смеялся моряк.

— А мне что, я не вы, у меня шашней на берегу нет.

— Будто?.. — возразил рулевой.

— Знамо, нет, — напуская на себя серьезность, пробурчал боцман.

— Тебе-то да, а вот нам каково, — отшибут девку...

— Эка лясничать здоровы, провал вас побери! — сказал боцман. Он вновь прячется на дне шлюпки и что-то стучит там.

— Увольнять будешь ужо, Терентий Ильич? — окликает его рулевой. — Молока парного принести? — Но боцман не отвечает.

— Ясно вижу до половины, — скомандовал старшина-сигнальщик, заметив на фалах флагмана сигнал. — Теперь смотри в оба, — говорит он своему подчиненному. — Так и есть, наши позывные. До места!.. Командира вызывают. Сбегай, Максим, доложи, — вырывая листок с записями и подавая его сигнальщику, сказал старшина.

— Ты, Вася, кажется, на этой глыбе плавал? — спросил рулевой.

— Было дело!

— Красавец, любо смотреть! — сказал рулевой, любуясь крейсером. — Техника, говорят, страсть!

— В него, браток, вся душа вложена, а душа сам знаешь какая — русская.

Анютин закрыл томик и молча стал слушать разговор, который вели между собой рулевой и сигнальщик на мостике. А говорили они о комсомольских делах.

— Ты мне растолкуй, что такое комсомолец и какие такие особые дела комсомольские, о которых намедни инструктор Мишин говорил. Уж больно он речист. Я так ничего и не понял, — сказал рулевой.

— В его словах дыму много, это верно. А чем легче и менее плотно вещество, тем больше оно занимает места... — сказал сигнальщик, указывая на дымы проходивших мимо кораблей. — На вахте! — крикнул он в мегафон, не отрывая бинокля от глаз. — «Пестель», «Муравьев-Апостол», «Бестужев-Рюмин», «Рылеев», «Каховский» снялись с якорей и уходят в море!

— Есть уходят в море! — повторили с вахты.

— Так не понял, говоришь? — спросил сигнальщик, возвращаясь к прерванному разговору.

— Не понял. Он на словах — что на гуслях, а на деле — что на балалайке.

— Это верно. У него язык наперед ума рыщет. Ты его слова с заграничным вывертом забудь. Мне Терентий Ильич как-то сказал: «Умные люди, — говорит, — учатся для того, чтобы знать; ничтожные — для того, чтобы их знали». Он ничтожный.

«Верно», — подумал Анютин.

— Так... — сказал рулевой.

— Есть привычки плохие и есть хорошие,— продолжал сигнальщик. — Комсомолец должен стремиться приобрести привычки хорошие. А каковы привычки, таковы и дела. Главное же, — продолжал сигнальщик, — где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, помни одно: ты как бы уже коммунист.

Рулевой слушал, в такт словам сигнальщика покачивая головой, а сигнальщик говорил о большом и важном, что делали люди нашей страны.

— Понимаю, — сказал рулевой. — Коммунисты, комсомольцы — люди будущего.

— Ан нет! — возразил сигнальщик. — Коммунисты и комсомольцы — люди настоящего, но поступки свои они соизмеряют с требованиями будущего. Как тебе объяснить? Да вот: наше будущее в настоящем, а мы рабочие этого будущего, — сказал он. — А ты в комсомол хочешь?

— С удовольствием... — заикнулся было рулевой, глядя на сигнальщика.

— И подавай. Я тебе рекомендацию дам: я к тебе давно приглядываюсь.

Рулевой поблагодарил, и они помолчали.

«Какой он чистый, этот старшина сигнальщиков, я не знал, — подумал Анютин. — Как мягки его слова и как тверды доводы. И служит он хорошо. Надо с ним поближе подружиться», — решил он, сходя с ростр.

II

— Первой сущностью мира для Гегеля является мышление. Это его мировой разум, дух или так называемая «абсолютная идея», — начал свою лекцию о философии Гегеля радист Анютин. — Мировой разум, по Гегелю, необходимо воплощается в действительность, он стремится найти и познать себя

в каждой вещи, в каждом движении. Ошибка Гегеля заключается в том...

Захар Лыков смотрел на Анютина, слушал его и невольно вспомнил недавно прошедшие, быстро, как три дня, эти три года. Три года тому назад они, молодые парни, новобранцы, сидели на камбузе у печки второго флотского экипажа, сидели и под треск горевших поленьев строили свои предположения о будущей жизни на флоте.

Парни не спеша, рассудительно, по-крестьянски говорили о преимуществах той или иной корабельной специальности и говорили из расчета на будущее, на «гражданку».

— На кой мне пушка?! С ней в «гражданке» податься некуда. Ну и мины туда же, — говорил тогда Анютин. — Вот кабы на машиниста али электрика назначили учиться — другое дело.

— В трюмные машинисты тоже неплохо попасть, — возразил другой, тот, что был из Смоленска.

— Нет, трюмным я не завидую. Невелика честь, — водопроводчик... А в нашем колхозе «Мировой Октябрь», да и в районном центре канализации покуда нет; вернешься, куда применишься?.. Нет, вот кабы в радисты!.. — произнес он мечтательно.

— Брюхом не вышел, Анютин, чтобы в радисты, — заметил сосед из Калуги.

— Брюхо тут ни при чем, — сказал Анютин, — а вот в голове, верно, не хватает... А хотелось бы, знаешь, в мировом пространстве, кифиром, кажется, называется, руку иметь...

— Яфиром, дурында, — поправил новобранец из Рязани.

«Три года... И много и мало», — думал Лыков, вспоминая мрачное, павловских времен, казарменное помещение с решетками на окнах, выходивших на Екатерининский канал, куда он впервые пришел с письмом Аверочкина.

Он припомнил мокрый тротуар, полоску серого неба, которое виднелось между трубой и углом дома, и оттуда, из этой серой полоски беспрестанно моросивший тогда дождь... Слоняющихся в полутемных коридорах новичков, вкусный дух ржаного горячего хлеба, которым пропиталось все здание... Сотни лиц, разных и одинаковых, одинаковых своим выражением тоски и тревоги. «И даже у тех, — вспоминал теперь Захар, — кто ухарствовал и делал веселый вид, все же оставался на лице нестираемый отпечаток тоски».

Запомнилось, как раздалась дудка, как, толкая друг друга, построились, как появился перед строем рослый, франтова-

тый отделенный командир, как он долго выравнивал строй и, наконец, развернув огромный список, начал поверку.

Резко, словно сердясь на то, что его задерживают уволиться в город, выкликал он фамилии, нахмурив свои тонкие, подправленные бритвой брови.

— Ляхов?

— Здеся.

— Отставить! Забыла, деревня, как отвечать приказано. Ляхов! — повторил он еще строже, и парень изо всей мочи отвечает необходимое:

— Есть!

— Морошкин!

— Есть!

— Мочалин!

— Есть!

И потом снова, откуда-то из задних рядов робкое «тута».

— Я вот пропишу тута — Анюта! — передразнивает младший командир.

Строй глухо прыскает со смеху, но не может сдержаться и, нарушая все правила, весело хохочет.

Младший командир, не удержав своей напускной строгости, тоже ухмыляется, но, спохватившись, обрывает смех.

— Что загоготали? Отставить! А ты, «тута», — говорит он смущенному, обутому в лапти и переминающемуся с ноги на ногу пареньку, — завтра пойдешь дневалить в гальюн. — И, наказав виноватого, младший командир продолжает поверку.

И Лыков невольно вспомнил того Ваську Анютина, который пришел во флот робким деревенским парнем в лаптях, онучах, в сермяжном шабуре, сшитом по фасону, какой носили, быть может, еще при Марфе-посаднице.

Это было тогда... Теперь же напротив Лыкова сидел расторопный моряк с вдумчивыми глазами, который не только хорошо знал свою специальность радиста, не только был отличником боевой и политической подготовки, но и мог доказать идеалистические концепции автора книг «Об общественном договоре», «О причинах неравенства», рассказать о субстанциях, атрибутах, модусах, фатализме Спинозы, скептицизме Монтэня и который учился теперь на заочном отделении Ленинградского философского института.

— Природа, по Гегелю, лишь «инобытие мировой идеи», — говорил в это время Анютин, — индивидуальное сознание человека, якобы производное от мирового разума... Сегодня нам

предстоит разобрать важнейшую часть системы Гегеля — логику — в свете марксистско-ленинского учения. — И Василий Анютин стал говорить о трех частях «логики» философа.

Захар вспомнил о Ляхове, учившемся на заочном отделении Ленинградского университета; о Пузыреве — рабочем-давильщике, руководившем теперь драматическим флотским театром; о Морошкине, бывшем слесаре, теперь студенте технологического института; об Ермакове, этом странном на вид человеке, музыка которого пользовалась всеобщей любовью и не сходила с репертуара радиопередач Кронштадтской морской базы и ленинградских станций; о Мочалине, чьи великолепные пейзажи украшали теперь многие салоны флагманов, кубрики краснофлотцев и кают-компании командиров. На его полотнах все было полно России, ее смысла, ее очарования.

Захар вспомнил Дмитрия Рябинина, добродушного шутника, который, казалось, больше дорожил своей игрой на гитаре, чем своими выдающимися изобретениями; и еще о многих других вспомнил Лыков, с кем ему довелось учиться в эти годы.

И думал он еще о том, как проявляются все эти изменения жизни.

Когда окончилось занятие, Анютин собрал свои книги, записки и удалился в Ленинскую каюту. Он удивительно бережно расходовал свое время, ухитряясь чередовать между собой работу, вахту и общественные обязанности. Он руководил политическими занятиями, в группе старшин вел философский семинар, был секретарем комсомольского коллектива корабля, готовил заочные уроки и при этом умудрялся прочитывать бездну книг. Читал Ницше, Шопенгауэра. Перечитывал Фейербаха, Бруно Бауэра и прочих левых гегельянцев. Инструктор отряда по комсомолу Мишин относил всех этих буржуазных философов к «забортной литературе», «засоряющей мозговые отсеки». Но Анютин все-таки продолжал изучать их.

— Почему я должен верить на слово? — спрашивал он Мишина. — Я хочу сам разобраться.

— Не указано, не предусмотрено, не рекомендовано, — отвечал всякий раз инструктор.

— Ну, браток, это еще не резон. Так-то вот раньше священное писание учили. Сотворил-де, мол, бог землю в шесть дней... и верь. Нет, я хочу сам. Все исследуй, давай разуму первое место, как говорил Пифагор.

— Буржуазная идеология...

— Это ты про что?

— Про их учения.

— То-то! А я думал, ты про мой метод познания, — сказал Анютин.

— Ну ты, «метод познания», на берег пойдешь? — спрашивали товарищи. — Перед походом-то, а? Пойдем, леском подышим.

— Нет, мне сегодня нужно письменную работу по Демокриту кончить.

— Брось, Васька, пошли! Этак ты, чего доброго, с ума спятишь.

— Ну, кто кого! — смеется Анютин. — А вы завтра смотрите, чтоб глазами на политзанятиях не хлопать. — И он выпроваживает товарищей из каюты.

— Лыков, нарви мне ромашек!.. — кричит он через борт вдогонку отходящей шлюпке. И потом долго, пока не пробьет сигнальная пушка, сидит над книгами.

III

Лыков любил тишину уединений, заросшие лесные дороги, таинственные шорохи леса, голоса птиц, шелест листьев. Все эти звуки, краски, игра светотеней, сама тишина природы находили в его душе отклик, рождали мысль, и само собой выливался и журчал стих — чистый, прозрачный, как незамутненный родник.

Сегодня он забрел далеко за лес, за реку и там, любуясь закатом, паромом, шумом крестьян на пароме, веселыми голосами девушек, прослушал вторую пушку.

Лыков возвращался к морю. Тени на земле сгущались все больше и больше. Наконец нельзя уже было различить зелени. Была тихая июльская полночь. Над лесом показалась луна и облила своим холодным светом росистую траву. По земле протянулись световые тропинки. Лыков шел по лесной дороге, спотыкаясь о корни. Под ногами и ударами палки гулко звучала земля. Звезды сквозь ветви сосен казались крупными и яркими. Каждый дальний звук был слышен четко и ясно, а вблизи над ухом кружились и пели комары.

Спеша и волнуясь, Лыков подошел к берегу. Он опоздал: шлюпки не было. Моряк сел и задумался.

Небо на горизонте расцвечивалось все новыми и новыми тонами. Там, где несколько минут тому назад оно было ро-

зовым, теперь стало багровым; там, где было бесцветно-серым, приняло цвет желтой розы. Скоро краски потухли и совсем стемнело. Тихо-тихо было в природе, а на душе не так...

Послышались шаги и хруст гальки. Лыков обернулся. Чья-то тень промелькнула по берегу.

— Эй, браток! Откуда? — заметив очертания морской формы, крикнул неизвестный.

Тень остановилась, скрылась за валунами, потом снова показалась и стала приближаться.

— Ну, влипли!.. — сказал командир еще издали. — Лодок не заметили где? — спросил он.

— Нет.

— Дело дрянь! — и он выругался. — А вы чего сидите? Пойдемте, пошарим, может, какую рыбацкую найдем... Вы с какого? — спросил он Захара.

— С «Совета»...

— Ведь должны же быть здесь рыбацкие лодки, — говорил моряк, шагая у самой кромки воды. — Не на хутора же они их свозят, — высказывал он вслух свои предположения. Командир остановился, прислушиваясь к тишине. Все молчало. Лишь тихо плескался залив.

Вдали, в тонкой, дрожащей, как серебряная нить, лунной струйке, виднелись неясные контуры кораблей.

— Голос мне ваш знаком, — сказал командир, трогаясь дальше.

— Может быть.

— Как фамилия?

— Лыков.

— Лыков?.. Так это вы стихи пишете?

— Пишу.

— Читал. — И он пристально посмотрел в лицо Захара.

— А ваша фамилия? — спросил Лыков.

— Ржанов... Так это вы! — воскликнул Егор, узнав Лыкова. — То-то я подумал прошлый раз, помните, два года тому назад, на скамье... в Кронштадте? А вы, оказывается, поэт...

— Я давно хотел вас встретить, да все не приходилось, — ответил Захар, и моряки подали друг другу руки. Разговаривая, они прошли около часу по берегу, но лодок не оказалось. В северной части губы, занесенный песком, валялся разбитый парусник. Моряки остановились возле него, постояли, потом присели, потом разговорились.

— Расскажите мне о вашей мечте, — сказал Лыков.

— Мечте?— спросил Егор.— Вы не застали меня врасплох, у меня действительно есть мечта... Но мы так мало знакомы... Впрочем, я расскажу, — продолжал Егор. — Я мечтаю свершить в своей жизни хотя бы в малой доле то, что некогда свершили Ушаков и Нахимов... А вы? — спросил он Лыкова.

— Лишь об одном: написать книги, нужные народу. Очень нужные, понимаете?..

— Я недавно, очень далеко отсюда, прочел вашу книгу, — сказал Егор. — В ней все тихо, все просто. Главное же — все правда. Вы, видать, чистый и хороший парень.

Лыков при этих словах вспыхнул и смущенно опустил глаза.

Книжица, о которой говорил Егор Ржанов, такая тоненькая и простенькая, стояла теперь на книжной полке в Ленинской каюте корабля, и не только его корабля...

«Да, тоненькая и скромная, а сколько труда, забот, бессонных ночей, душевных тревог и сердечных переживаний потребовалось на ее издание!..» — думал Лыков.

Он думал о русской реалистической литературе, мыслящей, гуманной. Она представлялась ему неиссякаемым жизненным кладезем: глубоким и чистым. Кладезем, несущим в себе традиции непреклонной, великой правды.

«Я стремился лишь к этой правде, стремился выразить думы и чаяния, присущие моему народу, — думал Лыков. — А каждый побег новой мысли, дышащий ароматом жизни и страсти, растоптан. Все разнообразие красок, все незаурядное, самобытное — стерто», — размышлял Захар, припоминая при этом человека, к которому в первый раз попала его рукопись. И человек этот представлялся Лыкову человеком-схемой, с подслеповатыми кротиными глазками, боящимися света. Человек-схема с аскетической нетерпимостью, безжалостно и равнодушно прополол в книге не только личное, присущее Захару, но и те мысли, которые имели общественную ценность. А этого делать он не смел. Лыков понял метод человека-схемы: он оставил лишь то, что соответствовало уровню его личного развития, применительно к своей ограниченности.

Когда впервые после обработки Лыков прочел свою книгу, у него от обиды на глаза навернулись слезы. Это не было авторское самолюбие. Ему было обидно не за себя, а за людей, которых Лыков хотя и не знал, но любил, для которых он трудился, вкладывая в свой труд все лучшее, что ему принадлежало, — жизнь. А теперь любимым людям досталась увядшая, ко всему безразличная, никому не нужная, бесплодная книга-

скопец, не имеющая ни лица, ни души. Форма ее была стереотипна, однообразна. Книга напоминала Лыкову сломанную, увядшую ветвь, брошенную на дорогу, которую равнодушно переехало, смяло и запылило еще безразличное колесо телеги самоуверенной посредственности и педантизма.

Это кощунственное обращение с чужими мыслями особенно возмущало Лыкова. В этом он видел циничное, пренебрежительное отношение к народу. «Народ давно вырос, отлично разбирается в хорошем и дурном и не нуждается в настырной опеке чиновничьего пошиба», — думал он.

— Вы о чем задумались? — спросил Егор притихшего Захара.

— За убийство человека карает закон, а за убийство книги не карает. Почему? — спросил Лыков.

— Странное сопоставление.

— Напротив, очень простое, — сказал Лыков. — Книга — это мысль, итог творческого труда. Нередко этот труд стоит целой жизни. Я разумею — для честных писателей.

— Вы поэт, — сказал Егор, выслушав сердечное излияние Лыкова. — Только знаете: истина пробьет себе путь, — сказал Егор вставая: — Это свойство истины, — добавил он.

IV

Егор постоял, прислушиваясь к отдаленным шумам моря, вздохнул полной грудью и вновь опустился на валун, подсев к Лыкову.

— Вы читали последнюю нескромную рецензию на роман «Брызги жизни»? — спросил он.

— В оценке произведений искусства, в особенности мнимого, очень часто злоупотребляют словом! — ответил Лыков.

— Пожалуй... Мне трудно судить, я не специалист. Да и кто скажет, какое искусство мнимое и какое истинное? — спросил Егор.

— Истинное?.. Истинный художник всегда прост, — сказал Лыков. — Вы говорите: я не специалист. И не надо! Не надо же быть специалистом, чтоб понимать правду, красоту женщины, красоту природы.

— Какое же истинное искусство? — вновь спросил Егор.— Вы сказали: подлинный художник прост.

— Произведения истинного искусства оказывают такое воздействие на людей, при котором все ранее для них таинственное становится очевидным, смутное делается ясным, слож-

ное — простым, случайное — необходимым, далекое — близким. Я так понимаю. Вы испытывали подобное? — спросил Лыков, испытующе глядя на Егора.

— Бывает так. Одну книгу полюбишь, а к иной останешься равнодушен. Есть произведения без запаха, без мысли, без любви к читателю. Иной автор не только не раскрывает жизни, а, напротив, суживает ее. На каждой странице — ширма, — сказал Егор.

И тут они, горячась и перебивая друг друга, заговорили о том, что несомненным признаком истинного искусства является его правдивость, та степень внутреннего жизненного огня в нем, который согревает людей.

Егор доказывал, что искусство призвано вводить в сознание людей важнейшие истины нашего времени, вводить новые отношения в обиход жизни.

— Я и не спорю, я и не спорю, — твердил Лыков. — Только искусство переводит эти мысли из области рассудка в область чувств, — сказал он.

— В твоей книге есть то, Захар... Вы позволите мне вас так называть? — спросил Егор.

— О, конечно!

— В твоей книге есть то, — продолжал Егор, — чего еще мало в обиходе жизни. Это покуда идеал. Твоя книга упреждает жизнь — и в этом ее заслуга. Ты меня понимаешь? — спросил он Захара.

Лыков молча кивнул головой.

— Я тебе, как штурман, скажу, мне ближе это, — продолжал Егор. — Когда плывешь недалеко от берега, то держишься мыса, вышки, маяка. Когда идешь в океане, вдали от берега, то руководством служат далекие светила, показывающие направление. И так надо писать: давать направление. Быть земным, правдивым и давать направление. В твоей книге это есть, — повторил он. — Она облагораживает человека, делает его выше... А ты снова задумался? — спросил Егор, прерывая речь, полную энтузиазма.

— Я думал о вас... о тебе, — поправился Лыков. — Вы мне... очень полюбились, — сказал он, с усилием преодолевая смущение, желая отблагодарить Егора за чувство дружбы и за отзыв о его книге.

Егор посмотрел на Лыкова. Поняв его чувство, он промолчал.

— Однако пора, — сказал Егор. — Ежели до подъема флага не вернемся, — «губа».

— С Капорской на Кронштадтскую... — заметил Лыков.

— В самый раз так и будет. Приходилось плавать на Кронштадтской? — спросил Егор.

— Пока нет...

— И не советую...

— А тебе тоже грозит это плавание? — осведомился Лыков.

— Я могу опоздать, — сказал Егор. — За это с меня никто не взыщет. Но именно поэтому я не позволю себе этого сделать. Разгильдяйство — ржавчина, оно разъедает характер. Уступать себе нельзя ни в чем.

— Такая щепетильность в мелочах?.. — удивился Лыков.

— Самые ничтожные мелочи, дружище, содействуют образованию характера. Один мой прославленный друг, академик Преображенский, часто мне говорил, что кажущиеся нам мелочи есть те кирпичики, из которых складывается здание нашей жизни. И наивен тот, кто говорит: мелочи — пустяки, — сказал Егор.

— Идем вплавь, — предложил Лыков после некоторого раздумья.

— А ты дотянешь?

Лыков улыбнулся, но ничего не ответил на вопрос Егора.

— До твоего кабельтовых двенадцать будет, а моя еще мористее. Ее и не видно, — проговорил Егор, вглядываясь в синюю даль, где стояли подводные лодки.

На кораблях в это время пробили час ночи. Егор стал раздеваться.

— Одежду, я думаю, в лесу спрячем?

— Я здесь, в обломках...

— Корабли видишь? — спросил Егор.

— Вижу.

— Нет, ты с воды посмотри.

Захар прилег на песок, — корабли пропали.

— Нет, теперь не видно.

— Вот то-то и оно! Форму в кустах спрячем, а эту развалину подожжем, для ориентира.

Наломав сучьев и обложив ими обломки парусника, моряки развели костер и вошли в воду.

Время шло... Берег давно скрылся во мгле, но кораблей все еще не было видно. И только пламя костра, далекое и мигающее, указывало на то, что они плывут правильно. Под конец второй вахты Лыков и Ржанов подплыли к борту «Совета».

Пошатываясь от усталости, они поднялись по трапу, представ перед вахтенным командиром в обнаженном виде, и, немало изумив его своим появлением, отрапортовали о своем прибытии.

V

Георгий Кузьмич Бусыгин, встававший до побудки и посвящавший лучшие часы дня науке морского дела — гидрографии, был уже на ногах, когда услышал за бортом плеск, скрип трапа и запыхавшийся шопот рапорта.

«Чудно!» — подумал он и поднялся на верхнюю палубу.

— А, сыны Нептуна! — сказал Бусыгин, увидев перед собой две мокрые бронзовые фигуры, с которых сбегала вода. — Лыков, опять напроказили?

— Нет, товарищ старший помощник: уволен до восьми.

— А вы откуда? — спросил Бусыгин, обращаясь к Егору, не узнав его.

— Это я, Георгий Кузьмич, разрешите представиться, — сказал Егор, держа руки на манер атлета Апоксиомена Лисипа.

— Егор Петрович... Егорушка, вот не ждал! Откуда? Да как же?.. Да что ж это мы стоим тут?.. Пойдемте в каюту, — засуетился Бусыгин. — Вы, стало быть, пешком с берега?

— Пешком, Георгий Кузьмич, — сказал Егор улыбаясь. Бусыгин покачал головой, заикнулся было о неосторожности, на языке его вертелось уже словцо «сорванцы», но, посмотрев на Егора и Лыкова, дышащих юностью и отвагой, ничего не сказал, а про себя подумал: «Славные парни!»

— Вахтенный, — обратился Бусыгин к рассыльному. — Подите, голубчик, толкните вестового да скажите, чтоб он самовар ставил. А вы, как оденетесь, зайдите ко мне, я вам лекарства дам, — сказал он Захару, подмигнув ему глазом.

И, отдав приказание старшине дежурной шлюпки сходить на берег за платьем, Бусыгин направился в свою каюту.

— Ведь вот народ, — говорил Бусыгин, вынимая для Егора из шкафа свой костюм, — пять километров отмахали!

Бусыгин не видел Егора два года. Окончив в 1930 году морское училище, Егор получил назначение в бригаду подводного плавания и вскоре ушел в научную экспедицию в качестве второго штурмана.

Во время экспедиции Егор показал себя трудолюбивым, энергичным моряком. Егор презирал не только трудности, но и опасности. «Ах, трудно, вы считаете? Опасно?.. Посмот-

рим!..» — как бы говорил он. И это чувство было у него в душе.

За чаем с кагором, которым угощал Бусыгин, Егор рассказал о своем походе на подводной лодке из Белого моря в восточный океан. В истории мирового флота это был первый поход.

Экспедиция произвела точную съемку северных берегов России — берегов Охотского моря и Камчатки; открыла новый путь к берегам Америки и Японии; измерила и зафиксировала все гряды Курильских и Алеутских островов и берега Аляски.

Экспедиция не только довершила труды так называемой «второй Беринговой» экспедиции, бывшей в начале сороковых годов XVIII века, не только подкрепила результаты экспедиции Головнина и Лазарева начала XIX века, не только улучшила все эти данные, но и собрала драгоценные научные сведения по истории, географии, навигации, гидрографии и астрономии.

В каюту тихо вошли Терентий Ильич и Лыков. Бусыгин, прижав к губам палец, кивком головы указал им на кресла. Старый и молодой сели и стали слушать.

Егор рассказывал о борьбе корабля со льдами, торосами, ледовитыми штормами. Рассказывал просто, без нескромного «я», без того охотничьего апломба, когда границы были и небыли стираются.

Егор ничего не сказал друзьям о том, как он спас свой подводный корабль, предупредив его столкновение с айсбергом; не сказал, что провел большую научную работу в области навигации; отличился за время экспедиции как штурман, за что был произведен через ранг в новое звание, исполняя два года спустя после окончания училища и двадцати двух лет от роду должность флагманского штурмана, что равнялось званию капитана второго ранга.

О себе Егор вообще рассказывал мало, а больше говорил о людях, отзываясь об их работе с большим уважением.

Терентий Ильич, глядевший на своего «внучка», как он бывало называл Егора, думал о том, что этот парень пойдет дальше за горизонт, нежели Ржанов и Преображенский, его учителя.

«Да меньше и нельзя: время такое», — решил про себя старик.

Захар Лыков слушал Егора словно зачарованный. Он был влюблен в него, как девушка. Его воображение щедро дорисовало все то, о чем скромно умалчивал Егор.

«Какой он сильный!» — думал Лыков. «Да, он прав: свои способности надо упражнять», — повторял он слова Егора, сказанные ему во время их возвращения с берега.

Егор говорил ему, что никогда не надо стыдиться спрашивать о том, чего не знаешь. Всегда всем говорить правду, хотя и знаешь, что она будет неприятна. При изучении чего-либо изучать до самых корней. Все неясное — настойчиво выяснять, все трудное — любить делать.

Слушая Егора, Лыков понял, что это не были лишь слова, которыми слабые, бесхарактерные натуры часто подменяют дело, но что это было само дело.

«Да, важно знать не многое, а нужное. Важно не количество знаний, а качество», — повторял Лыков, глядя на Егора блестящими, влюбленными глазами.

Когда Егор прервал свой рассказ об экспедиции, все как-то само собою заговорили о Петре Ржанове, которого Терентий Ильич назвал мудрым. На вопросительный взгляд Егора и Бусыгина Терентий Ильич заговорил о свойствах мудрого человека.

— Ну-ка, ну-ка, кто, по-твоему, мудр? Что это за свойства? — спросил Бусыгин, подзадоривая боцмана.

— Свойства эти простые, Егор Кузьмич. Петр Емельянович делает сам то, что советует делать другим, никогда не поступает против справедливости и терпеливо переносит слабости людей, окружающих его, — сказал старик, загибая мозолистые пальцы и переводя взгляд с Бусыгина на Егора.

Егор и Бусыгин со всем этим не могли не согласиться. Они знали эти свойства Петра по себе.

— Однако, товарищи, скоро подъем флага. Мне пора. Благодарю вас, Георгий Кузьмич, за гостеприимство, — сказал Егор. И, переодевшись в свою форму, он на катере «Совета» отбыл на свою «посудину», как Терентий Ильич называл подводные корабли.

VI

Сменившись с вахты, Захар Лыков работал над поэмой. Писалось хорошо.

Лыков испытывал в душе такое чувство, какое испытывает охотник, чей ягдташ набит доотказа: тяжело, весело, а хочется еще и еще...

«Несколько строф — и конец», — думал он, подымаясь на верхнюю палубу, желая отдохнуть и не думать. Но Захар Лыков не может уйти из мира своих героев, которых он любит

и создает кровью своего сердца. Незаметно для себя он снова увлекается, продолжая искать кратчайшего выражения своим мыслям.

Но так было не всегда. Порой не удавалось выжать ни одной строки. Тогда на душе было пусто, и самому себе в такие минуты Захар казался ничтожным. В такие дни он читал. Читал много и все, что ни попадалось ему под руку. И от этого чтения он испытывал порой ощущение, подобное тому, какое он испытал однажды, когда упал за борт. Тогда под тяжестью своей собственной одежды он шел на дно и не было сил от нее освободиться, и для этого нужна была сверхсила.

Иногда бессонными ночами раздумывал Захар о жизни и смерти, о тайнах бессмертия и о своем месте в жизни.

«Что я сделал? — спрашивал он себя и отвечал: — Ничего!.. И мне уже двадцать один год... Двадцать один год», — повторял он со вздохом. В часы этих раздумий как-то особенно нервно стучало сердце, будто торопясь куда-то, а вслед за сердцем устремлялись мысли, тоже далеко-далеко, словно желая догнать, воротить кого-то. Тогда охватывала тоска и на душе было пасмурно, грустно.

Сердце, не дававшее Захару покоя, не могло бы ответить на вопрос: а куда оно торопится, о чем стучит, да Захар и не спрашивал его. Он верил сердцу. И только робкий внутренний голос говорил: «Ты издал книгу стихов, написал поэму, кончаешь другую. Твои песни поют на флоте, чего ты хочешь? Ты думаешь, великие-то сразу так и вырастали, как грибы? Нет, — говорил голос, — они упорно, долго, всю свою жизнь, капля за каплей... Случалось, что и они хандрили, но проходило у них, и у тебя пройдет. Верь мне и сердца не слушай. Учи его сам», — говорил ему голос.

И правда. Смотришь, день-другой, и, словно ветром, разгонит туман хандры. На душе вновь станет солнечно и весело.

Захар раз-другой прошелся по палубе. Где-то на отдаленном корабле горнист заиграл побудку. И не успел смолкнуть этот одинокий звук, как его подхватили на линкорах, крейсерах, минных заградителях и в учебном отряде. Потом залились дудки, послышались голоса вахтенных, будивших и торопивших команду; потом наперебой, сливаясь в общий трезвон, забили склянки и на перворанговых заиграли духовые оркестры, аккомпанируя утренней гимнастике.

Забравшись на башню двенадцатидюймовых орудий, капельмейстер торопит своих музыкантов.

— Оторвем, орлы, по-флагмански! — кричит он. — Сам командир бригады на поверхности.

«Орлы» еще не совсем проснулись и, зевая и потягиваясь, вяло настраивают свои трубы. Кузнецкий, одетый в пижаму, поеживается. Несмотря на свою умеренную полноту, почтенный возраст — пятьдесят шесть лет, он каждый день первым из командиров появляется на юте. Дежурный по низам и его помощники в это время заняты «подъемом» и «выгоном» командиров из их кают. У молодежи непреодолимое желание выиграть хоть лишнюю минутку, чтобы понежиться и подремать в теплых койках.

— Видите, — говорит Кузнецкий, обращаясь к командиру линейного корабля, тоже выделывающему под музыку гимнастические коленца, — видите, командир на зарядке, а молодежь дрыхнет, небось... Товарищ дежурный, списочек опоздавших на зарядку пожалуйте мне к завтраку...

Это значит: будет взбучка...

Кое-где вместо гимнастики гребут на шлюпках, гоняясь по рейду.

— Два, раз... — растягивая, подсчитывают рулевые, стремясь наперегонки со своими соседями.

Георгий Кузьмич Бусыгин любит греблю и отдает ей предпочтение перед всеми другими видами спорта.

— Чего зря дрыгаться? — говорит он. — Нет, ты спусти шлюпочку, прогреби кабельтовых пяток, подыми ее на борт, — оно сразу скажется... Тут и руки, и ноги, и спина, и голова работают, а главное — морские навыки воспитывает. На шлюпочных учениях ничегошеньки не скроешь, — говорит он. — Я по шлюпке и о корабле сужу... Все, знаете ли, штучки видеть можно.

Команду свою Георгий Кузьмич тренирует лихо. Чуть бывало ветерок, он уже к морю приучает; одних поощряя, других «фитиляя», добился Бусыгин такого положения, что уже не одну флотскую спартакиаду держит первое место на Балтике по гребле и парусу.

Шлюпка летит на соседний корабль. С носа — предупредительный крик бакового: «Прямо по носу «Звезда»!» Поворот, в свежую погоду всегда против ветра. Бусыгин командует:

— Поворот овер-штаг! Шкоты втугую! Трое в нос!

Гребцы при этом быстро шныряют под кливер. Шлюпка словно колеблется мгновение и потом трогается к ветру.

Бусыгин лихо делает галсы, «обрезая» то нос, то корму стоящих на рейде кораблей.

В будни так продолжается до разводки, а вечером после отбоя до спуска флага, если нет занятий, собраний или других судовых учений.

Захар Лыков любит щекочущую нервы ходьбу под парусом, когда шлюпка, накренившись и чуть не черпая бортом воду, летит, как вихрь. В особенности это и жутко и хорошо тогда, когда Бусыгин затеет сложное соревнование под парусами. Вот и сейчас на фалах полощатся «мыслете — твердо» — ученье без рулей. Ну, теперь смотри в оба за шкотами, не то «овер-киль».

...На третьи сутки, приняв с водолея провизию, воду и боеприпасы, «Совет» снялся с якоря и ушел в море. Курс лежал в Атлантический океан. Вышли в море, и началось: то «вражеские минные поля», то «нападение подводных лодок», то отражение «воздушного налета», там «пожарная тревога», «заделка пробоины» или «химическая сфера», — у корабля в море врагов много. Бусыгин не дает ни отдыха, ни срока. И не умолкают на корабле тревожные сигналы. Бьют в рынду, бьют в гильзу, гремят колокола громкого боя...

На горизонте обнаружен «противник». Горнист трубит боевую тревогу. Команда разбежалась по местам, и все замерли. Лишь четкие сигналы, быстрые действия людей, завывание ревунов подчеркивают сосредоточенную тишину.

Вот «бой» кончен. Пушки смолкли, но в ушах еще долго продолжает звенеть. После боевой тревоги пробили водяную. Быстро завели пластырь. Старпом с мостика руководит авральными работами. Он громко и весело нараспев покрикивает в мегафон. Иногда, похрамывая, пробежит в какой-либо отсек, чтобы лично заглянуть на то, как задраены водонепроницаемые переборки. И так днем и ночью. Бусыгин энергично вводит в жизнь новый корабельный устав.

— Овладевай, жми, — говорит он морякам, — легче потом будет.

«Потом» — это тогда, когда дело дойдет до настоящей драки, а это может случиться в любой час.

Сегодня Георгий Кузьмич особенно деятелен. На этом походе он сам себе сдает и сам принимает от себя корабль. Поговаривают, что скоро он будет командиром «Совета».

— Равняйся! Смирно!

Строй замер. Бусыгин подводит итоги. Корабельный счет времени исчисляется в минутах. Во время учений и тревог — секундами.

В чистой брезентовой робе, загорелые и рослые, стоят на полуюте моряки. Безукоризненна линия строя, четки движения, груди дышат силой, на лицах — удаль, в глазах — огонек. Но Георгий Кузьмич не совсем доволен. То платье «запылилось», то волос длинен или недостаточно отполирован ботинок.

— Почему номеров нет? — спрашивает он командиров секторов.

Бусыгин долго не объясняет.

— Комсомольцы и коммунисты, два шага вперед! Шагом марш! — командует он. — Кругом! Вот как надо носить форму. Вот как надо надписать личные боевые номера, — говорит Георгий Кузьмич, указывая на вышедших из строя вперед коммунистов и комсомольцев. И так происходит всегда. Там, где надо показать образец, где нужно сделать быстро, хорошо и где дело особенно ответственное, туда обыкновенно направляют членов партии. И не боялся командир Бусыгин, что его могут подвести, а доверял смело и решительно. А молодые люди дорожили этим доверием пуще личной чести.

VII

Терентий Ильич в новой форме появился на верхней палубе. Он по небесным приметам узнавал часы ночи, дни месяца и времена года. Тем более он знал это место... Место корабля было: широта 59°36'30" норд, долгота 35°37'22" ост.

Пробили полдень. Сменялись вахты. Вдали обрисовывался остров Даго, Верхний Дагерортский маяк, на горизонте два дыма. Все как прежде...

Шепча себе что-то в усы, Терентий Ильич прошел на полуют, прислонился спиной к пеленгаторной рубке, снял фуражку и закрыл глаза. И ему представилась его «Паллада», воскресный погожий день сентября 1914 года, ритмичный шум машин, далекий отчетливый горизонт, у горизонта два дыма — «Россия» и «Аврора», шедшие на смену. Был последний день дозора. В полдень предстояла смена кораблей.

На «Палладе» сигнал о новом курсе. Проложенный параллельно тридцать девятому квадрату в семимильном расстоянии, он шел северным фарватером домой. Со вступлением в квадрат «Паллада» отослала от себя охранные миноносцы для охраны «России» и «Авроры».

Ход — четырнадцать узлов. За кормой бурлит и пенится широкий искрящийся след, по которому в нескольких кабель-

товых расстояния идет крейсер «Баян» — боевой друг «Паллады».

Крейсеры в «коридоре». Разошлись, обменявшись сигналами. Смена произошла. Вот место, где вчера был атакован вражеской подводной лодкой «Адмирал Макаров». Крейсер удачно отразил атаку, оставив врага на дне.

Терентий Ильич, пятидесятипятилетний моряк, сидел, покачиваясь, на «беседке» за кормой и по приказанию командира корабля обновлял, прописывая золотом, славянские буквы — имя корабля. Прописывая, думал о Лапвикском рейде, Ревеле, Московской улице и крошечном домике на этой улице, где он жил.

За кормой забурлило сильней. На «Палладе» сигнал: «Ход — шестнадцать узлов, дистанция — шесть кабельтовых». «Шуруют парни, — проговорил Терентий Ильич, подумав о сыновьях, вместе с ним служивших на корабле. — И то дело, отдохнем, — рассуждает он сам с собою, — заслужили намедни».

Намедни у Оденсхольма произошла встреча с врагом, смертельная для врага. Это был немецкий крейсер «Магдебург».

«Чай, крестом наградят многих, — размышляет Терентий Ильич. И он задумывается: — Кого?»

Полуденное солнце не по-осеннему льет с небес тепло. Игривый ветер доносит с берега запах земли. То обдает ароматом сена, то пахнет разбереженной сочной и пряной огородной землей. И тогда Терентию Ильичу кажется, будто он не на корабле в море, а на задах деревни, на гумнах.

И море сегодня раскрасилось пестрыми полосами, точь-в-точь крестьянские нивы. Местами — синее, местами — зеленое. Где посветлее, где потемнее — от ветра и проходящего облака. В одном месте оно лазурное, спокойное, как небо, в другом блестит чешуей. Блестит и режет глаза, как осколки битого зеркала на солнце. И всюду скачут зайчики, зайчики, зайчики...

«Паллада» полным ходом проходит опасные места. Десятки глаз в напряженном внимании обшаривают горизонт. Рябь для перископа — лучшая защита. Пушки — на «товсь!».

Терентий Ильич, глядя на солнце, щурится. С камбуза дохнуло борщом. Команда, покончив с молитвой, гремит бачками и ложками. Слышатся прибаутки, смех. Все веселы: скоро дом.

«Еще «аз» — и шабаш», — подумал Терентий Ильич и, проглотив слюну, вызванную аппетитом, принимается за последнюю букву.

Но Терентий Ильич не успел окончить работу. В двенадцать ноль-пять «Паллада» взлетела на воздух и в три минуты пошла ко дну.

Взрыв был двойной, детонирующий. Огромный столб густого дыма буро-красного цвета с белым кружевом паров несколько времени подпирал свод неба. Потом стал медленно отделяться от воды, редеть и, наконец, расчистило... На гладкой поверхности моря лоснилось большое пятно нефти — все, что осталось от четырехтрубного гордого крейсера.

Зловещую тучу дыма Терентий Ильич увидел с воды, куда его взрывом отбросило с «беседки». Выловил его охранный миноносец «Мощный», которым командовал тогда старший лейтенант Михаил Александрович Кузнецкий. Терентий Ильич был единственным из оставшихся в живых палладцев, а было на корабле немало... Были там и два сына Терентия Ильича, служившие кочегарами по первому году.

«На могилку вышел поглядеть», — подумал Бусыгин, заметив с мостика притулившуюся к рубке фигуру старика. Георгий Кузьмич знал за боцманом этот обычай. Днем ли, ночью ли, в штиль и бурю — старик никогда не пропускал этого места. О чем он думал, стоя с закрытыми глазами, со снятой фуражкой в руках, никто, кроме Бусыгина, бывшего матроса «Баяна», не знал.

Когда Терентий Ильич сошел с полуюта и, переодевшись в рабочее, вновь принялся хлопотать на палубе, Бусыгин пригласил его на мостик.

— Насчет Тихоокеанского флота слышал, Терентий Ильич?

— Слышал.

— А насчет Северного?

— И насчет Северного слышал. «А вам на что?» — послышалось в его тоне.

— Пахари нужны... Новые поля засевать, — продолжал Бусыгин, поняв его выражение. И, подойдя к телеграфу, он повернул рукоятку на «самый полный».

— Понимаю... — размышляя вслух, сказал Терентий Ильич, не спуская с Бусыгина глаз.

— Ты ведь, помнится, на Артурской эскадре плавал?..

— Как же! На «Петропавловске», вместе с Макаровым.

— Так как же насчет Тихого океана?

— За счастье почту, коли честь мне окажете.

— Добро! Ступай. Я подумаю, — сказал Бусыгин, хмуря брови.

— Али забота какая, Егор Кузьмич? — спросил чуткий старик.

— Ступай, говорю, ступай! — повторил Бусыгин, которому не хотелось расставаться с боцманом.

«Ему что, он с радостью! А про «Совет» и забыл», — думал Бусыгин, глядя ему вслед. Но эта внезапная вспышка ревности скоро у него прошла. «Здесь он нужен, а там нужнее, гораздо нужнее», — думал Бусыгин.

VIII

Океан встретил дружелюбно. Шли вдоль западной части Пиренейского полуострова. Командиры рассказывали о Португалии. Представление об океане было сугубо теоретическое: море и море.

Солнце пекло немилосердно. Все жаждали прохлады, и команда то и дело обливалась забортной водой. Перед обедом раздался выстрел: «Человек за бортом!» Вмиг застопорили машины, спустили шлюпку, и гребцы, изгибая весла, полетели к брошенному, изображающему человека, буйку. Минута-две, поплавок подобран, флаг поставлен, и шестерка возвращается к кораблю.

— Команде купаться! — И вот замелькали голые тела. Вокруг запрыгало, забухало, загоготало, зафыркало, и океан запенился. Кто саженками, кто «по-лягушечьи», кто «по-бабьи», кто чистым академическим стилем. Бусыгин с полуюта покрикивает в мегафон:

— Вернись! На шлюпке! Засечь молодца!

«Засечь» — это значит записать. Тем, кого запишут, грозит страшная кара — запрещение на всю кампанию купаться с корабля в море. Уплывать за дежурную шлюпку не полагается, а хочется. Шлюпка как нарочно торчит под самым бортом, и кое-кому кажется тесно. На воде сверкают бело-красные блики кругов и головы, головы, головы...

— Полундра! — кричит голый парень с пушки. Он кричит, чтобы обратить на себя внимание товарищей.

— «Ласточкой»! «Солдатиком»! «Европой»! — советуют ему.

«Европой» — это значит прыгнуть так, чтобы сесть на воду. Эффект — в ударе и брызгах. Парень прыгает. Плюх! Раздается удар, похожий на удар валька по мокрому белью. Кажется, что от такого падения разлетится живот. Нет, ничего. Всплыл! Плывет, ухмыляется.

Три голые, мокрые, лоснящиеся фигуры бегом взбираются по скоб-трапу грот-мачты. Через секунду они уже на марсе, потом на нижней рее и, как обезьяны, пробираются по тонкой перекладине над палубой к ноку. Старпом заметил их, но уже поздно. Один, второй, третий — взметнулись в воздухе тела и, описав дугу, пропадают под водой, оставляя за собой пузырчатые следы на воде.

Бусыгину жарко. Он устал смотреть, устал покрикивать. Попросив разрешения у командира корабля, раздеваясь на ходу, он спускается вниз.

— Товарищ вахтенный начальник! — кричит он, уже голый, с нижней площадки трапа. — Посмотрите за «водой»!

Его мускулистое тело с полысевшей головой, загорелой шеей на белых плечах пропадает за бортом.

На палубе никого нет. Все в воде. Только разноцветные бельевые кучки номерами кверху разложены на палубе. Правило, основанное на том, чтобы знать, кто еще находится за бортом.

Вахтенный с завистью поглядывает на соблазнительную, прохладную, бликующуюся под солнцем зелень воды. Хочется — а нельзя.

— Не теряйтесь, духи! Ныряй! — советует кочегарам машинист. — Старпом сам за бортом, — ныряй!

Кочегары, скинув комбинезоны, по концу украдкой спускаются за борт.

— Лыков! Иди сюда — дело есть! — зовет с воды Добрушин, заметив на борту Захара. Он теперь секретарь партийного коллектива корабля.

Лыков ныряет. Вода пластами. Чем ниже, тем холоднее. Захар любит плавать в море, ощущая под собой и вокруг себя глубь и ширь. Море, небо, солнце, и — никого, никого, словно один в целой вселенной. Кочегары и трюмные барахтаются у самого борта, придерживаясь за спасательные круги.

— Эй, духи, — дорогу! — брызгаясь и смеясь, кричит, подплывая к кочегару, Захар, отталкивая от него спасательный круг.

— Ишь чорт, масштабистый! Океана ему мало...

— Умолкни! — хохочет Лыков и, навалившись на кочегара, погружает его под воду.

С борта, как через стекло, видны две борющиеся фигуры. Друзья тузят друг друга под водой, топят глубже, потом расходятся и поспешно всплывают на поверхность.

— Завтра на бюро будем принимать тебя в партию, — сказал Добрушин, когда Захар Лыков подплыл к нему.

— Я готов.

— Отец у тебя все еще в Большом?

— Нет, теперь на пенсии, — отвечает Захар.

— Читал твои последние стихи в «Красном флоте», — говорит Добрушин.

— И как?

— Личного много, а так ничего... Есть и хорошие куски.

— Куски только?

— Да, нужного покамест мало. Все «нечто и туманна даль», как у Ленского, помнишь?

— Не понимаю.

— Наших дней мало. Смысла сегодняшнего...

— Ты находишь?

— В самый раз тебе говорю. Стихи ничего бы, да гвоздя им недостает.

— В чем он?

— Гвоздь-то? Звать надо на борьбу, на труд. Вселять веру, утверждать правоту нашего дела. Мало ли, делов хватает...

— Это не каждый может.

— А ты моги. Тревожь, агитируй, проникай в душу — вот что я называю быть нужным, вот в чем гвоздь.

— Может, не дано.

— Труху выкинь, скулеж выкинь, тогда справишься. Ты поэт — пой так, чтобы песни твои помогали переворачивать жизнь. А ты все рифмой шмыгаешь.

Они молча проплыли несколько метров.

— А вода здесь куда солонее, — сказал Лыков.

— Еще бы!

— И цвет тоже иной.

— Да, у нас посветлее.

— Надо возвращаться. Кажется, вылезать пора.

— Пошли!

— Так вот дела какие! — заговорил вновь Добрушин, плывя брассом и отфыркиваясь. — Песни ты свои портишь, Лыков.

Лыков молчал.

— У тебя связь с заграницей есть?

— Нету.

— Бусыгин рекомендацию дает?

— Все в порядке.

— А мать где?

— На автомобильном.

— Так вот, я и думаю, — продолжал Добрушин, плывя позади Захара, — хватка есть, голос есть, нравится мне свобода твоей рифмы, а нет-нет и проглянет мелкобуржуазная душонка.

— Выходит, что ни сердца, ни души — ничего такого нет...

— Не говори глупостей. Коммунист должен всецело принадлежать партии, а не делиться.

— Но любовь, дом, мечты, природа... и куча всяких других человеческих вещей, неужели это не свойственно человеку нашего времени? Неужели это должно регламентироваться партийностью?

— Да, и на это, на человеческое, как ты говоришь, нужно смотреть с позиции коммуниста. Коммунизм — это мировоззрение, это нравственность нового человека...

— Не совсем понятно, Добрушин.

— Непонятно? Партийность — это обязанность человека по отношению к партии. Ты думал об этом?

— Не так прямолинейно...

— Блудить вольно! — сказал Добрушин. — А ты помни: люди, независимые от партии, — бред. Они или туда, или сюда, но непременно куда-нибудь... Мы даем тебе бумагу, краски, типографию, а ты за это давай нам нужное, нужные нам стихи. Потрудитесь их дать, в чем дело? Умей отвечать требованию политики. Не понимаешь?.. Не понимаете? — поправился Добрушин. — Летите. — И, проплыв несколько метров молча, добавил: — У Ленина об интеллигенции помнишь, что сказано, помнишь?.. Это было тогда, десять лет тому назад, теперь многое изменилось... А ты отрыгиваешь то, чем эта старая интеллигенция питалась до революции. Это есть мелкобуржуазность...

— Завтра во сколько? — спросил Лыков.

— После вахты. Вторую рекомендацию кто дал?

— Ржанов.

— Егорка Ржанов? Сын Петра Емельяновича? Хороший парень! Откуда его знаешь?

Захар рассказал.

— Мы твои стихи в следующий раз на бюро слушать будем, — сказал Добрушин, вылезая на площадку трапа.

— Я готов! — крикнул Захар и поплыл вперед.

Прошло полчаса. Дежурные с трудом выуживают обратно мокрую, гогочущую ораву. Вот шлюпка поднята, трапы и выстрелы завалены, гребцы распущены, «полный вперед!», «команде обедать!» Застучали бачки, миски и ложки. Пошла

«работа»... Лишь на палубе, у люка машинного отделения оставался лежать одинокий сверток одежды. Кто-то еще был за бортом.

— Стоп машина! — Корабль приспускает флаг.

Сигнальщики обыскивают море. Нашли. Вдали мелькает чья-то голова.

— Лыков! — докладывают сигнальщики с мостика.

Старпом, желая выиграть время, дает кораблю задний ход.

Бусыгин стоит на ходовом мостике, смотрит на дерзкого пловца и молча злится.

— Кто позволил? — спрашивает он сверху вытянувшегося перед ним голого Захара.

— Отнесло, товарищ командир...

— Кто позволил, я спрашиваю? Вы видели шлюпку, вы забыли?.. Вы... Как вам не стыдно! — говорит он с укоризною.

Захар стоит в натекшей с него луже воды, задрав голову вверх, и твердит неизменное, спасительное «Есть!».

— Идите, — говорит Бусыгин, заметив смущение Лыкова.

Захар вразвалку, подмигивая товарищам, поворачивается.

— Отставить! — нервно вскрикивает старпом. — Вы где? Вы кто? Вы перед кем?! — спрашивает он.

Лыков замер.

— Я запрещаю вам, Лыков, впредь купаться с корабля. Идите!

— Есть! — говорит Лыков и уже четко, как на параде, поворачивается кругом. Но при повороте не то нарочно, не то случайно, ноги его оскользаются на луже. Захар высоко и комично подбрасывает их вверх, но балансирует и не падает.

IX

Застегнувшись на все пуговицы и крючки, Бусыгин постучал в дверь каюты командира:

— Разрешите, Николай Николаевич?

Командир корабля пригласил старпома сесть. В каюте было прохладно и вкусно пахло дорогим табаком. Командир сидел за столом и что-то заносил в разноцветные листочки своей картотеки. Напротив него, провалившись в кресле, сидел старший преподаватель военно-морского училища Степан Степанович Нарежный — благообразный седой моряк с головой рублевского апостола.

— В мое время, — продолжал старый моряк, после того как Бусыгин уселся, — преподавание военно-морского искусст-

ва находилось в забвении. Считали, что военному моряку не к чему интересоваться этим предметом. На кораблях проводились обычные артиллерийские и минные стрельбы. Но не было выработано строго определенного метода управления огнем эскадры. Не удивляйтесь, — сказал Нарежный, заметив недоуменный взгляд Бусыгина: — Глухие годы... Этот важный фактор в бою предоставлялся, — продолжал он, — как бы вдохновению или импровизации командиров каждого корабля отдельно.

«Эх, батюшка! Снова про свою Цусиму!» — подумал Бусыгин, смотря на героя Чемульпо.

— То́го выработал на своей эскадре, — продолжал Нарежный, — метод сосредоточения огня всех своих кораблей на один головной корабль, и при этом управление огнем всей эскадры находилось в руках одного адмирала. Помню, град японских снарядов обсыпал залпом головного мателота нашей эскадры. Тот выходил из строя, горел, тонул, опрокидываясь. Затем такой же сосредоточенный огонь переносился на следующий — и та же участь... — Старик вздохнул, закрыл глаза, зажег погасшую трубку, пустил кольцо дыма и продолжал: — Когда стемнело, То́го отошел в сторону, а на уцелевшие корабли, сбившиеся в кучу, направил свои миноносцы, и те, атакуя их, довершили гибель... Ужасно! Нелепо и глупо! — произнес он оживляясь. — Добавьте к этому измученность и апатию моряков эскадры, сознание бесцельности экспедиции, предчувствие поражения, — мы все чувствовали это, — и, главное, намерение Рожественского уклониться от боя, что противно традициям морской стратегии. И вот вам коротко причины поражения. Главное, на мой взгляд, Николай Николаевич, — продолжал Нарежный, — не уставайте в своей книге указывать на тяжелые уроки, имевшие место в истории нашего флота. Уроки и их воспитательное значение. Это куда ценнее, чем все кадильные речи патриотических пустобрехов. Истинный патриот не тот — простите, что я оперирую старым термином, — не тот, кто, захлебываясь, кричит о своих мнимых успехах, а тот, кто разоблачает всякие мнимые успехи, кто не боится признать своей слабости, не закрашивает ржавчину суриком, а счищает ее с явлений жизни, и счищает потому, что истинно желает добра своему отечеству. Так-то мы, беспартийные, Георгий Кузьмич, судим об этих столь высоких предметах.

— Совершенно справедливо заметили, Степан Степанович, — сказал Бусыгин.

— Кстати о врагах, — продолжал Нарежный. — Характерно, что японцы разбирали Цусиму не только с точки зрения своих успехов, — тут они, надо сказать, прямо захлебывались от удовольствия, — но рассматривали ее и с точки зрения тактических ошибок. — И, подумав, Нарежный стал перечислять официальные источники об этой эпопее. — В училище у меня есть, я вам пришлю библиографию по Цусиме, — сказал он командиру корабля. — Надо отметить, что мало кто оставался равнодушным к этой трагедии, кроме, пожалуй, нашего царского правительства. Оно и здесь осталось на уровне своего положения — равнодушным к урокам истории. — Нарежный замолчал. Все долгое время сидели молча. В дверь раздался стук, и в каюту вошел начальник клуба.

— Товарищ командир, разрешите обратиться к старшему помощнику? — спросил моряк и, получив разрешение у старшего, отрапортовал Бусыгину о деле. — Вы разрешаете? — спросил он.

— Не возражаю, — сказал Бусыгин.

«Не возражаю» — это было то новое, любимое словцо Бусыгина, которое заменяло ему теперь очень многое.

Командир корабля встал и прошел за портьеру, чтобы взять с полки книгу, которую просил Нарежный. В это время раздался новый стук, и на пороге каюты показался вахтенный.

Он поискал глазами командира корабля и, не найдя его, доложил Бусыгину:

— На правом траверзе два самолета в воздухе!

— Не возражаю, — ответил Бусыгин и махнул рукой. И жест старпома как бы сказал: «Идите, не мешайте тут по пустякам». Вахтенный, козырнув, удалился.

— Степан Степаныч, — спросил из-за портьеры командир корабля, — вы прочли мое введение ко второй части «Истории»?

— Так точно, Николай Николаевич, — ответил Нарежный. — Я бы только добавил и подчеркнул — это очень важно для высших сфер, — пояснил он, — что история морских держав показывает нам, что развития политического могущества, богатства и военной силы каждая страна достигла в те периоды своей исторической жизни, когда обладала сильным флотом и покровительствовала мореплаванию...

Разговор был прерван новым стуком в дверь. На пороге снова появился вахтенный.

— Через пять минут спуск флага, — доложил он.

— Не возражаю, — сказал Бусыгин и прежним жестом удалил моряка.

— Так что вы хотели сказать, Степан Степанович? — спросил командир, выходя из-за портьеры и улыбаясь.

— История развития морских держав показывает нам... — начал вновь Нарежный и повторил слово в слово, как по записи, все сказанное им раньше, видимо следуя привычке преподавательской точности. — Примером тому служит история древних держав, как Финикия, — продолжал он, — Карфаген, Рим. В средних веках — Голландия, Португалия, Испания, Генуя, Византия и даже Венеция. Несколько позднее Россия Петра Великого. В наше время небольшие островные — Англия и Япония.

— Благодарю, — сказал командир. — Я непременно проанализирую этот процесс подробнее.

Командир прошелся по каюте и, остановившись против Бусыгина, сказал:

— То, что вы, Георгий Кузьмич, «не возражаете» против киносеанса, даже против летящих в небе самолетов — это туда-сюда. А вот против захода солнца — это оригинально, — и командир засмеялся веселым здоровым смехом. — Знаете, вы мне напомнили собой одного вольского немца — Беккера, — сказал командир, — он плавал у нас старшим ревизором. Так этот немец ни к селу ни к городу всегда употреблял слово «неверно». Были у него часы какой-то немецкой фирмы, которыми он по-немецки гордился. Помню, петропавловская пушка пробила полдень. Мы все проверили свои часы. У Беккера отставали. Но он не перевел их. Когда мы спросили его почему, он заявил нам, что пушка «неверно». Ему объяснили, что пушка стреляет по сигналу Пулковской обсерватории. «Обсерватория «неверно». — «Обсерватория исчисляет время по солнцу», — пояснили мы. «Солнце неверно», — сказал немец. Так же и вы... Надо следить за собой, Георгий Кузьмич.

— Есть следить, товарищ командир! — сказал Бусыгин краснея.

Помолчали.

— Позвольте, Николай Николаевич, обратить ваше внимание на одно обстоятельство, — поборов смущение, заговорил Бусыгин.

— Да, пожалуйста.

— Я думаю, что в вашем историческом анализе нельзя ограничиваться только примером России эпохи Петра. Совет-

ская Россия как раз вступила в тот исторический период своей жизни, когда может и уже обладает... ну, не сильным пока, но растущим флотом и во всяком случае покровительствует мореплаванию...

— Вы оптимист, — заметил Нарежный.

— Нет, просто свидетель, — продолжал Бусыгин. — Мы с вами делаем историю, слишком близко расположены к событиям, а потому и не всегда правильно оцениваем их историческое значение.

— Пожалуй, — согласился Нарежный.

— Ваша формула, извините меня, Степан Степаныч, как бы стоит на голове. Вы говорите: «Тогда, когда обладали сильным флотом и покровительствовали...» Голландия, Португалия, Испания разбираемого нами с вами времени представляли собой государства пиратско-капиталистической формации. Это была так называемая «эпоха накоплений», проще — эпоха нескрываемого бандитизма и колониального грабежа. Советская Россия строит свой флот на иной экономике, и формула здесь иная. Чем выше и совершеннее индустриальная база страны, чем независимее ее экономика, тем могущественнее флот. Прямо пропорционально, Степан Степаныч.

— Что ж, я не возражаю, пожалуй, вы правы. Ваше мнение, Николай Николаевич? — спросил Нарежный командира.

— Бусыгин прав, — согласился командир корабля.

— А что, Николай Николаевич, — спросил Нарежный, меняя разговор, — не жаль вам с кораблем расставаться?

— Жаль, но ведь и там корабли.

— Не секрет, куда вы уходите?

— В штаб или что-то вроде штаба, который теперь формируется при члене Военного Совета Петре Емельяновиче Ржанове.

— Кораблестроителе? — спросил Нарежный.

— Да.

— Хороший человек, говорят.

— Говорят...

— На предмет?

— «Делать историю», как говорит Георгий Кузьмич.

— Насчет новых флотов?

— Совершенно верно.

— А ваш труд по истории?

— Что ж, придется покамест отложить, — сказал командир корабля.

X

Солнце, как рубин, сверкая, погружалось в зелень океана.

— На флаг! Смирно! — скомандовали с вахты.

Моряки, бывшие на верхней палубе, повернулись спиной к борту. Прошла минута, и солнце ушло под воду.

— Флаг спустить! — последовала команда.

Потом звуки горна, потом «вольно!», потом «исполнительный» «ту-ту», и палуба вновь ожила. Краски заката, поиграв цветами радуги, погасли. С неба на море спускалась ночь.

На юте группа курсантов под руководством Нарежного занималась астрономией, ловя первые звезды. На баке шло комсомольское собрание. Молодежь говорила о конфликтных делах, экономии хлеба, нарядах, комсомольском хозяйстве и социалистическом соревновании среди комсомольцев. У фок-мачты, по обыкновению, курили и зубоскальничали. Вся баковая «аристократия» — писари, санитары, баталеры, коки — собрались у «обреза».

— Человеческая система подобна солнечной, — говорил писарь Крючков, заложив набекрень бескозырку.

— Ну-ка, загни... Ух, и мастер гнуть!.. — сказал баталер.

— И загибать нечего, а такова ситуация... Гении, руководящие миром, я беру вообще, — это своего рода солнца. Мы с вами, в порядке самокритики, вроде как луны, отражающие на себе свет этих солнц. И то не всегда, — добавил он, вздохнув.

— Вали, вали!.. Эсеровский культ личности проповедуешь?..

— Мы — это та среда, — продолжал писарь, — ну как бы вам растолковать?.. Ну, вроде как размножители, на этой среде произрастают гении...

— Здорово! — сказал санитар, не то удивляясь, не то посмеиваясь над словами Крючкова.

— Да, тысяча гениев приходится на все население Земли в столетие, не больше.

— И где ты, Васька, это вычитываешь?

— Размышлением достигается, — ответил он коку многозначительно.

— От нас тоже, выходит, малость пользы есть. Не будь нас, где бы тогда гениям вырастать? — заметил кок.

— Естественно, — согласился Крючков. — А только мы своего собственного света не имеем. Вот Пушкин, Толстой, — Лев Толстой, конечно, — Ленин, Репин, Тимирязев, Кюри — они да, у них у каждого свой свет, вроде как у них, — и Крючков

показал рукой на звезды. — Вон, видите, — говорил он, — одна зеленым отливает, другая — красноватым, та — желтым; у каждой свой...

В группу курильщиков протискался в белом фартуке вестовой.

— Крючков! — крикнул он. — И чего, чорт, брешет, весь корабль обежал! — ругался парень, теребя Крючкова за рукав. — Иди, старпом требует, да накладные на консервы захвати. Ух, ситуация!... Горазд побрехать, — сказал он, когда писарь убежал.

— Есть новости, Матвей? — спросили моряки.

— Новости, значит, такие, — отвечал он, приглядываясь к лицам, и, убедившись, что его окружают свои, тихо произнес: — В Портсмут не заходим.

— Брось?! — в один голос воскликнули моряки.

— Так-то! — продолжал вестовой. — Овер-штаг и прямо в стойло...

— Откуда знаешь? — спросил недоверчиво санитар.

Вестовой ничего не ответил. Он только взглянул на санитара, но взглянул так многозначительно, что сомневаться в правоте его слов было уже нельзя.

— Так-то вот, братишечки, — в Кронштадт топаем. Ну, да мне пора, посуду убирать надо, — и вестовой хотел уйти.

— Погоди, — остановил его баталер. — Ты как, ярославский мужик, остаешься служить?

— Куда ему!.. Он из Залесья; он моря боится...

— Ну и соврал... Касторка, право, касторка! Не знаешь ты, откуда флот пошел, — ворчал Матвей. — Кабы знал ты да ведал, что у нас в Переяславле-Залесском, на Плещеевом озере, Петр Романов, первый русский адмирал, строил первую русскую флотилию, ты бы помалкивал. А то — моря боится!.. Сказал, как размазал! — Он сделал гримасу.

Парни прыснули со смеху.

— Ну, пока, — сказал вестовой и скрылся в люке.

Сменившись с вахты и приняв душ, Захар Лыков пошел в типографию. Внизу, в трюме, по соседству с кочегаркой печатали литературно-художественный и общественный журнал отряда «Красный шторм». И как раньше Захар любовался выточенным им болтом или какой-либо деталью, так теперь он любовался первым жирным оттиском, приятно пахнувшим типографской краской.

Кочегар держал корректуру. Кок осаживал марашку. Иногда, если дело заходило за полночь, кок приносил с камбуза

в редакцию мясо. Тогда редактор и его сотрудники жарили себе в кочегарке на старом шомполе шашлык, направляя мясной вкусный запах в раструб.

Лыков корректировал статью Василия Веригина, нового военкома «Совета», о высшей нервной деятельности человека. Заговорили о Павлове и его теории сигнальных систем человека и глубоком физиологическом анализе сигнального значения слова, как условного раздражителя.

— Слово, — что говорить! — большое значение имеет, — сказал кок.

— Погоди, ты послушай, что об этом Иван Павлович пишет, — сказал Лыков и, найдя нужное место, прочел его.

— На то и человек: как же иначе? — вставил реплику кок.

Лыков подчеркнул некоторые слова в тексте двойной чертой снизу, провел две линии на поле страницы, написал «прописными» и обвел это слово овалом.

— Ну, дальше-то? — спросил кочегар.

— Тут Веригин пишет, что слово благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет, — сказал Лыков. — Это очень верно, — добавил он.

— Это где же? — спросил кок.

— Это здесь, — сказал Лыков, улыбаясь, постучав кока по голове карандашом.

— Я не про то спрашиваю. Это есть раздражитель первой сигнальной системы или второй? — спросил он.

— Второй, разумеется, — сказал Лыков. — В отличие от непосредственных раздражителей первой сигнальной системы. — Захар постучал по столу, размял табак в пальцах, сунув его под нос коку, помигал настольной лампой, то гася ее, то зажигая, объяснив, что все это есть раздражители первой сигнальной системы.

— А какими чертами слово характеризуется? — спросил кочегар.

Лыков пояснил, что слово является таким же реальным условным раздражителем, как и непосредственные раздражители, так как оно может вызвать в коре больших полушарий соответствующие нервные процессы — возбуждение или торможение.

Во время объяснения Захара в помещение вошел Терентий Ильич. Он тихо, на цыпочках прошел вперед, сел и стал слушать, с трудом понимая.

«Мудреные вещи придумали, а, стало быть, нужно, коли комсомольцы об этом толкуют. И то сказать: в наше время было не так», — думал он, слушая Лыкова. Думал он о своем разговоре с Бусыгиным на мостике. С ним было так, как бывает в оркестре: на первом плане звучат контрабасы, виолончели, флейты и где-то позади, тихо, но ясно, словно музыкальная струйка, журчит скрипичный мотив, пробиваясь сквозь другие мотивы и не путаясь с ними. Таким скрипичным мотивом для Терентия Ильича был мотив о Тихом океане. Он пробирался сквозь другие его заботы и думы и все журчал, журчал, не давая ему покоя.

— Выходит так, — говорил в это время кочегар: — слово заменяет непосредственные раздражители и поэтому может вызвать такие же реакции, как и соответствующие ему непосредственные раздражители?

— Правильно! — подтвердил Лыков. — Слово воздействует на вторую сигнальную систему человека. — Лыков усилил слово «вторую». — А через нее и на первую, подкорку и различные функции организма, — сказал он.

— А польза какая от этой подкорки? — спросил кок.

— Для педагогики польза, — ответил Лыков, заметив боцмана.

— И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна... — сказал старик, улыбаясь, выслушав рассуждения Лыкова. — Ты мне, Захарушка, ночник обещал над постелью пристроить, чтоб я почитать на сон грядущий мог. Сделал? — спросил он.

— Сделал, дедушка. И колпачок пристроил и выключатель кнопочкой, — сказал Лыков.

— Вот и уважил, родной! А насчет философии, я так сужу: слово есть поступок, а потому не говори никогда того, чего не чувствуешь. Помню, был у нас на «Палладе»... — начал старик, но не закончил. В это время колокола громкого боя известили о боевой тревоге. Обсуждение номера журнала было прервано, и все разбежались по своим постам.

XI

Живой продукт — «стадо», бывшее в загонах на верхней палубе, было съедено. Уголек кончался. Пятнадцатые сутки продолжался поход. «Совет» шел экономическим ходом, мерно печатая свои четырнадцать узлов. Море попрежнему как зеркало. Солнце палит так сильно, что из пазов палубы плывет

смола. Свободные от вахты попрятались в трюмах или ползают, как сонные мухи. На корабле «мертвый час». Но и в «мертвый час» продолжается бурная деятельность. На мостике сам командир Николай Николаевич, вахтенный начальник, рулевой, сигнальщики. На верхнем мостке курсанты со своим дядькой Нарежным «ловят солнце». В море пусто, тихо, скучно — ни дымка, ни паруса. В кожухе гремят кочегары, выгружая шлак. Парни работают и тихонько напевают про «белые ночи, про черные очи». У камбуза, гремя алюминиевыми мисками, моют посуду, рубят к ужину мясо и драют лагуны. Тут же вертится псина Горгулов, выслуживая кусочки сахара. В носовом кубрике идет генеральная репетиция к вечернему спектаклю; в прокладочной — семинар по философии.

В каюте старшин разговор о войне на Дальнем Востоке, о текущих событиях, береге и... подругах. Запахло землей, и приготовления к земле начались. Кочегар ловко ковыряет шилом ботинки, прошивая их дратвой. Артиллерист вшивает в брюки клинышки, чтобы сделать их поклешистее. Водолаз надраивает пуговицы бушлата и рассказывает друзьям о своей недавней поездке в Гатчину.

— Познакомились мы там с молодыми работницами со «Светланы», — говорит он, — и пошли гулять по чудесным аллеям парка. Вечером пришвартовался я к одной... Ух, прелесть!.. — со вздохом произнес водолаз и при этом воспоминании закрыл глаза.

— Хороша? — спросил кочегар.

— Хороша — это не все, — сказал водолаз. — Чудо — и то мало! Уж она меня и туда и сюда, и на Серебряный пруд, и в павильон Венеры, потом — стой, как же это? — Пан-де-Сюрприс, — произнес он, коверкая слова. — А ночью, достав лодку, катались мы с ней по Малахитовому озеру... Вода там, веришь, как слеза, все дно видно. Вот где работать хорошо!

— Насчет дела-то как? — интересовались парни.

— Полюбит, — непременно обзагсимся.

— Неужто впрямь хороша?

— Точеная вся... Умная!.. Глаза какие!.. Ножки!..

Он не договорил. Приход в каюту Добрушина прервал его восторженный рассказ.

— Как, балтийцы? Говорят, земля скоро? — спросил он.— Э-э, да я вижу, вы уже полируетесь?

— А что же теряться?

— Это верно!

— Насчет Питера, Добрушин, не слыхать? — спросил артиллерист, утюжа швы.

— Вряд ли, — сказал Добрушин. — Поход не зря свернули.

— Вот и мы так кумекаем... В Кронштадт по всем правилам рановато бы.

— Лыкова не видали? — спросил Добрушин.

— У трубы, на рострах, стихи пишет, — сказал водолаз.

— К берегу приставать не стыдно, товарищи? — заговорил Добрушин, присаживаясь на койку.

— Будь спокоен, товарищ отсекр, — ответил машинист. — Шесть поощрений, сто двадцать процентов экономии масла к плану, ни одного повреждения, ни одного взыскания, и корабельный устав старпому на «отлично» оторвали.

— А одно дело смазали, — возразил Добрушин.

— Какое? — удивился машинист. — Ну-ка?

— Кто в твоем подразделении «трешник» получил?

— Федька, — сказал машинист так, будто это и не могло быть иначе и что удивляться тут нечему. И он строго посмотрел на водолаза.

— Как же так?

— Эва, да ведь он болен.

— Чем же? — спросил Добрушин.

— Федор-то? Уж вот третью неделю сряду. — Он посмотрел на смущенного водолаза, который протирал в это время суконкой пуговицы, и продолжал: — Беспросветно и навсегда... Но причина, товарищ секретарь партийного коллектива, вполне уважительная. — И он подмигнул.

— Да что с тобой, Федя? — спросил Добрушин.

— Влюблен, — сказал машинист.

— Вон оно что?!. Ну, тогда верно...

— Вот и я говорю, — продолжал машинист уже не тем шутливо-развязным тоном, которым он говорил перед этим, а строго. — Вот и я говорю: пуговицы и бляшка в огне, а на политграмоту умишка не хватило.

— Сказал, что пересдам. Что подначиваешь?

— Не любишь, Феденька, когда тебе в корму скипидаром... Вон она как тебя, баба-то...

— Ты меня бери, а ее не трожь! Слышишь?..

— Мы ее и не трогаем.

— И не трогай, — произнес водолаз гневно.

— Ты бы, Федя, сходил к Лыкову да сдал бы, — сказал Добрушин. — Вахту подводить не следует.

— Ходить мне, товарищ Добрушин, не к чему.

— Почему?

— Потому что я эту грамоту еще до обеда сдал. И пятерку имею.

— Молчишь чего? — спросил машинист.

— А ты от жизни не отставай, старшина, знать должен...

— Вот суну тебе пару нарядов вне очереди за эту жизнь.

— Вахту подводить не следует, — сказал водолаз улыбаясь.

— Это верно, — согласился Добрушин.

— А ты вправду сдал, Федор?

— Честное комсомольское.

XII

Вот и Кронштадт — сердце Балтийского флота. Высокая труба морского завода с белыми знаками, постоянное облако дыма, висящее над портом и гаванью; купол морского собора; нескладная, словно гнездо аиста, вышка службы наблюдения и связи на крыше первого Дома флота; форты, маяки, броненосец «Петруша»; все те же торчащие из воды обломки «Рюрика»; суда блокшивы и зелень парка, где под сенью столетних лип со шляпой в руке, как гостеприимный хозяин, стоит державный основатель города.

Корабли все в море. Скучно в Кронштадте летом, очень скучно... И кажется, будто все дремлет. Дремлет опустевшая гавань, дремлют мосты над обводными каналами, поросшая в них цвелью вода, батопорты доков, массивные чугунные ограды вдоль берегов, палисадники из якорных цепей, пушки у арсеналов, мрачные постройки цейхгаузов с полосатыми будками часовых... Дремлют крепостные улицы, устланные чугунными плитами, опустелые корпуса училищ... Вокруг серые дома казенного города с лицом казармы и... редкие бескозырки.

И все же обетованной землей казался этот островок после долгого пребывания в море. «Совет» не успел ошвартоваться к стенке, как в гости прибыла рабочая делегация. С цветами, подарками, а главное, как разглядели уже в бинокли, с хорошим букетиком хорошеньких девушек. Этот дух земли особенно подымает настроение. Все тогда, от командира до кока, преображаются. Корабль и моряки приобретают своеобразный тон, бравый вид и моряцкий лоск.

Командир и комиссар съехали с корабля с докладом к новому флагману, флаг которого развевался теперь на «Коммунисте». Крейсер дымил, готовясь сняться. На «Совете» ждали нового флагмана с минуты на минуту. Бусыгин, хотя и был готов к смотру, заметно волновался. Не подозревая всех таинств службы, всех возможных «фитилей», приуготовленных старпому, женщины щебетали. Бусыгин, прикрывшись хладнокровием, прохаживался с ними по палубе, любезничал и ждал своей участи.

— Товарищ командир, голубчик, это как называется? А это что за штука? — звенел голосок.

— Покажите, где вы спите, — интересовалась другая.

— Ой, как интересно! — кричала третья, заглянув в кают-компанию через люк.

— Идет? Чем не моряк? — говорила девушка подругам, успев снять с кого-то бескозырку. Она ловко надела ее на себя, подобрала волосы и стала кокетливо смотреться в карманное зеркальце. — Хорошо? Правда? — спрашивала она, стуча по палубе высокими каблучками.

— На мостике! — окликнул Бусыгин сигнальщика.

— Есть на мостике! — отозвался тот.

— Почему не докладываете? — и подумал: «Ишь, шалопай, еще, чего доброго, флагмана проворонит», и вслух добавил: — В оба смотреть за водой и за стенкой!

— Есть смотреть за водой и за стенкой! — ответили с мостика.

Прошлый раз на полубаке говорили правду. С приходом «Совета» в Кронштадт корабль сразу начал деятельно готовиться к новому походу. Куда, на сколько — никто не знал. Но по самому верному признаку, по тому, что команду не увольняли в Ленинград, поход ожидался со дня на день.

Шефы, кроме подарков, привезли еще билеты на большое гулянье в день 1 августа в саду имени МОПРа. Они приглашали к себе на завод, приглашали и домой.

— Не можем, в море уходим, — говорили моряки.

— Ради Международного красного дня, небось, и постоять можно. Мы же вот к вам приехали, — говорили с обидой девушки.

— Ближе к зиме, тогда видно будет, — отвечали моряки.

Вечером председатель заводского комитета докладывал личному составу корабля о перевыполнении заводом промфин-

плана, об успешной реализации займа «Третьего решающего», о жизни и труде рабочих. В конце торжественной части отличников боевой и политической подготовки шефы наградили ценными подарками.

Потом пели, плясали и много смеялись. Бусыгин, довольный тем, что флагманский корабль ушел в Ленинград и что смотр не состоялся, был особенно возбужден и весел.

Захара Лыкова и еще двух принятых вместе с ним в партию моряков отпустили вслед за крейсером в Ленинград, и то на несколько часов, чтобы получить в политотделе партийные билеты. После своего успешного выступления на корабельном вечере самодеятельности Лыков уехал.

В двадцать один ноль-ноль рассыльный штаба флота принес Бусыгину пакет с приказом, где говорилось, что Георгий Кузьмич назначается командиром «Совета». Температура настроения Бусыгина после этого особенно повысилась. Его простое и доброе лицо, когда он вышел из каюты после прочтения приказа, выражало торжество и счастье.

«Это я сам заработал, сам, своими руками!» — говорили его лицо, глаза и улыбка.

XIII

Лыков вдруг почувствовал себя совершенно иным человеком: каждая мысль его и каждый поступок теперь были освещены новым светом его чувства.

«Я — член Коммунистической партии, той партии, членом которой был Ленин», — думал Захар. Ему хотелось быть лучше, и он чувствовал, что становится таким. Ему хотелось сделать что-нибудь хорошее. «Нет, больше, чем хорошее... Свершить такое, чтобы это было... Принести себя в жертву, спасти кого-нибудь, но непременно сделать и сделать сейчас, немедля», — думал он. Захар чувствовал, как нарастают и крепнут в нем душевные силы, как растет потребность эти бушующие и не дающие ему покоя душевные силы излить. «Теперь я могу, все могу, и совсем иначе, чем тогда. Слышите? Могу отдать себя до последней капельки! Хотите?»

Лыков уже который раз вынимал по дороге и рассматривал свой партийный билет, вновь и вновь перечитывал в нем свое имя и слышал, как ему казалось, торжественно-величественные звуки, и понимал, что это происходило там, в его сердце. Он шел вдоль Невы той особой, энергичной походкой, в которой выражались молодость, счастье и уверенность молодости в этом счастье.

«А вы любите жизнь, всю ее, от былинки до капельки? Всю ее красоту, всю радость?» — мысленно спрашивал он встречных.

И, не дожидаясь их ответа, говорил: «А я люблю!»

«А вы знаете, что я матрос флота Союза Советских Социалистических Республик, матрос-большевик, да, да, большевик! Не знали? Так знайте!» — говорил весь его облик.

«А ты все думаешь, все отгадываешь, загадку? — спросил он, обращаясь к сфинксу, лежащему на Невской набережной против Академии художеств. — А я понял, разгадал, нашел! Жизнь, труд во имя жизни, жажда этого труда и наслаждение им — вот истина. Не думай, не надо — все ясно», — сказал он человеку-льву и, не дожидаясь его ответа, прошел вперед, не обращая внимания на то, что каменное изваяние, отражаясь в воде, словно соглашаясь с Лыковым, качало ему вслед своей головой.

«В героической личности, — размышлял Захар, — отражаются национальные свойства целого народа, как в капле росы отражается солнце. И чем органически ближе эта личность народу, чем ярче выражена особенность и характерность духа этого народа в личности, тем выше и значительнее сам подвиг и его оценка. В жизни личности бывают минуты, которые определяют собой надолго дальнейший путь ее жизни. У меня это было, я помню... Такие периоды бывают и в жизни целого народа, когда в короткие исторические мгновения проявляются все нравственные свойства и качества уже не личности, а целой нации. Эти мгновения предопределяют собой на десятки, а иногда и на сотни лет дальнейший ход исторического развития поколений».

«Куликовская, Полтавская и Бородинская битвы есть выражение свойств духа русского народа. 1905 год, Февраль и Октябрь 1917 года есть проявления все тех же духовных свойств моего народа. Наши дни под своим будничным однообразием и трудом таят в себе величие грядущего, которым станут гордиться будущие поколения», — думал Лыков.

И какими маленькими и ненужными показались теперь Захару многие из его стихов, в которых он говорил о себе, о какой-то выдуманной им сердечной тоске, мнимых переживаниях. Теперь вдруг как-то враз он понял всю их искусственность и ненужность. Всю мелкость мысли в этих словах, которые он кудрявил рифмой.

«Не так, не так! — твердил он. — Надо сызнова, сызнова все!..»

XIV

Время шло к спуску флага. Корабли отряда стояли в гавани и принимали десант. По сходням, спотыкаясь на поперечниках, неумело бежали пехотинцы.

— А ну, ну, побыстрей! — покрикивало начальство, смущая и без того оторопевших бойцов.

С винтовками, ящиками подмышкой, пулеметными частями, мешками за спиной, свернутыми хомутами шинелями, лопатами на поясе, котелками и прочей пехотной снастью бежать было нелегко. Иные тащили тяжелые зеленые ящики, какие-то приборы, доски — и сходни гнулись под тяжестью.

— Бегом!

Красноармейский поток движется беспрерывно. У люков стоят моряки и направляют этот поток вниз.

— У меня еще рота, — просит командир батальона, — и тогда все.

— Да некуда, помилуйте, товарищ командир, грузите на «Смольный».

— Да ведь сотня... Разрознять не хочется, — убеждает пехотный Бусыгина.

— Уж без сотни деться некуда.

— Ну, где-нибудь пристроимся. Право, делить неохота.

— Товарищ командир, крейсер запрашивает, — доложил вахтенный сигнальщик.

— Что еще?

— Можем ли принять подразделение...

— К чорту! Я переполнен! Штучки!.. Знаете ли! — злится Бусыгин.

На мостике ждут ответа. Бусыгин молчит.

— Как прикажете отвечать, товарищ командир? — спрашивает вахтенный начальник.

— Как сельдей в бочке... Как отвечать?

— Егор Кузьмич, — вмешивается боцман, — прикажите написать так: прошу, мол, разрешения выгрузить на другой корабль пару рот — перегружен... Вот они и отстанут.

— А ты дипломат, Терентий Ильич.

— Да ведь, голубчик, — смеется старик, — всякое бывало!.. Служба-то ведь, она вон какая долгая...

С крейсера, действительно, после этого больше уже не запрашивали.

Прозвонили колокола. «По местам стоять! С якоря сниматься!» Затопали ноги, засвистали дудки, и через минуту все

стихло. Иногда слышно, как свистят блоки, как стукнут о палубу брошенные концы, как кто-то быстро пробежит с поручением... Сходни убраны, швартовы отданы. Под реями на фалах мелькают флаги. «Пошел якорь!» Застучал брашпиль, заскрежетала в клюзе цепь, зазвенели струи воды. Корабль дает ход... Снова знакомый трепет корабля, шум за кормой, ветер на палубе, удары волны в борт...

Вот ворота гавани, Кроншлот, рейд... Аврал окончен.

— Подвахтенные, вниз!

Через минуту в небольшой каюте собрался партийный актив корабля. Здесь кочегары, машинисты, электрики, минеры, артиллеристы и несколько средних и старших командиров. Командир корабля объясняет по карте маршрут и место высадки. Рассказав о плане операций, Бусыгин отметил отличные показатели секторов и служб, упомянув несколько фамилий.

— У нас нет аварий. Механизмы работают четко. У нас нет взысканий. Люди трудятся самоотверженно. Мы начали поход хорошо и, надеюсь, окончим его также С рассветом будем на месте. Отмели района не позволяют нам подойти близко. Всю операцию предстоит провести при помощи шлюпок. Надо беречь людей, оружие, беречь посуду, шлюпки... Вот, пожалуй, и все. — Командир помолчал и, посмотрев на каждого, продолжал: — Мне нет надобности говорить о том, как вам следует себя вести. Я знаю вас и потому верю. Мы, я и комиссар, не хотим от вас ничего сверхъестественного. Мы требуем только одного — чтобы вы были, как всегда, большевиками-балтийцами. Правильно, комиссар?

— Правильно, — подтвердил Веригин.

— Теперь твое слово, Василий Михайлович.

— Мое слово — на этом закончить. Люди пусть отдохнут. Что делать — Добрушин знает. План я утвердил. Так, — сказал комиссар.

Собрание партийного актива, продолжавшееся тринадцать минут, окончилось.

В кубриках кают-компании идут беседы с красноармейцами. Бюро коллектива партии и комсомола мобилизовало весь свой актив лекторов. Тут и история, и навигация, и Лозаннская конференция, и шлюпочное дело, и устройство корабля. В палубах тесно, душно. Трудно ступить, чтобы не натолкнуться на человека. Люди стоят, сидят, лежат.

На правом барбете, у пушки заседают комсомольцы, кого-то принимают в свою организацию. «В ответ на поход, — читает

Анютин заявление, — прошу принять меня в ряды Коммунистического Союза Молодежи».

— Как по специальности?

— Отлично.

— Дисциплина?

— Отлично...

И речь зашла о дисциплине. Анютин сказал, что на советском флоте она должна поддерживаться сознательностью передовой части матросов, партийными и комсомольскими организациями и всем командирским составом, их выдержкой, преданностью революции, героизмом и самопожертвованием; умением командного состава сблизиться, слиться с матросской массой; правильностью политического и технического руководства, укреплением веры флотской массы в полное соответствие командиров своему назначению.

— И, разумеется, оправданием командирами этой веры в массах, — добавил Зосимов.

— А принуждение? — спросил инструктор Мишин. — Ты игнорируешь?

— Настоящий красный офицер добьется полного подчинения своей воле без всяких принудительных мер, — сказал Анютин. — Вместо страха и насилия мы создаем дисциплину гражданского долга. И только такую дисциплину не сломит никакая сила, — заключил он.

Прошли Толбухин маяк, и стало покачивать. Ветер срывает гребни волн и заносит их на верхнюю палубу. От туч, обложивших небо, стемнело. На переднем мателоте что-то морзят ратьером *. Узкая световая щель фонаря чуть видна. Спустя час ветер усилился и запел в снастях. Волны забили в барбеты. Пришлось задраить иллюминаторы. Лица многих позеленели, участились походы на полубак... Бойцы поднялись наверх. Никто не хлебает жирных щей, отворачиваются и от макарон с мясом.

— Навались, братва! — смеется моряк, подмигивая пехотинцам. — За всех выгребать трудно...

— Второй бачок опоражниваете? — спрашивает кочегар.

— Третий...

— Что ж, пехота, или харчевать неохота? — смеется водолаз. — Съешь ложечку, — потчует он армейца.

* Специальный сигнальный фонарь.

Но армейцу не до того — мутит.

— А ты поди, милый, отдай концы, — советует рулевой, — тебе враз легче будет.

И, уписав миску, он бежит на камбуз за добавком. Кок сегодня особенно щедр и одаривает каждого, — все равно останется.

— Десять лет соглашусь в армии служить, — говорит боец, — а чтобы на эту каторгу!.. — он не договорил и склонился над «обрезом».

— Как славно браток беседует, — язвит кто-то над ним.

— Чего языки распустили? — басит старшина. — Подначка — разве это дело? Нет чтобы помочь товарищу. Ишь, ржут!..

— Мы и так помогаем, — говорит рулевой, пошабашив со своим прибавком. — Или ему свои пальцы в рот?..

— Хорошая подначка, старшина, — залог боевой подготовки, — вставляет кочегар.

— Ну, хватит, хватит!

Парни смеются.

Моряки «Совета» были как-то особенно возбуждены. То ли тем, что кончился трудный день погрузки, то ли, как всегда, походом, или потому, что это происходило на людях — можно было показать себя. «Вот. посмотрите, какие мы! Нам все трын-трава!» — говорили их смелые, озорные, улыбающиеся физиономии.

XV

— По сеткам! Койки брать!

Команда разбрелась по укромным местам и, разбившись по группам, не раздеваясь, легла и ведет разговор. Терентий Ильич обходит палубу. Одно пощупает, другое проверит, третье перенайтует по-своему — не сорвалось бы за борт. Он ходит и прислушивается к тому, о чем говорят.

— А то вот был случай, — слышит он голос моториста. — Заступил это мой друг часовым на молу. Дело на восходе было, немного туманило. Видит он: шлюпка, на шлюпке два человека. Один в армейском, другой — по-нашему, в морском. «Кто идет?» — спрашивает. «Мимо», — отвечают. Ну, ладно... Только, смотрит, тузик к молу подваливает. «Ах, так!.. Хорошо!» Подошел этот тузик, погремел у стенки рымом, пришвартовался. Один, что в морском был, на тузе остался, а армейский, значит, полез на стенку. Только это он вылез, приятель ему: «Стой! Пропуск!» Тот себе и ухом не ведет. «Руки вверх!» — а тот

идет себе как ни в чем не бывало. Парень мой тоже не промах: раз, два — затвориком щелк! — патрон загнал. «Стой! — говорит, — стрелять буду!» Армейский остановился. «Пропуск!» — спрашивает часовой. А тот ни бе, ни ме — не знает пропуск. «Разве вы, — говорит, — товарищ краснофлотец, не видите, что я председатель Реввоенсовета?» Посмотрел мой друг на него, — и вправду, Ворошилов. «Оно, — говорит, — точно, схожесть огромная, а только пропуск!.. Или руки вверх!» Тот ему снова насчет того, что он Ворошилов. «Не узнаете, мол, почему?» — и сердится.

— А на кой ему украдкой на базу? — спросил кто-то.

— Помалкивай, — оборвали голоса.

— Проверить, видно, хотел, как на постах стоят...

— Этого я тебе сказать не могу, — ответил рассказчик, — может, и проверить хотел... Это дело начальства... Ну, так вот, — продолжал моторист. — «Руки вверх и молчать! — скомандовал он ему. — Кругом!» Тот руки поднял, повернулся и стоит. Часовой мой задом, задом до звонка подается, чтобы, значит, вызвать разводящего. «Я, — говорит, — устал руки вверх держать, — тот-то ему. — Вот мои документы...» — «Это меня не касается, — отвечает часовой. — Молчать, и все!» А сам в это время затвориком опять пощелкивает. Жмет он кнопку — никого! Снова жмет — и опять никого! Испортилась сигнализация. Нет разводящего! Прошло этак минут двадцать. Тот все стоит. Просит документы его проверить. Руки у него онемели, опускаются. «Я, — говорит, — вам приказываю меня к командиру части проводить», — а сам руки в небо простирает, как мулла на минарете. А парень ему: «Не лезь с заднего крыльца...» А сам думает: «А что, если он и вправду Ворошилов? Припаяет так, что и по гроб жизни не отвертишься...» А тот свое: приказываю да приказываю. Ну, тут мой друг не выдержал да как разразится. «Я, — говорит, — тебе... — «благословил» он его, — так прикажу, что сразу окачуришься». И бух в воздух, чтобы, значит, разводящего вызвать. Тут, конечно, сразу со всех сторон морячки. Аврал... Обступили. А тот, задержанный, показал свои мандаты да и говорит: «Благодарю вас, товарищи, за службу». В самый раз Ворошилов оказался. Наградил он тогда моего друга золотым портсигаром за бдительность, — закончил свою историю моторист. Он сладко зевнул и, укрывшись с головой, вскоре захрапел.

И никто не знал из товарищей, было ли то, про что рассказывал моряк, правдой, или это он все сам выдумал. Терентий

Ильич постоял, послушал и поплелся дальше. Много на флоте таких побасенок ходит. Время дополняет их, приукрашивает, и переходят они с корабля на корабль, от старых к молодым. Любят моряки в часы досуга послушать про самих себя своих флотских сказителей.

Под полубаком оживление. Кого-то пересыпают солью критики, чтоб чужим душком не пахло... Говорят резко, прямо, больно, словно кнутом бьют. Это называется «подлечить», «попарить косточки». Так нередко по-старому расправляется братва с носителями пороков. «Парят» за отщепенство, за отсталость, за промахи по службе, за плохое поведение на берегу, и ничего — помогает.

— Что разавралились, спать пора! Ишь, шлендают, неугомонные! — показывая вид, будто сердится, говорит боцман.

— Сам-то что ж, Терентий Ильич? — спрашивают моряки.

— У меня еще дело... Нешто б я не лег, провал вас побери!.. Командир зачем-то приказывали явиться. — Старик выдумывает — ему просто не хочется спать.

Пробило три склянки. Верхняя палуба мало-помалу затихла. Свет по низам выключен. Приумолкли голоса и на баке. Но «корма» еще не спит. В кают-компании «Совета» — полумрак. В мерцающем свете звезд, проникающем сквозь световой люк, поблескивают никелированные бра, зеркала дверей и золото багета. За тяжелой портьерой, на уютном диване, где круглый стол с газетами и журналами, совсем темно. Попыхивают огоньки папирос и трубок. Терентий Ильич хотел уже было пожурить молодежь, но, услышав голос Георгия Кузьмича, нащупал впотьмах кресло и опустился в него.

Командиры говорили о стратегии и тактике. Оборона или наступление?

— И оборону и отступление мы рассматриваем как часть наступления. Мне нужно взять барьер — я отступаю, делаю разбег и беру препятствие, — сказал военком «Совета».

— И правильно! — согласились командиры.

После этого Бусыгин рассказал пехотным командирам о диспозиции высадки, о топографическом рельефе берега, о норме загрузки шлюпок, буксировке плотов и прочих десантных инструкциях.

— «И кому все это неведомо, как в шлюпки садиться, как плоты буксировать? — думал старик. — Бубнят себе одно и то же, а чего бубнят — только время толочат». Терентий Ильич закрыл глаза. «Кажется, ничего, теперь можно и отдохнуть», — сказал он себе. Но он не спал, а думал. В редкие минуты он

думал о себе, и чаще это было прошлое, а там все было известно-известно...

«Больно ты, старинушка, часто стал покряхтывать, — упрекнул он себя. — Али и впрямь старость пришла?»

— Терентий Ильич? — спросил Бусыгин, услышав возню и охание старика.

— Есть! — ответил боцман, как всегда, бодро. Он быстро встал и вытянулся.

— Чего не спишь?

— Слушаю, Егор Кузьмич... Завидую я вам, молодым, — хотел сказать старик, но в это время застучали, зазвякали железными подковками на сапогах, задвигали стульями и стали расходиться. И о том, что делалось на душе у старика, Георгий Кузьмич не узнал. Все разбрелись по каютам, и «корма», наконец, тоже заснула.

В кают-компании было душно. Старику не сиделось, и он снова поднялся на верхнюю палубу. Пробили полночь. Терентий Ильич, не находя себе места, прошел на ют и присел там на кнехт. Кто-то, лежа у пушки, вел разговор о любви. «Скучно», — подумал старик. Он встал, перегнулся через борт, прислушался к шуму воды за кормой, к писку блочка лага, посмотрел на звезды и побрел дальше.

«Одно и то же, одно и то же!..» — думал он, спускаясь по трапу.

«А ты думал, изменилось что-нибудь, старик? Нет. Все то же, — говорили ему звуки молодых голосов, шум воды и сияние звезд. — Ничего не изменилось и не изменится, кроме тебя».

— Я про то и не спорю, что постарел малость, что мне на восьмой десяток перевалило, — пробурчал в ответ звездам старик.

Он долго простоял у поручней в задумчивости, глядя за корму. Стоял и думал. И думал о том, почему на душе вдруг слякотно стало. «Уж не хандрой ли меня просквозило? Да будто не подвержен? Э, пустое!.. — сказал он себе решительно. — Молодости не воротить, а старости не избыть. Что ж, я прожил свой век не за один холщовый мех». И, устремив глаза в звездный купол неба, глядя на восходящий Марс, сказал:

— Насчет Тихого океана слышал, небось? Нет? Вот, то-то и есть!.. Детинка с сединкой везде пригодится!.. Эх, кабы мне десяток годков сбросить, я бы по-новому прожил их!.. Ну да ладно, — сказал он и скрылся в кормовом люке.

XVI

С моря подул предрассветный ветер. Потянуло холодом. Роса окропила палубу, надстройки, пушки. Зябко. Вахтенный на полуюте продрог, поеживается и попрыгивает. Анютин вышел из уютной, теплой радиорубки с радиограммой «ноль-ом».

«Странная вещь! — думал он, еще и еще раз пробегая запись шифра. — Я ошибся или... так, обмолвка?» — рассуждал он, проходя на корму.

В радиограмме было всего два слова: позывные корабля и слово «консервы». Радист на всякий манер прикидывал это слово, пытаясь найти в нем скрытый смысл, но не мог. Времени было три часа. «Будить или не будить?» — спрашивал себя Анютин. Потом подумал: «Если условный сигнал, командир бы знал об этом и предупредил бы меня...» И, решив не будить, снова пошел в рубку.

Европейские радиостанции кончили фокстротничать, и в эфире было тихо и чисто. Тихо было и на корабле, как только бывает под утро. Где-то в машине, внизу, сопела донка, гудело динамо, а вдали слышались таинственные шумы моря, однообразно разные, говорившие о беспредельном просторе вокруг.

В палубах, у дежурных зеленых огней клевали носом дневальные. Команда, уступив пехоте свои рундуки, койки, каюты, кубрики, сама пристроилась по способности. Одни у машинного люка, откуда веяло теплом, другие у кожуха, под рострами, в коечных сетках, на боцманских кранцах и матах, — да мало ли укромных мест на корабле!

Мимо рубки прошмыгал Терентий Ильич. Анютин узнал его по шагам. У старика сон короток. Накинув на плечи бушлат истоминских времен, он бродит так часто. Бродит и бурчит что-то себе под нос.

«Когда он спит? — подумал Анютин. — И днем и ночью на ногах».

Терентий Ильич прошел под полубак, потом снова вернулся.

— Анюточка, ты, что ль? — окликивает он тихонько радиста.

— Я.

— Давай, милой, закурим. — Терентий Ильич вынул железную коробку из-под зубного порошка и ловко стал крутить шершавыми пальцами из газетной бумаги папиросу.

— Ничего не слыхать про дело-то? — спросил он, подразумевая высадку.

— Сгружать, что ль?

— Ага, — подтвердил старик кивком головы, заклеивая на языке закрутку.

— Да пока нет.

— Смотри, милой, в такое время всякое слово к месту... Ух, не люблю я эти консервы возить!

При слове «консервы» Анютин сорвал с себя наушники, схватил текст радиограммы и опрометью выбежал из рубки.

— И что тебя как ошпарило, леший! Ты его, что ль, уколол чем? — спросил старик подвахтенного радиста. Радист принимал рацию и ничего не ответил.

— А что, я сплю и слышу, — рассуждал боцман, — будто лебедки скрипят... И, верно, скрипят! — воскликнул Терентий Ильич и, насторожившись, застыл с поднятой рукой. — Послушай ты, скинь свои деревяшки с ушей.

Радист прислушался, но, как ни тонок был слух моряка, он ничего не мог разобрать там, в тумане, куда указывал старик, кроме приглушенного рокота моря.

— Показалось. А может, ветром отнесло, — проговорил Терентий Ильич.

«Глухому все по-другому», — подумал радист и снова надвинул на себя наушники.

— Егор Кузьмич спят? — спросил он и, не получив ответа, отошел. «Подняться на вахту, узнать, как там?» — сказал он себе и побрел на мостик.

— Ничего не слыхать про дела-то? — спросил Терентий Ильич, обращаясь к вахтенному начальнику.

— Нет, товарищ Болтин, пока не слышно.

— Ты смотри, милой, примечай... Дело в самый раз начинать. Что-то мне кажется, будто мотор гудит? — спросил он и прислушался. — Ей-богу, словно мотор! Ты послушай, — сказал он вахтенному начальнику. — Ну да, штабной работает, не слышишь?

— Нет.

— Он и есть, мотор! Уж мне ли не знать штабного катера?

— Кто идет? — окликнул в это время вахтенный на юте.

И в тот же момент раздался треск, трап скрипнул и кто-то быстро взбежал на палубу.

— Он! — крикнул Терентий Ильич и, словно на салазках, скатился с мостика. Старик подбежал к трапу, вытянулся до последней возможности и что было мочи гаркнул:

— Смирно!

— Ротозейничаете! Дрыхнете! Почему не производите высадки? Где командир? — спрашивая, кричал кругленький, с небольшим брюшком, но неудержимый и быстрый, как ртуть, командир отряда. — Все наверх! Шлюпки на воду! Командира ко мне! — сыпал он приказания.

Из-под полуюта, застегивая на ходу китель, поправляя фуражку, выбежал Бусыгин, готовый рапортовать.

— Отставить! Ясно! Все ясно! Порядочки! — произнес флагман.

Георгий Кузьмич молчал. Он знал, что каждое сказанное им слово только прибавит огня в костре флагманского раздражения.

— Командуйте! — сказал флагман.

Он отошел в сторону, засек время и стал наблюдать. Загремели колокола, засвистели дудки. Все ожило.

— Пошел тали!

— Тали стоп!

— Раздернуть!

«Вир-вир», — запели блоки, застучали снасти, затопали ноги...

— Первый взвод!

— Второй! Третий! — командуют шопотом пехотинцы.

У трапов идет посадка. Гребные и моторные суда отваливают глубоко осевшими.

На палубе сравнительно тихо. Дыхание сотен людей, шум шагов, скрип бегучего такелажа сливаются в сплошной, неразличимый гуд. Если закрыть глаза, то кажется, что это напряженно работает какой-то сложный, все ускоряющий темп своей работы агрегат. Голосов людей не слышно. Командиры действуют больше мимикой и многозначительными взглядами. Изредка кто-нибудь кашлянет либо уронит что-нибудь. Тяжело, жестко упадет на палубу винтовка, брякнет, покатится и зазвенит котелок, который еще наподдадут и который звякнет под ногами и будет бренчать, пока его не отшвырнут в сторону.

— Отваливай!

Мимо «Совета» проходит вереница шлюпок, понтонов с соседних кораблей и транспортов. Проплывают буксируемые моторами сдвоенные баркасы с настеленными на них палубами. На этих палубах танки, повозки, пушки, кони. Иногда доносится скрип уключин, стук копыт, фырканье и грубое успокоительное: «Тпру!..»

Флагман наблюдает. Он молчит, время от времени глядя на секундомер. Посадка идет быстро. Бусыгин своей энергией и распорядительностью охлаждает раздражение флагмана. За двенадцать минут на борту не осталось ни одного красноармейца. Агрегат высадки остановился, и все стихло.

— На валек! — раздалась команда за бортом. Это усердный Терентий Ильич, командир баркаса, поравнявшись с полуютом, где стоял флагман, не забыл щегольнуть перед ним бусыгинской шлюпочной выправкой и отдать должное приветствие начальнику. Флагман и грозит, и смеется, и любуется на поднятые свечками весла. Весла стоят ровно-ровно, словно их выровняли по ниточке.

— Старик этот, кажется, ничего, — говорит флагман, смотря вслед уходящему баркасу.

— Так точно, товарищ командир отряда, работящий старик, — подтверждает Бусыгин.

«Разве я забыл сообщить «Совету» шифр? — вспоминает флагман. — А ведь верно, я виноват. Изменил, а забыл сказать об этом», — вспомнил он наконец.

Но флагман не сказал об этом Бусыгину и, укоризненно качая головой, спросил:

— Как же так, Георгий Кузьмич, а? — Но в его голосе и лице уже не было гнева. Флагман доволен. «Совет», начав высадку позже всех, окончил ее первым. Пожав руку командиру корабля и поблагодарив его за службу, флагман отбыл.

XVII

Лыков лежал на земле под соснами, подстелив под себя парус, и любовался природой. Солнце только что поднялось над лесом. Сквозь ветви деревьев небо казалось особенно голубым, высоким и чистым. На хвое, листьях, ромашках и папоротниках, блестя, как звезды, дрожали крупные капли ночного дождя. Дрожали, и от дуновения ветра и собственной тяжести осыпались, как жемчуг, сверкая на солнце и стуча по листьям. Лучи солнца световыми снопами просвечивали лес, и вдали он казался синим-синим. Вокруг перекликались птицы, душисто пахло лесными травами, и было тихо.

Десантные партии, выбросив первую очередь, отдыхали, разбредясь по берегу и собирая чернику. Лыков озяб и, поднявшись с сырого паруса, сделав несколько упражнений, направился к шлюпке. Шум моря всегда привлекал его и порождал в нем тьму мыслей. Этот звук для него был прежде всего

звуком вечной жизни. Что-то величественное, бесконечное, непреходящее, как сама жизнь, было в этом шуме и плеске.

«Не наша, а вообще жизнь», — думал Лыков, сушась и греясь на солнце.

Неподалеку от разбитого и полусгоревшего парусника, чем-то напоминавшего Захару своими обугленными шпангоутами черного грифона, сидел за этюдником Мочалин.

«А ведь это он, которого мы тогда подожгли с Егором», — вспомнил Лыков. На песке, измятом гусеницами, подковами, колесами и сапогами, сидели Анютин и Мишин. Мишин был инструктором по комсомолу политического отдела отряда, младший командир. Он лежал на животе, строил и разрушал песочные домики и болтал ногами.

— Да, некоторые так и рождаются инструкторами, — говорил Анютин. — Сперва инструктор отряда, потом, глядишь, Пубалта, а там... вечный инструктор, инструктор по призванию.

— Каждому свое...

— Борода, как у Дарвина, а он все комсомольский работник...

— Ты отрицаешь значение опыта? — спросил Мишин, возводя песчаную стенку.

— Да не опыт у тебя, а что-то засохшее. Ты как бессмертник на проволоке — ни запаха, ни жизни...

— Ну, ты не прав, — возразил инструктор.

— Тебе двадцать семь лет, — продолжал Анютин. — Так? Скажи, что может быть у тебя общего с парнем, которому восемнадцать-двадцать. Что? Не канцелярско-протокольного, что ты считаешь главным, а юношеского? Там общественная жизнь, свои интересы, свой аромат, все молодо, все ново, все живо. Ты же стараешься накрыть все это живое тусклым колпаком своего мнимого опыта... Все, что развивается, цветет, дерзает, всю прелесть юности, всю возможную зреющую будущность в ней ты пытаешься подложить под свой штамп. Да и сам-то ты какой-то шаблонный, штампованный.

— Интересная оценка, — сказал Мишин, пожимая плечами.

— Твой организационный опыт, которым ты так кичишься, есть не что иное, как колодка, по которой ты тачаешь один и тот же сапог на одну и ту же ногу.

— Странно отрицать форму работы.

— Для тебя эта форма стала идолом. Своей колодкой ты измеряешь жизнь. Ею ты пропалываешь все живое, и ею ты

уродуешь эту жизнь, подобно тому, как в старом Китае уродовали ноги девочек.

— Странно!..

— Правильно, тебе это странно. Все, что не предусмотрено твоим циркуляр-колодкой, все странно. Ты освоил себе роль комсомольского методиста...

— Да, методиста, — согласился Мишин. — И это в деле организационно-политической работы имеет огромное принципиальное значение.

— Это твое бельмо. Ты давно стал комсомольским служащим. Ты чиновник, понимаешь? Чи-нов-ник, — произнес по складам Анютин с таким отвращением, словно касался падали. — Там учеба, клуб, спорт, игры, — говорил Анютин, — а у тебя жена, дом, паек, дети...

— Одно другому не мешает.

— Тебе, да. Но это разные полюсы. Вожаком может быть только первый среди равных. Ты же комсомольская власть, тебя боятся...

— В первый раз слышу от тебя такое признание.

— Ну да, ну да, естественно. Ты же всегда занят, всегда хмур и всегда оракульствуешь. Комсомолец — это прежде всего человек, и человек новой формации. Это семя будущего. Не департамент, как ты себе представляешь, а Коммунистический Союз Молодежи, понимаешь, Союз? Ты задумывался над этим когда-нибудь? Над этими простыми и значительными словами?

— Думаю, что да. Но почему ты?..

— Потому что таких «специалистов» по комсомольской работе, как ты, к сожалению, в нашем Союзе немало.

— Странно слышать это от руководящего работника!

— Послушай, ты же должен знать своих людей, извини, свои «кадры». Теперь о тебе, — продолжал Анютин. — Ты хоть раз думал о том, как молодежь кораблей верит твоим нравоучениям, которые ты иногда произносишь из-за стола президиума? Как твой многосторонний опыт и метод используют они в своей работе? И, наконец, какую пользу приносит вся твоя суетливая деятельность?

— Ну-ка, скажи?

— Тебе не верят, Мишин, и потому не верят, что не уважают тебя, не уважают за то, что во все то, чему ты поучаешь, ты и сам не веришь...

— Но это ложь! Это, наконец, я так не оставлю... Это подрыв моего авторитета по линии комсомольской работы...

— Хоть в ЦК! Ты своим отношением, своим пребыванием в Коммунистическом Союзе бросаешь на него тень... Нет, не тень, а пятнаешь его, следишь. Именно, следишь!.. Вот и тут, в разговоре по душам, ты опять прибегаешь к своему мнимому праву власти...

— Ты городишь какие-то антипартийные вещи. А я, ты знаешь, работаю по линии политотдела.

— Типичный демагогический трюк. Фельдфебельщина! Прикрикнуть, припугнуть, сбить с панталыку! Но ты ошибся, я перед тобой не вытянусь. И в партийную комиссию ты не пойдешь, ибо...

— Ну, что «ибо»?..

— Ибо все, что ты говоришь, и красно говоришь, ты произносишь, как дьячок... Все это не в тебе, а около тебя.

— Это ложь! — воскликнул Мишин, и лицо его побагровело.

— Нет, правда, — возразил Анютин. — Ты поучаешь, что комсомолец должен быть первым в боевой подготовке.

— А разве я не прав?

— Прав, но сам третьего дня получил взыскание.

— Это со всяким может случиться.

— Хорошо. Комсомолец должен быть отличным моряком, знать свою специальность, а ты ее не знаешь, и на прошлом походе имел аварию.

— А у тебя не было заеданий?

— Нет, не было. Комсомолец должен учиться, а ты и не учишься и отстаешь.

Мишин молчал.

— Ты ортодоксальный марксист только на трибуне, а на берегу, у себя дома, под абажуром — просто болтун, мусолящий старые, изношенные анекдоты. Потом эта женщина... Я не хочу касаться... Все это и грязно и стыдно, — сказал Анютин и задумался.

Инструктор Мишин не возражал против правды. Он молчал, нервничал, но не потому нервничал, что это была правда, а потому, как эта правда дошла до них, туда, вниз, — вот что его раздражало.

— Комсомол для тебя стал выгодной профессией, — продолжал Анютин. — Ты не работаешь в нем, а служишь около него. Помнишь, Рябинин как-то сказал про Сухопарина, что он «партийная ханжа»? Вот и ты, только комсомольская... Выполощи себя!.. А впрочем, ты знаешь, — сказал Анютин, — я не верю в твое исправление. Ты как гвоздь торчишь вколо-

ченный, по тебе что ни колоти, тем ты глубже... И не ты будешь ставить вопрос обо мне, а мы о тебе поставим...

— Эй, комсомольские боги! Идите ягоду собирать! — подходя к сидящим, сказал Захар Лыков. Он был нагишом, и лишь одна бескозырка украшала его голову. Моряк держал в одной руке лопух, на котором лежали собранные им ягоды, и ловко закидывал их себе в рот. — Семейный разговор ведете... Ну, продолжайте, продолжайте, мешать не буду. Продраить его не мешает, — сказал он, указывая на Мишина. — Только он, Анютин, суковатый, его не выстругаешь... — И он засмеялся, показывая свои черные, вымазанные черникой, зубы. — Кстати, где теперь этот жирный Сухопатин?

— Сухопарин, — поправил Мишин.

— Ну, Сухопарин, — все равно грязь по-русски.

— За противное духу советского гражданина и моряка поведение исключен из партии и демобилизован, — сказал Мишин.

— И все? — удивился Лыков.

— Почти.

— А сверх почти?

— Дали пять лет... Условно.

— Маловато!.. Я бы такую гадину на рею вздернул — просушить...

— Пошли, ребята, шлюпки подходят, — сказал Анютин, подымаясь, и, заложив пальцы в рот, свистнул, созывая свою партию. — Мишин! Со мной на боны! Ей, сачки, полно нежиться! — крикнул он и стал раздеваться.

— А ну, давай, принимай гостинцы! — кричали моряки. К берегу подходила очередная партия шлюпок и бонов, лавируя между вешек фарватера, обходя подводные камни. Отрываться из горячего песка не хотелось. Морской ветер знобил тело. Парни стояли на черте прибоя и ежились, выигрывая секунды.

— Принимай! — скомандовал комендант высадки, когда передний баркас прошел последнюю веху.

Моряки бросились в воду и, ныряя и брызгаясь, побежали навстречу шлюпкам.

— Навались! Ходом, ходом! — горлопанила братва, подтягивая бон с танкеткой, который застрял на подводном валуне.

Анютин, заложив под днище поплавка слегу и, как рычагом, навалившись на нее, стронул засевший на мели бон.

— Мишин, ко мне, быстро! — выкрикнул Анютин, чувствуя, что одному ему не под силу удержать шестом сходни.

Мишин, делая вид, что не слышит, на зов не откликнулся. В трусах и фуражке стоял он на берегу, о чем-то разговаривая с комендантом, на что-то указывая ему рукой. И поза его и жестикуляция выражали (Лыков знал это) фальшивую значительность.

Танкетки, когда под них подкладывали крепкие сходни, своим ходом сбегали с понтонов и, утопая, с целым каскадом воды над собой, выбрасывались на песок.

— Стоп! Стоп! — кричал Анютин, стоя по грудь в воде, поддерживая разъезжавшиеся сходни. — Полундра! — раздалось у левого бона; и под этот крик, не слыша его за тарахтением мотора, танкист продолжал ход. Левая гусеница соскользнула со сходен, и тяжелая машина плюхнулась на бок и погрузилась под воду.

— Полун!.. — раздался голос и замер на полуслове.

Спустя полчаса машину с трудом вытащили, а потом и раздавленного Анютина.

— Жаль парня!.. Хороший товарищ был, — говорили шопотом моряки.

Кто-то, всхлипнув, отошел. В глазах Лыкова блеснули слезы.

«Туда и дорога!» — думал Мишин, смотря на распростертое на песке тело.

— Какое распоряжение будет? — спросил он коменданта, подходя к нему и вытягиваясь.

Комендант только махнул рукой и, ничего не сказав, отошел, теребя фуражку.

— Погибшего на боевом посту комсомольца давайте отнесем, товарищи, под сосны, — сказал Мишин с дрожью в голосе, но дрожь эта была не от скорби, а от злости даже на мертвого.

XVIII

— «Синие», благодаря успешному броску десантных частей зайдя противнику в тыл, — говорили командиры, — опрокинули левый фланг «зеленых» и, соединившись с основными силами фронта, на плечах противника форсировали речку Н. Командование флота объявляет личному составу благодарность.

— Ур-ра! — прокатилось по берегу. Крик этот подхватил ветер и унес в лес и там в лесу повторился громким эхом.

Парни громко аплодировали словам своих командиров. Лыков из этого сообщения понял, что учение окончено и что в скором времени предстоит погрузка на суда. Пока ждали возвращения пехоты, агитаторы вели беседы. В группе, где был Лыков, Добрушин рассказывал о большевистской работе в царской армии накануне Октября. Моряки, собравшись в кружок, голова к голове лежали на песке и слушали. Когда Добрушин кончил беседу и, ответив на вопросы, ушел на сигнальный пост, друзья заспорили.

— Ты, браток, из того, что слышал, понял ноль! — сказал водолаз.

— Голубушка, если бы ты с мое понимал, тебе бы и на внуков хватило, — ответил кочегар.

— Ну-ка, скажи.

— Скажу. Вот, слушай! Если Черноморский флот подал двадцать две тысячи за эсеров, я беру кругло, — пояснил кочегар, — и десять тысяч за большевиков, то наш, Балтийский, краснознаменный, рабоче-крестьянский, — произнес он с гордостью, — сто двадцать тысяч за большевиков и, — он показал кукиш, — за эсеров, кадетов и прочую шваль, — понял?..

— Откуда ты взял?

— Цифры, браток, верные. По Ленину. Почитай, советую. Ленин... том... — процитировал он наизусть, прищуривая глаза. — Значит, выходит, — продолжал кочегар, — что к октябрю — ноябрю 1917-го армия царская была наполовину нашей, большевистской. Вот это и было то самое «разложение», которого ты, Федя, не понял, и о котором писали меньшевики, и которым большевики гордятся. Гордятся потому, что это подорвало силы нашего классового врага, отвоевав у него вооруженные массы для борьбы с буржуазией, а ты говоришь!..

— Ну, ну!..

— Вот тебе и ну! Читал через корму... и вычитал. Понимать надо!..

— Ну, будет, доказал... Кажется, пехота топает, — заговорили моряки вставая.

— Нет, понимаешь, звонит, — сердился кочегар, — а что звонит, сам не знает. На Третьем конгрессе Коминтерна Ленин говорил, что с нами была почти половина армии. А половина — это равнялось пяти миллионам. «Разложили», — не унимался он, передразнивая водолаза. — Кого? Крестьян. Чем? Миром, землею. Кто эти пять миллионов? Крестьяне

и рабочие. Как же они против мира и земли-то, милочка! — закончил кочегар свое объяснение.

Серые от пыли, пропитанные потом, возвращались бойцы с песнями. Весь берег был усеян выцветшей зеленью застиранных гимнастерок. Гуськом, друг за другом, держа вещи и оружие над головой, в одних рубахах, спешили бойцы на посадку в шлюпки. Люди шли быстро, спотыкаясь на подводных камнях, падали, роняли предметы. Иногда, стараясь сбалансировать на одной ноге, бултыхались в воду, поспешно подымались из воды, тараща глаза, под веселый хохот тех, кому уже удалось взобраться на борт.

— Держи, уйдет! — кричал красноармеец, указывая другому на упавший у него сапог.

— Ух, здоров нырять! — говорил молодой рыжий боец с обгорелым на солнце лицом, когда тот, кто уронил сапог, стараясь выловить его, не удержался на скользком валуне и сам погрузился под воду.

— Когда устроишься, напиши! — смеялись на шлюпках.

По вязкому песку, надрывая лошадей и самих себя, с ревом и гиканьем волочили пушки, повозки. У плотов, шлюпок и бонов шла погрузка. Люди кричали, ругались, командовали. Всему этому аккомпанировал прибой, а над прибоем в голубом небе носились чайки.

— Кто на «Большевик»? Садись! — зазывал рулевой.

— Есть с «Красного Питера»? — приглашал другой.

Бойцы по пояс в воде подходили к шлюпкам и, бросив на дно их вещи, по команде, одновременно, с двух бортов забирались сами.

— Легче! Не торопись! Всех заберем!

— Вылазь к ядреной бабушке! — ругался старшина на соседней шестерке. — Ишь, уселись в чужую!.. Вам на «Красную звезду», а это шлюпка «Звезды Полярной». На марку смотреть надо, — поучал он бойцов, указывая на специальный знак на корме шлюпки. — Марш!

Мешая друг другу, подгоняемые окриками отделенных, бойцы выпрыгивали за борт и, забрав свое оружие, наперегонки, обрызгивая друг друга, устремлялись к своим баркасам. Катера и шлюпки подходили к судам, быстро высаживали пехотинцев и снова гребли к берегу, чтобы забрать новую партию.

— Становись! Равняйся! — с каким-то надрывом, зло и дерзко кричал взводный на своих бойцов. В этом тоне было то солдафонское ухарство, которое всегда раздражало Лыко-

ва. — А ну, что столпились! Равняйсь! — особенно лихо выкрикнул взводный, заметив подходящего к строю командира роты. — Смир-но! — взвизгнул он еще раз и, отбивая шаг по палубе, подлетел с рапортом.

— Отставить! — отмахнулся ротный. — Что ж вы взвод без амуниции выстраиваете? — спросил он взводного.

Передняя шеренга стояла на полуюте, одетая по форме, а задняя была без штанов, в одних гимнастерках. Это были те самые бойцы, которые забрались в чужую шлюпку и которых высадили из этой шлюпки. Впопыхах, забрав винтовки, они забыли амуницию и прибыли на корабль при одной верхней половине. На мачте корабля взвился сигнал: «Прошу доставить забытое обмундирование!» Моряки смеялись и, приукрасив эпизод, сдобрив и подсолив его, пустили по рукам.

К середине третьей вахты, часам к восемнадцати, закончили погрузку. Лыков стоял в почетном карауле. Анютин лежал в тени, под соснами, накрытый кормовым флагом. На берегу все стихло, и только следы гусениц, колес, ног, тысячи ног оставались на песке. Юноша смотрел на все эти отпечатки труда, усилий, тревог и думал о погибшем товарище.

«Его уже нет... Все остыло, полное безразличие... Потом эти следы заметет ветер, замоет волна, и ничего не останется», — думал он.

А ветер, словно ему было любопытно, будто он не видел, что накрыто флагом, баловался шкаториной, надувал ее и откидывал.

— Эй, забирай манатки! — кричал с дежурной шлюпки старшина.

В ответ ему с берега погрозили:

— Что авралишь. Мертвый лежит...

— Ну так что, али боишься, что разбужу? Где ребята? — спросил он уже тише.

— В лесу, ягоды собирают.

— Давай, зови, через час сниматься... А много ягоды?

— Обсыпано!

— Врешь?.. Левая, табань! Правая — на воду! — скомандовал старшина гребцам, и шлюпка, пройдя камни, заскребла днищем по гальке.

— Дуйте, а как свистну, — назад!

— Добро! — и гребцы скрылись в кустах.

Через час «Совет» снялся с якоря и с приспущенным флагом взял курс на Кронштадт.

XIX

Политический барометр падал и предвещал грозу новой империалистической войны. О том, что вопрос об интервенции против Союза Советских Социалистических Республик назревал, говорило очень многое. Прежде всего об этом говорили происходящие в последнее время процессы вредителей, шпионов, диверсантов. «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», петлюровцев (СВУ), меньшевиков, процессы «коммерческих сотрудников» из различных концессионных фирм и другие.

Об этом же говорила разнузданная кампания буржуазной прессы, вопившая о красном империализме, советском демпинге. Об этом же говорили различного рода политические провокации, убийства и, в частности, комедия, разыгранная в парижских эмигрантских притонах с исчезновением генерала Кутепова. Убийство Думера, так напоминавшее собою Сараевское, послание Пия XI и его призывы «к молитвенному крестовому походу», планы агентов Ватикана о созыве международного антикоммунистического конгресса против «красного потопа» — все это были отзвуки общей, фальшивой симфонии, разыгрываемой на политической арене Европы.

Европа была охвачена зудом всевозможных конференций. В Париже совещались по вопросам экономического восстановления мира. В Лондоне — по морским делам. В Вашингтоне — по делам банковским. В Женеве совещались по реконструкции Европы, о равновесии и ревизии версальских принципов.

Совещались... А Германия шла полным ходом к фашистской диктатуре. Версальско-вашингтонская система расползалась.

Кризисы промышленный, аграрный, финансовый и политический шли в ногу.

В этом хаосе прорисовывалось одно лицо — лицо войны. Такова была политическая атмосфера на Западе и Востоке к середине кампании 1932 года, когда Петр Ржанов приступил к испытанию своей подводной лодки.

XX

Механику лодки раздробило кисть руки. Командир соединился по телефону с командиром бригады подплава, прося его прислать замену. Стояли в Ленинграде, у заводского эллинга, и готовились к выходу в море. Последние часы были особенно насыщены заботами.

— Вас настойчиво желает видеть какой-то командир, — доложил дежурный Петру Ржанову.

Петр подписал еще несколько присланных ему бумаг, дал флагманскому инженеру Леонову указания, просмотрел метеорологические сводки погоды и поднялся из-за стола.

Часы летели быстро, и до съемки оставалось полвахты. Дежурный снова доложил Ржанову о назойливом командире.

Командиром этим был Степан Данилович Гулай. Он пригладил свои волосы, снял с кителя пушинку, одернулся и переступил порог кабинета.

— Ох и бюрократ же ты стал!.. — сказал Гулай, подходя к Петру, протягивая ему руку и улыбаясь.

— Так это ты меня караулишь? — спросил Петр, здороваясь и приглашая Гулая сесть.

— Легче сквозь минные поля прорваться, чем через твоих церберов... Наставил тут всяких свистовых... Отгородился от народа.

— Полно, Гулай, сказал бы имя, тебя бы сразу пропустили.

— Э-эх, да ну ладно! — и Гулай, махнув рукой, сел. — Закурить хочешь? — спросил он, вынимая папиросы.

— Не курю теперь.

— Что так?

— С тех пор, как на лодках, отучил себя.

— Что ж, это хорошо. Экономия... Я этого дыма рублей на десять выпускаю. Да, так-то вот сижу, жду и уж хотел было концы отдавать, — говорил Гулай, ища глазами, куда бросить обгоревшую спичку, и, не найдя ничего подходящего, сунул ее себе в карман кителя. — Потом думаю: нет, надо обождать.

— Ты где теперь, Степан Данилович?

— В Ленинград прибыл, душу отвести... А служу по-старому на крейсере. Так вот о деле-то, — спохватился Гулай. — Протравливаю я Сашин садик, а ко мне против курса наша братва. «Знаешь, — говорят, — инженер-то наш, то-есть это ты, значит, в поход на своей топает...» Вот и зашел повидаться с тобой, — рассказывал Гулай, как всегда не спеша и окая. — Когда выходишь? — спросил он Ржанова.

— И не собираюсь даже. Кто сказал?

— Брось! Наши ребята врать не будут. По глазам вижу, что выходите. Секрет, думаешь? — усмехнулся он иронически. — Об этом секрете весь Кронштадт знает!

— Откуда? — спросил Ржанов, немало удивляясь столь подробной осведомленности Гулая.

— Из самых первых рук: от службы наблюдения и связи, — пояснил Гулай.

— Да ведь это чорт знает что такое! Заводское испытание, а уж раструбили.

— Может быть, — согласился Гулай. — Только все это очень просто. Связист принял — и за обедом, между прочим, сказал жене, та — подруге, подруга — дружку... У тебя, Петр, с механиком несчастье? — спросил он.

— Да, тоже угораздило! Слышал?

— Возьми меня за него. Пока суть да дело, пока назначат да приедет. Два часа на дорогу, а тебе через час концы отдавать... Бери меня. Давно я на этих посудинах не плавал.

— А насчет души?

— Про душу это я так, к слову пришлось. Будет время — отведу. Да, Петр, за лодку с тебя еще магарыч полагается.

— Да ведь ты... — начал было Петр и хотел сказать: «Отдыхай! Сам справлюсь!», но Гулай понял Ржанова иначе.

— Думаешь, я дизелей не знаю, моторов ваших не видывал, финтиклюшки там ваши разные, да? — спросил Гулай с обидой в голосе. — Пришлют тебе какого салажонка...

— Это верно, — согласился Петр, сдерживая улыбку.

— А коли верно, так стоп травить! Электриков, мотористов у тебя комплект? — спросил Гулай уже тем тоном, которым он всегда разговаривал у себя в машине. — Кто помощник механика?

Петр ответил.

— Влас Травин! Хороший парень, знаю, чего тебе лучше? А командир лодки кто?

— Командиром тоже твой старый знакомый...

— Кто же?

— Егор Ржанов; я сдаю, он принимает.

— Ишь ты!.. Давно ли, кажется, а вот на тебе! — сказал Гулай. — Так бери меня, Петр Емельянович. По рукам, что ли, — спросил Гулай.

— Как командир, — ответил Ржанов улыбаясь.

— Только я пассажиром не пойду. Ты мне место дай.

— Исполняющим? — предложил Ржанов.

— Согласен.

Петр позвонил. Вошел дежурный. Он пригласил командира лодки.

— Вы знакомы, Егор Петрович? Рекомендую механиком на поход. Товарищ известный. Ручаюсь, — сказал Ржанов улыбаясь.

Вошедший командир не успел сказать слова, как Гулай подлетел к нему, обнял и расцеловал его.

— Егор! Голубчик! Сыночек наш! — забасил Гулай, тиская его в своих объятиях.

Егор был рад встрече, но был и смущен формой ее проявления в присутствии Петра.

«Что он скажет?» — думал Егор, глядя на Ржанова, но Гулай не замечал ни его смущения, ни улыбки Петра.

— Петро мне говорит, что ты теперь лодкой правишь, и какой лодкой! Я всегда говорил, что в тебе зерно есть, — говорил Гулай, с любопытством рассматривая Егора. — Вон ты какой стал, а? — И Гулай снова обнял и расцеловал Егора. — Про тебя, Егорушка, как и сказать теперь правильно, не знаю, — продолжал Гулай. — Сказать «высоко пошел» — не верно, потому что ты под водой плаваешь; сказать «вниз пошел» — тоже неверно, потому что высóко плаваешь. Как сказать?

— Скажи: правильно пошел, — сказал Петр.

Егор взглянул на Ржанова и понял, что он может вести себя просто. Он сразу преодолел в себе ту неловкость, которую испытывал всегда при нарушении служебной субординации. Никогда Петр еще ни словом, ни делом не показал своего превосходства перед подчиненными. Большое, глубокое, человеческое уважение к людям горело ярким огнем любви в его сердце. И каждый, кто соприкасался с Петром, чувствовал и согревался этим огнем. Правда, впопыхах жизни редко кто задумывался над этим, но, независимо от этого, Петр лично сам получал огромное удовлетворение. Люди редко замечали и то, как они при помощи этого огня перековывали свое отношение к труду, к другим людям и ко всей жизни.

— Нет, ты молодец, Егор, настоящий подводный витязь стал. Вон сколько их у тебя, весь рукав до локтя изукрашен, — поднимая руку Егора и поглаживая его нашивки, говорил Гулай.

— Я тебя, Гулаич, часто вспоминаю, — сказал Егор, нежно смотря на Гулая.

— А мои подзатыльники? — спросил Гулай.

— Мне от него тоже взбучки получать приходилось, — сказал Ржанов. — Помнишь, Гулаич?

— Чего зря говоришь? Разве это взбучки? — возразил Гулай. — Не видывал ты, значит, настоящих взбучек.

— Сердитый механик... А придется взять и сердитого, — сказал молодой Ржанов.

— Вот и спасибо, братки! Уважили! — воскликнул Гулай.

— Что ты, Гулаич, за что? — спросил Петр.

— За доверие, товарищ член Военного Совета.

Гулай надел фуражку, вытянулся и спросил, обращаясь к Ржанову:

— Разрешите, товарищ флагман, обратиться к командиру корабля.

— Да, пожалуйста.

— Так что разрешите, товарищ командир, удалиться, принимать, ознакомиться покуда?

— Идите.

— Есть! — сказал Гулай и, лихо повернувшись, стукнув каблуками, вышел из помещения.

XXI

Было так: если Гулай в чем был убежден, то он разговаривал с любым человеком тем особым языком и тоном, в которых много было от матроса первых лет революции. Так он разговаривал и с Петром Ржановым. Этот тон он усвоил с ним еще тогда, давно, в 1921 году при первой их встрече. И чем больше был убежден Гулай, тем ярче проявлялась его своеобразная манера обращения с людьми и младше и старше себя по службе. Об этом знали на корабле, знали и в отряде. К манере Гулая привыкли.

Петр Ржанов тоже знал эти недостатки Гулая и тоже не обращал на них внимания. Он ценил Гулая за его внутренние качества, за его чувство долга и какой-то особый в нем тонкий классовый нюх к людям. В отношениях Ржанова и Гулая не было ничего двойственного, напротив, было все просто, ясно, как это только бывает в настоящей дружбе. Гулай гордился в душе своим товарищем. Гордился тем, что из такого же, как он говорил, матросского материала, благодаря упорному труду, внутренней шлифовке получился большой человек. Степан Гулай был старше Ржанова. Он знал всю его жизнь, случалось, что заботился о нем, и это как-то особенно привязало их друг к другу.

— Если по-старому прикинуть, — говорил Гулай, — выходит, что ты, Петр, вице-адмиралом стал.

— Выходит.

— Вот и я говорю...

Гулай видел, как рос Петр и как он за какие-нибудь десять лет шагнул.

— Вот и я говорю своим салажатам часто, — продолжал Гулай: — не губите время. Навались, выгребай против течения. И всегда тебя, Петр, в пример ставлю.

Иногда Гулай приходил к Ржанову и выспрашивал у него о машинах, технике, как бы желая измерить глубину знаний своего друга. Особенно ему было приятно слышать от Петра то, что Петр не только теоретически знал машины, — в этом Гулай не сомневался, — но Петр знал каждую машину в отдельности и в том числе машину его корабля.

И Ржанов не раз убеждался, что Гулай натура пытливая, своему делу преданная и крепкая, как алмаз, хотя и не совсем обработанный алмаз.

А Гулай всякий раз убеждался в том, что нарукавные нашивки Петра соответствуют его голове.

— Коробка-то у тебя, Петро, того, складно склепана, — часто говаривал Гулай, стуча себя при этом пальцем по лбу.

Петр молчал.

— Ладно, я пойду, мешать не буду. — И Гулай, козырнув, вышел из каюты.

Петр Ржанов сидел в своей каюте, уточняя маршрут похода. Дверь была приоткрыта, и он услышал голос флагманского инженера Леонова, который говорил Егору:

— Я не понимаю, как Петр Емельянович мог разрешить себе испытание без корабельного механика, — сказал Леонов.

— Этот механик не хуже, — заметил Егор.

— Неосторожно... Поймите меня, Егор Петрович, это нарушает все принципы. В таких случаях надлежит отставить поход.

— Механика рекомендовал Петр Емельянович.

— Странно...

— И потом, товарищ флаг-инженер, — заметил тактично молодой Ржанов. — Вы же не посторонний на лодке... И, как я понимаю, машинная часть требует на этом походе больше вашего внимания.

— Да, но брать с улицы...

— Оставьте, инженер. Я знаю этого человека и полагаюсь на него вполне, — раздвигая дверь и вмешиваясь в их разговор, сказал Петр Ржанов.

На этом разговор и кончился.

В назначенное время «ПР-1», так называлась новая подводная лодка Петра Ржанова, вышла морским каналом в Кронштадт. Погрузив в гавани дополнительное количество горючего, аккумуляторы, приборы и получив нужные инструк-

ции, лодка ждала теперь только членов правительственной комиссии. На борту шли последние приготовления. В нервной готовности команда дожидалась аврала.

Подводные лодки постройки империалистической войны выглядели перед советской красавицей сущими крохами.

Вскоре прибыли члены правительственной комиссии. Несколько крупных инженеров морского завода, два видных конструктора, старик-академик Михаил Серафимович Преображенский, несколько высших лиц штаба флота и представитель наморси. Время шло. Сигнальщики отрепетовали сигнал, посыльный доставил пакет штаба «Вскрыть в море», люди заняли места, и «ПР-1» отдала швартовы.

Лодка вытянулась на середину гавани и здесь произвела первую диферентовку. У мола — вторую. Все было отлично. Вышли из ворот гавани и на переменных ходах подошли к малому рейду.

— Приготовиться к погружению! — последовала команда.

Моряки задраили концевые люки, еще раз проверили исправность автоклапанов, и началось заполнение цистерн. Кто плавал на подводных кораблях, тот знает это особое острое ощущение, которое вызывает погружение.

Когда диферент стал равен нулю, всплыли. На большом рейде проверку повторили, и так делали несколько раз через каждые двадцать-тридцать кабельтовых, шли словно ощупью. Курс лежал на запад.

Испытание проводилось комплексное — по всем разделам. В один из перерывов Ржанов вызвал Гулая и спросил его о машине.

— Секундомер, а не машина, — ответил он в восхищении. И, не сдержав избытка своих чувств, выругался.

Ржанов рассмеялся и сквозь смех спросил:

— Что? Как ты сказал?

— Этакая, знаешь, пишущая машинка. Сиди и нажимай кнопки. Тонко сработано, а чистота — что твой госпиталь. Хирургия! — этим словом Гулай выразил самую высшую свою оценку механизмам.

— Послушай-ка, Петр Емельянович, — сказал Гулай, наклоняясь к уху Петра, — уж который раз я тебя спросить собираюсь про этого, как его...

— О ком?

— Да про флагманского инженера твоего, кто он?

— Ничего, хороший, знающий товарищ. Короче, мой помощник.

— Есть, — и Гулай, закусив губу, вышел из рубки.

Когда Петр Ржанов распечатал конверт «Вскрыть в море», он нашел в нем предписание. Ему предлагалось войти в район севернее Капорской губы (давалась широта и долгота), где в семнадцать часов тридцать три минуты, то-есть через два часа, должно было состояться рандеву с эскадренным миноносцем «Яков Свердлов». Флагманскому инженеру Леонову предписывалось пересесть на миноносец и прибыть в Кронштадт, а лодке — продолжать испытание согласно инструкции. Предписание подписал Затылкин.

Перед выходом же предполагалось, наоборот, что флагманский инженер Леонов примет участие до конца похода, так как на обратном курсе решено было произвести испытание корпуса лодки на различных глубинах.

«Странно, — подумал Петр Ржанов и по какой-то сложной связи мыслей вдруг насторожился, но тут же сказал себе: — Вот какая чепуха может иногда забраться в голову!» Но, вместо того чтобы итти на сближение с эсминцем, Петр Ржанов принял совершенно противоположное предписанию решение.

— К погружению! — приказал Петр и распорядился держаться на глубине восьмидесяти футов. Лодка легла на противный рандеву курс.

XXII

— В 1915 году это было, — рассказывал Гулай свободным от вахты морякам. — Я служил тогда на подводной лодке «Корюшка» радистом. После меня с этой рыбины за распространение коммунистических прокламаций уволили и стал я «духом». Кочегарил на транспорте «Николаев», потом на «Океане»... Ну, да это к делу не относится. На многих кораблях пришлось мне пошуровать, «черносливу» поел всласть.

Случилось это, как сейчас помню, в начале июня... Вышли мы в поход тогда вместе с «Миногой», так другая лодка называлась.

Перед ужином подошли мы к Михайловскому маяку, что стоит у входа в Ирбенский пролив. В море с миноносца «Забияка» приняли пакет с инструкцией. В ней предлагалось выйти на параллель Люзерорта, в двадцати милях от маяка, и там двое суток мурыжиться. Потом возвратиться в Аренсбург. Он был нашей базой, — пояснил Гулай. — Топаем... «Миноге» была назначена другая позиция, куда-то к норд-весту от Стей-

нардского маяка, в милях двадцати от него... Э, не с этого я начал, — спохватился Гулай. — Надо вам прежде общую диспозицию обрисовать... Представьте себе, братва, пятнадцатый год, империалистическую... Тяжелое отступление царских войск из Галиции... В армии ни патронов, ни снарядов, ни хлеба — ни хренá... Перемышль мы только что оставили. Ладно. На северном фронте такая же клюква... А немцы, заняв Либаву, продвигались в глубь Курляндии. У них на очереди стоял захват Риги и подступов к Питеру, — представляете? Теперь пойдем на море и посмотрим, что там творится. Немецкий флот получил директиву поддерживать действие своих войск на суше и елико возможно сбросить в тыл нашим армиям десант. 3 июня немецкая эскадра под флагом вице-адмирала Шмидта подошла к русским берегам. Немцам в составе тринадцати миноносцев, авиаматки и подводных лодок было приказано занять места по диспозиции таким манером, чтобы стеречь русские корабли у Дагерорта и у Ирбенского пролива. Сам Шмидт с дивизиями линейных кораблей и дивизионами миноносцев охраны расположился на высоте Виндавы, вдали от берегов. Тральщики враз, под прикрытием крейсеров, приступили к очищению прохода от русских мин — этой икры много было нами наметано... Случилось так, что наши миноносцы как раз в эту ночь (с 3 на 4 июня) вышли бомбардировать у мызы Землунен, что севернее Либавы, неприятельские позиции... Ну, а нас, «Корюшку» и «Миногу», выслали для содействия этой операции. «Держать норд-вест восемьдесят!» — вдруг приказал командир. А это совсем не параллель Люзерорта. Легли... и «Корюшка» вышла в открытое море.

Командир решил так: если враги к берегу не подходят, то надо итти к ним... Потихонечку тарахтим. Ход у нас в надводном положении — восемь узлов, в подводном — четыре. Суденышко-то совсем ветхое, еще доцусимской постройки, и уж тогда отслужившее все сроки службы. Словом, это был «гроб». Братская могила с машиной! В «гробах» мы и плавали. О такой сказке, как эта, и не мечтали. — Гулай замолк, посмотрел по сторонам, на предусмотрительный комфорт подводного крейсера, потрогал блестящие никелированные части механизмов и со вздохом сказал: — У нас тогда не так было, совсем не так... Служило у нас на ней сколько?.. Да человек пятнадцать, не больше, — продолжал Гулай. — И в том числе два офицера. Чорт, я вам скажу, был, а не командир. Василий Александрович... забыл фамилию, и мичман — миляга парень, и заложить не промах.

Шлеп-шлеп, идем, значит, и вдруг на горизонте, севернее Петропавловской банки — дымы. Мы — к ним. Вскоре обозначились мачты, трубы. Корабли шли, описывая зигзаги, а вокруг них, как борзые собаки, рыскали охранные миноносцы. Встреча внезапная! «Корюшка» застопорила дизеля и решила ждать. Разнесли пока ужин, похлебали под граммофон. Ведь вот бывает! — воскликнул рассказчик. — До сих пор помню голос Шаляпина и песню «Дубинушка». Хорошо он пел, ребята!.. После я такого голоса уже не слышал... Ну, заняли мы позицию, ждем. Команда: шу-шу... Прошло время, и оказалось, что это неприятельский отряд крейсеров, да целых четыре. Впереди всех четырехтрубный «Роон». Тревога. Погрузились. Минут через двадцать всплываем — никого. Но вот снова тревожный крик: «Дым!» За горизонтом подымалось большое черное облако. Мы погрузились. Дали ход. Несколько спустя всплываем — видим лес мачт, множество труб, наконец стали всплывать корпуса. «Глубина пятнадцать фут!» Юркнули. Высунули перископ — как на ладони германская эскадра. «Один, пять, десять, шестнадцать...» — считает командир, а сам вытанцовывает у перископа. «Взгляните, — говорит, — мичман». Мичман тоже эту математику проводит и кричит: «Шестнадцать, верно!», и кричит так, будто гостей встречает. «Главные силы!» — воскликнул командир и даже подпрыгнул от удовольствия. «Вот только компас застаивается, чтоб ему!.. Вечная история!» — ругается командир. «Придется, — говорит, — атаковать с высунутым перископом». Представляете номер? Силен в своем деле был командир! Жаль только, что забыл его фамилию, и фамилия такая простая, русская, все время помнил.

Гулай насупил брови, закусил губу и минуту молчал, видимо вспоминая, но не вспомнил и продолжал:

— Перерезали мы курс неприятеля и перешли на правую сторону, чтобы быть между солнцем и эскадрой. «Корюшка» решила атаковать в лоб, изнутри неприятельского строя, с тем что тут подозрения меньше. Вряд ли кому из врагов могла прийти в голову мысль о том, что атакующая лодка займет позицию внутри эскадры. Была и еще причина: миноносцы тогда, случалось, таскали за собой подрывные патроны... Словом, мы забрались в самую гущу. «Аппараты — на носовой! Веер — пять градусов! Право!» Лодка повернула и легла на правый головной миноносец. Эскадра черной тучей надвигается на нас. Время двадцать часов пятнадцать минут... Во, и время помню! — воскликнул Гулай. «Аппараты —

товсь!» Ну, держись, начинается... А перископ на полфута торчит из воды — риск чудовищный. Идем в атаку с поднятым забралом. А все из-за этого дьявольского застаивания компаса... Ход «Корюшки» — два узла, ход немцев — четырнадцать, сближение — шестнадцать узлов. «Право!.. Одерживай! Так держать!» Слух уловил отдаленный гул... Где-то рядом зазвенели винты миноносцев. Команда закрестилась. «Господи, помилуй и сохрани!..» Командир застыл у перископа. Время замерло. В висках тук-тук... Бурун головного миноносца обдал перископ. «Внимание», — шепчет командир, словно боясь, что его голос услышат там, на поверхности, а сам поворачивает окуляр и смотрит не спуская глаз. «Лево на борт!» — вдруг приказывает командир. Повернули. Кто его знает, зачем он сменил позицию?.. «Глубина — сорок фут! Перископ долой!» «Корюшка» забрала глубину. Над головой слышен противный звук винтов. «Прямо руль!» Шум удалился. «Право!.. Всплывай! Глубина — пятнадцать фут!» Высунули перископ. «Ни черта не могу понять!» — всердцах произнес командир. Огромный пенистый бурун и выросшая у самого носа стена закрыли собой горизонт. Мощный, все нарастающий и все подавляющий собой раздался жутко знакомый рокот. «Пли!!! Право на борт! Самый полный вперед! Погружайся! Наполняй добавочную!» — сыпал командир команды, и в это же мгновение раздался грохот. Что-то рвалось и скрежетало у нас над самой головой. Лодка дрожала, как в лихорадке, и валилась набок. Вдребезги разлетелись колпаки фонарей, полетела посуда, загрохотали падающие тяжести, и погас свет. Лодка продолжала валиться к ядрене бабушке, и нам казалось, вот-вот сделает «оверкиль». Сколько времени прошло, сказать трудно. Но чувствуем, что мы ныряем. А глубина в этом районе Балтики — саженей сорок-пятьдесят. Корпус нашей коробки на такой глубине треснет, как орешек. «Рули на всплытие! Продуть добавочную!» — приказывает командир. А мы все словно обалдели, будто уж на том свете. Услышали голос, очнулись. Повернули маховик... На-ка, выкуси! Глубомер делает свое дело. Восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто: лодка тонет. «Орлы, что носы повесили! Гляди веселей! Да будет свет!..» И верно, свет вспыхнул. Стрелка дрогнула и тронулась в обратную. Пошла!.. Все вздохнули. «Заводи граммофон! — кричит кто-то. — Давай Варю Панину!» А в это самое время как дербалызнет!.. Такой взрыв раздался, что о нем и вспоминать страшно. Лодку как швырнет. Всем нам показалось, что это разрываются бортовые

листы нашей «Корюшки», что вылетают ее заклепки. «Давление воды рвет корпус», — мелькнула мысль у всех. А командир свое: «Продуть все, осмотреть отсеки! Боцман, как у тебя?» — «Хорошо, ваше высокоблагородие», — отвечает тот, а сам белый, как простиранная голландка. Однако пронесло. Оказалось, что все на месте.

— А взрыв? — спросил кто-то из подводников.

— Подожди, — сказал Гулай, останавливая любопытного. — Мы тоже тогда так: «А взрыв?..» «Минное поле», — брякнул кто-то из нас, но командир возразил. И ясно: попади мы на минное поле, от нас бы живого места не осталось. «Тогда что же, ваше высокоблагородие?» — спросил, помню, минный старшина. «С момента, когда мы дали залп и до взрыва, который нас ошеломил, прошло всего три минуты. В одну минуту торпеда проходит пять кабельтовых. Выходит, что одна из наших торпед взорвала тот корабль, который был от нас в расстоянии пятнадцати кабельтовых», — сказал командир. «Дай-то, господи!» — проговорил боцман. «Всплывай! Глубина пятьдесят фут!» Взбираемся. Наверху послышался гул винтов. Мы снова вниз. Через полчаса повторяем попытку всплыть — опять шум винтов, снова в глубину. Чувствуем, что наверху творится «каша», а любопытно. Ну, делать нечего, решили итти под водой. Тут обнаружилась течь. Тащимся. Вода прибывает, и «Корюшка» понемногу теряет плавучесть. Выкачивать, сами знаете, нельзя. Масляные пятна на поверхности моря — хороший след. Позеленели мы тогда от перегара кислоты и задыхаться стали. — Гулай помолчал. — Вот уже семнадцать лет смахнуло, а я это дело, как живое, помню, — продолжал рассказчик. — Ночью где-то всплыли. На море — тишина. Две вещи запомнил я в ту ночь — это воздух и звезды... Да, надышался я тогда этим воздухом... И посейчас забыть не могу. На следующий день приползли мы на Аренсбургский рейд. На стенке — «Гром победы раздавайся!». «Ура», музыка! Нас встречают. А штука, я вам скажу, важная получилась. Вот, слушайте. Крейсеры «Принц Генрих», «Принц Адальберт», «Роон», «Гамбург», «Данциг», «Газелли», «Аркон», двенадцать эскадренных миноносцев, авиаматка и караван тральщиков показались у маяка Люзерорт. Германский авангард подошел к корме нашего минного поля. Главные силы врага имели задачей прорваться в Рижский залив. «Корюшка», встретив эскадру, атаковала ее, выпустив залп из четырех торпед. Адмирал Шмидт нес свой вымпел на линкоре «Брауншвейг». С этого корабля увидели

наш перископ и, круто повернув, ринулись на лодку, чтобы нанести ей таранный удар. Наши торпеды, успев забрать глубину, прошли под днищем «Брауншвейга» и веером направились на эскадру. Охранные миноносцы, увидя следы торпед, завыли. В тот же момент последовал оглушительный взрыв, и «Виттельсбах», шестой корабль кильватера, исчез в огромном столбе пламени и дыма. Наша работа! У немцев создалось полное впечатление, что эскадра попала в западню. На головном «Брауншвейге» «ясно» ощутили удар тарана и с мостика увидели пузыри, а пузыри-то были от выпущенных нами торпед. На линкоре решили, что нашей лодке капут, как вдруг завыли сирены миноносцев. Почему? Увидели лодку. «Стало быть, вторая!» А через три минуты грохнул взрыв — и где же? — в хвосте колонны! «Ясно», что третья лодка. Опасаясь дальнейших атак, немецкий адмирал дал приказ отступить. Операция врага была сорвана. Вот, пожалуй, и вся история, — сказал Гулай. — Благодаря полному ходу и положенному на борт рулю «Корюшка», попав под днище бросившегося на нее гиганта, приняла направление, прямо противоположное его курсу. А так как добавочные цистерны продолжали наполняться водой и горизонтальные рули были переложены на погружение, все это облегчило нашей лодке избегнуть гребных винтов. Почему был молодец командир? А потому, что он, собачий сын, приказал дать самый полный вперед. Ведь другой бы на его месте, как нередко бывает, попятился, дал бы задний ход... Ну, тогда, конечно, шабаш... Потеряв поступательное движение, лодка лишилась бы возможности управляться рулями глубины... Под действием же остаточной пловучести всплыла — и поминай как звали!.. — Гулай замолк, и было видно, что он припоминает что-то.

Слушатели молчали.

Гулай вынул портсигар, достал папиросу, повертел ее в пальцах и, вспомнив, что курить запрещено, положил на место.

— Потом пришла к нам высочайшая грамота, — продолжал Гулай. — Моряки ее тогда молитвой называли. «Мы, божьей милостью, Николай Вторый, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая...» Нашему лейтенанту подводной лодки «Корюшка» Василию... Забыл — чорт возьми! — фамилию... Все время в башке вертелась... Василий Александрович — это я хорошо помню, а вот фамилию позабыл. А все почему? Потому, что бывало лаешь по-собачьи:

«вашескородье, вашескородье»... мозги-то и затупишь, — сказал Гулай с досадой на себя. — Ну, ладно, — продолжал он, махнув рукой. — Так вот «...божьей милостью, — писал нам Николаша, — утверждая определенную по удостоянию Георгиевской кавалерской думы, командующим флотом Балтийского моря по представленной ему от нас власти награду за то, что третьего июня, находясь с лодкой в Балтийском море и встретив германскую эскадру в составе десяти линейных кораблей, охраняемых миноносцами, вы...» У меня за это дело тоже крестик был, — как бы смущаясь, проговорил Гулай. — После революции долго он по рундукам валялся... В 1920-м весной я его на сухари променял...

XXIII

«ПР-1» шла на заданной глубине.

Петр Ржанов с членами правительственной комиссии обходил корабль, предоставляя им полную свободу действий. Их восторженные отзывы он умерял холодной скромностью, иногда сам обращал их внимание на конструктивные недостатки.

Когда Ржанов вошел в дизельное отделение, Гулай своим неистовым голосом поднял команду.

— Встать! Смирно! — рявкнул он.

Но Петр Ржанов погасил его строевой энтузиазм, разрешив продолжать беседу.

«А ведь я не знал, что ты раньше на подводных лодках плавал», — подумал Ржанов, смотря на Гулая и слушая его нестройный рассказ о былом.

Инженер Леонов сидел в салоне и что-то писал.

— Простите, вы получили пакет из штаба? — спросил Леонов, когда Петр вошел в салон.

— Да, инженер. Мы идем по курсу...

Голос инженера показал Петру, что этот пакет был очень важен для него и что он знал его содержание. Вопрос Леонова еще больше усилил подозрение Ржанова.

Через два часа хода всплыли. «Якова Свердлова», конечно, не оказалось. Стали ждать. Море было тихое, мирное. Слышалось бульканье пузырей вдоль борта, изредка гудел рулевой мотор, лодка дрейфовала.

«Досадуя» на инструкцию и неточность миноносца, Петр Ржанов после двух часов ожидания покинул вымышленное им место встречи.

Лодка шла под дизелями, попыхивая колечками густого отработанного дыма. Были часы ужина. Команда с бачками выбралась на верхнюю палубу. Обедая, моряки слушают последние московские известия. Вскоре само собой составился квартет. Команда внимает музыке и откуривается.

Вышли «перекурить» и заводские мастера — Веригин с Дудиным. К ним подсел Гулай. Разговор идет об учености инженера Леонова.

— Погоди, как же? Ведь он ученый.

— Я и не отрицаю, что его учили, но это еще не доказывает, что он научился чему-нибудь...

— Строго судишь, — сказал Дудин. — Кто же истинно учен?

— Кто хорошо поступает. Возьми нашего Ржанова или, к примеру, Михаила Серафимовича, с ним легко дело делать.

— Легко, — согласился Дудин. — Они учат тому, как мыслить.

— Про то и разговор... А о Леонове так: видно, в чести он у начальства. Петр Емельянович всегда занят, некогда ему, оттого и видит он его с одной стороны, с фасада.

Гулай слушает и не слушает стариков. Он смотрит на веселых, дружных, задорных парней и тихо радуется новой растущей силе. «Они — это кровь флота, его сила», — думает он. Себя Гулай уже давно зачислил в старики. Но за них, за флот он рад. Рад корабельной тесноте в гавани, где путаются друг с другом вымпелы. «Старый дом гавани становится тесен, — думает он, — детки растут и крепнут». Гулаю приятно и немного завидно. Он всей душой прирос к флоту. Но он слишком скромен, чтобы отнести к этой радости хоть маленькую крупицу своего участия.

«Хорошо, люблю, дружно живут», — произносит он мысленно, смотря на бурлящую удаль моряков. И Гулай прав. Если говорить о дружбе, о спайке среди моряков, дружбе настоящей, красивой, которую надо писать с большой буквы, то дружбу подводников надо будет немножечко умножить... Во сколько раз — не знаю. Но постоянный тяжелый труд, опасность, условия самой жизни на кораблях, требующие порядка, быстроты и точности, все разнообразие обстоятельств походов развивают в людях флота физическую силу, здравый смысл, решимость и ту особую лихость и браваду, которые отличают моряков. Дружба морская вызревает на высоком священном чувстве гражданского долга, преданности и любви к своему народу. Иногда, конечно, бывает... Бывает, что выпьет иной,

пошумит, «развернется», «поклешничает», но это не от морских качеств, а от недостатка их.

Преображенский тоже на верхней палубе. Он задумчив, ушел в себя. Мысли его о Петре — его учителе, ученике и сыне, которого в нем нашел он.

Есть в послереволюционном флоте люди, простые, скромные — таких большинство, — которые не нуждаются ни в наградах, ни в поощрениях, но которые терпеливо и незаметно в серых днях будней куют победу. И нельзя сомневаться, что на флоте и в будущем появятся великие люди. Они появятся не случайно, а выйдут из закала мирных дней как результат большого насыщенного труда и выучки...

XXIV

После концерта Петр Ржанов спустился вниз. Чтобы не вызвать тревоги в Кронштадте из-за своего внезапного исчезновения, он посылает шифрованное радио, но посылает его не прямо в штаб бригады, а через радиостанцию линейного корабля «Советская Россия». Петр воспользовался старым шифром из расчета на то, что это радио попадет в надежные руки флагмана флота — Кузнецкого.

Инженер Леонов поднялся в рубку. Он заметно нервничает и тщательно ощупывает горизонт дальномером. Сигнал к погружению прерывает его занятие.

Испытание корабля Ржанов проводит методически четко. Он ставит для лодки все новые и новые упражнения. Он варьирует, повторяет их, дает предельную нагрузку. Лодка справляется. Петр ищет слабые стороны проекта, но пока не находит.

«ПР-1» забрала глубину. Глубомер отсчитывает тридцать пять, сорок, пятьдесят. Иногда Ржанов вызовет к телефону носовой или кормовой отсеки, выслушает доклады командиров частей, спросит их мнения, посоветуется с инженерами, академиком Преображенским, прибавит или убавит ход, всплывет или погрузится. И трудно себе представить, что это происходит где-то глубоко, очень глубоко... Трудно потому, что горит яркий свет, работают люди, служат механизмы.

Оба Ржановых внимательно прокладывают курс. На морской карте много крестиков. Это могилы затонувших кораблей. Известные и безызвестные; много их. Одни лежат, другие стоят вниз или вверх мачтами, иные плавают под водой по

течению. Это «летучие голландцы»; они опасны. Лучше не встречаться с отжившим. Одних опустила на дно война, иных — шторм. Одни давно здесь, иные недавно... А наверху, под солнцем плещет мирное море...

В центральный боевой пост вошел Гулай и, наклонившись к Ржанову, спросил шопотом:

— Ты ничего не замечаешь?

— Ты о чем?

— Я о твоем инженере Леонове.

— Что он тебе полюбился?

— Видишь ли, Петр, не дает мне его физиономия покоя... Где, думаю, я эту рожу видел?.. А, видать, я ее видел.

— Вспоминай, Гулаич...

— Голос, глаза... Вот, знаешь, вертится, а не захватывает, как сорванный с резьбы болт.

— Бывает...

— Вот и я говорю: бывает... А только мы с ним не впервой. Слушай-ка, — обратился он к Ржанову уже громко, — как же это твой механик руку-то себе изуродовал?

— Защемило.

— Чудно!.. А по фамилии как?

— Самбуров.

— Помнишь, у нас на «Совете» тоже Самбурский был?

— Так то Самбурский.

— Ну да, — сказал Гулай. — Похоже... А зовут Сергеем?

— Сергеем... А действительно похож, — согласился Ржанов.

Петр, сделав подсчеты, приказал всплыть. Поднялись. Высунули перископ — чисто: ни дымка, ни паруса. Снова доклады командиров частей и точная запись всех показателей. Действия механизмов при всех эволюциях дают хорошие результаты. Петр Ржанов доволен и несколько возбужден.

Спрося разрешения, в пост управления вошел инженер Леонов. Он выглядит больным, он весь осунулся. Глаза его лихорадочно блестят.

— Да у вас жар, — говорит Ржанов.

— Не совсем здоров.... Пошаливает сердце.

Гулай пристально посмотрел на Леонова.

«Он или не он?.. Тот или не тот?..» — подумал Гулай.

Взгляд Гулая привлек внимание Леонова и заставил повернуться.

— Ужасно мучает сердцебиение, — сказал он Гулаю. — А вы как себя чувствуете, механик? Вы впервые под водой?

— Нет, приходилось раньше, плавал... — ответил Гулай и вышел.

— А мне очень нездоровится, — продолжал Леонов, обращаясь к Петру Ржанову. Он подошел к перископу, повернул окуляр и, не отрываясь от прибора, спросил: — Кажется, дым на горизонте?

— Да, — подтвердил Егор, — «купец».

— Ваши дальнейшие намерения, Петр Емельянович? — спросил Леонов.

— Пытать дальше.

— Во всем объеме?

— Да. Теперь еще стрельбы, вспомогательные механизмы и — главное — корпус. Но это недолго, — добавил он.

— Так, так, во всем объеме, — повторил инженер Леонов, и он снова прильнул к перископу.

— Курс транспорта, кажется, ост, Егор Петрович?

— Да, — подтвердил Егор.

— Как бы вы посмотрели, Петр Емельянович, на то, — спросил Леонов, — если бы я перешел на транспорт и на нем добрался бы до Кронштадта?

— Отрицательно, — ответил Ржанов. — Мне еще нужны будут ваши советы.

— Английский транспорт, — сообщил Егор.

— Тем более, — продолжал Ржанов, — не совсем удобно и приставать и пересаживать вас на иностранный пароход. Потерпите, инженер, — добавил он оживляясь, — еще одно маленькое испытание...

— Отвратительно чувствую себя и плюс — неприятность. Будет мне «фитиль» за неявку в Москву...

— Свалите на меня, — сказал Ржанов.

— Хорошо, есть, — согласился Леонов и, пошатываясь, направился к выходу.

— Егор Петрович, проводи инженера и попроси врача, — распорядился Ржанов.

После этого разговора Петр окончательно решил не выпускать Леонова. Инженер удалился, и лодка снова пошла на погружение.

— Координаты, товарищ командир? — спросил Ржанов.

Егор сообщил.

— Давайте еще погрузимся, — предложил Ржанов членам комиссии.

Лодка нырнула, и машина застопорила. Опять начались расчеты, прощупывания, измерения. В лодке тихо. Корпус, как

мембрана, воспринимает отдаленные шорохи на поверхности моря. Тишину изредка нарушают слова команды. Порой вновь загудит мотор, запоет рулевой прибор, зашипит воздух. Сложные части машин, как сердечные клапаны, отстукивают ритм жизни подводного корабля. Эту жизнь регистрируют аппараты, тоже чуткие и сложные. Так где-то на дне, под пластом в несколько десятков метров воды, идет эта жизнь. И не только жизнь, а труд — сложный, напряженный, ответственный.

— Вспомнил!.. Знаешь, кто? Вот встреча!.. — заокал, загудел своим басом Гулай, влетая в боевой пост.

— Погоди, Гулаич, сейчас...

— Нет, уж ты теперь погоди. — И Гулай закрыл своей ладонью лежавшую на столе бумагу, на которой Ржанов что-то вычислял.

— Ну, что у тебя? — спросил Петр, видя необычное возбуждение Гулая.

— Это у тебя «что», а не у меня.

— О чем ты?

— Да все о том же! Где ты его подцепил?

— Кого?

— Инженера этого?

— А что?

— Я ему не верю. И механику твоему не верю. Это одна шайка-лейка. Фамилия у него другая. Помнишь? Впрочем, тебя не было тогда. Ты на партийном съезде был. Я узнал его. Это он тогда осудил «Совет» на кладбище. Он выкрал корабельную кассу. Это по его наущению избили тогда старика Преображенского. Помнишь?.. Контра он...

— А ты не ошибаешься? — спросил Петр, внутренне вздрогнув.

— Или иконой побожиться?

— Ты не шути, это дело серьезное...

— Вот и я про это говорю... Только знаешь, Петро, мне кажется, что он почуял, — говорил Гулай. — Прихожу я в кают-компанию, а он морду воротит в сторону: понял, значит, что я его разгадал. Борода-то у него своя? — спросил он.

— Своя, — подтвердил Петр.

— Сосет у меня давеча на сердце, не могу... «Дай, — думаю, — пойду доложу...» Уж ты меня за эти бабьи штучки извини... Этакая, знаешь, заноза на душе...

Ржанов слушал Гулая, и неясные его подозрения стали проясняться, словно выплывать из тумана. Все, что казалось

раньше незначительным, теперь, задним умом, приобрело для Петра особое значение.

«Механик... Возражения против Гулая... Пакет... Желание перейти на эсминец... Мнимая болезнь... Разговоры о «купце»... Странно. Действительно, странно!»—решил Ржанов, думая о совпадении своих тревожных чувств с подозрениями Гулая.

— Как ты об этом думаешь, Степан Данилыч? — спросил Петр и самого себя и Гулая.

— Думаю, что все это неспроста.

— Пожалуй...

— Арестовать его, и дело с концом, — сказал Гулай.

— Нет.

— Что же?

— Нет, нет, только не это.

— Тогда?..

— Иди и наблюдай за ним.

— Есть наблюдать, — сказал Гулай и вышел.

XXV

«Во всем объеме» — это означало войти в район глубин и там произвести испытание корпуса корабля на пятнадцать-двадцать атмосфер давления, то-есть произвести то, чего нельзя было допустить, пока Леонов находился на лодке. Главное, что инженер не в силах был что-либо изменить теперь. Он укорял себя за свою оплошность, подозревал, что несостоявшееся рандеву так фатально не совпадает с его планами. Он думал сейчас о механике и о том, что тот ценой своей раздробленной руки продал...

«Узнал меня этот долговязый субъект или нет?.. — спрашивал себя Леонов. — Как его фамилия?.. Губай?.. Гудай?.. Ах да, Гулай! — сказал он. — «Гулай — однорогий бык», — вспомнил Леонов толкование Даля. — «Однорогий бык»? Никакого сходства!.. Однако нервы мои шалят... Что же делать? Итти ва-банк, жертвовать собой, а за что? Для кого? Ужель годы борьбы и напряжения должны кончиться сегодня и кончиться так глупо? Ужель все потеряно?... Правда, я гибну не один, а все-таки глупо. Все развивалось хорошо, артистически хорошо! В ловушку попал весь их цвет... Теперь они в моих руках. — И в глазах Леонова на одно мгновение сверкнул огонек торжества. — Но и охотник в капкане. Как же быть? Где выход? — напрягая все свои силы, думал он. — Нервы... Это

совсем некстати. Так что же все-таки делать, чорт возьми, что же делать?..» Был один выход, который заставил инженера Леонова задуматься. То, о чем он думал, было очень важно. С одной стороны, он чувствовал себя сильным, гордым, с другой — ничтожно слабым, нуждающимся в поддержке, совершенно опустошенным и одиноким. Заперев каюту, Леонов лежал на койке и думал. Его занимал один вопрос и занимал не только сегодня, а и вчера, и позавчера, и месяц, и год тому назад, и целый ряд лет. Мысли эти довели его до состояния, близкого к психозу. На людях инженеру Леонову было легче, но теперь он не мог переносить людей и все чаще уединялся от них. Теперь в уединении похода думы эти с особенной силой овладели им.

«Да, странная судьба, странная роль, — думал он. — Несмотря на все наши усилия, они все же продолжают создавать и крепнуть. Почему у нас нет таких сил, нет веры, нет этой дьявольской энергии?.. Это уж не борьба, а месть». И Леонов представил себе Петра Ржанова, этого матроса, в котором, как в капле, отразилась вся суть эпохи, ее движение, ее жизненность и будущность. «Он горд, и я понимаю... А я, мы — мы лишены этого чувства... То-есть, кто мы? — спросил себя Леонов. — Мы, у кого нет идеи, нет вождя, нет партии и — главное — цели. Вначале, как мне казалось, мы боролись за свою родину, и... потеряли ее окончательно. Мы стали ее врагами. В этом они правы, — сказал он себе. — Я совершаю и ухожу... Но это не есть победа. Совсем не победа! На их место заступят десятки других. Обидно! До жути обидно!.. — думал Леонов, чувствуя, что он запутался в своих мыслях, как в тенетах. — А долг?.. Перед кем? Да, перед кем?» — спросил он себя и опять не нашлось ни одного слова в оправдание. Было одно слово где-то там, в самой глубине его души, но он не произнес его себе, а слово это было — разочарование. Леонов мысленно оглянулся и вспомнил весну 1921 года. Подпольный меньшевистский центр, где он писал накануне кронштадтского восстания листки прокламаций. «Мы не использовали тогда лозунгов меньшевиков, социалистов-революционеров, анархистов «о свободе», «свободе торговли», «за советы без коммунистов», — думал он. — Мы раньше времени раскричались в парижских газетах об этом восстании... Потом эти вечные дрязги между нашим партийным эмигрантским охвостьем. Савинков, Мартов, Чернов... Эти самовлюбленные дураки, герои фразы, снова, как черви после дождя, вылезли со своей пресловутой «Учредилкой»... И Милюков был прав,

когда говорил нам, что не следует торопиться в члены «исправленного» правительства «на другой день». Все это восстание было не что иное, как анархическая мелкобуржуазность, неприкрытая белогвардейщина... А мы, идиоты, цеплялись за эту ветошь истории, перелицовывали ее и пытались сшить из этих лоскутов «новую» государственность... Все потеряно: ни отчизны, ни семьи, ни будущего. Ради чего?» — спросил себя Леонов, но ответа не было. И вокруг и внутри него была пустота. И так с каждым годом все ниже и ниже...

В памяти всплыл кошмарный 1920 год... Леонов в группе морских офицеров на пути в Сибирь. Преодолевая тысячи препятствий и смертельных опасностей, офицеры, как и он, просачивались к Колчаку. Сквозь тундру, льды и снега, северным путем, в обход добрался он до Иртыша. Потом плавание на каком-то грязном пароходе из Тобольска в Омск. Встреча с большим пароходом, на грот-мачте которого развевался андреевский флаг... Наверху, окруженный генералитетом и штабом, стоял верховный правитель... Он был в своем походном френче, при казачьей шашке с георгиевским темляком.

«Я рад вас видеть, господа, — сказал Колчак, — но не вовремя вы приехали... Вас интересует положение дел. Оно неважно. У меня всего тридцать тысяч войска. Нет сил бороться с большевистской лавой. Они сейчас готовят прорыв. Фронт может быть прорван в любой момент. Но мы будем бороться, господа, до конца...»

«Что еще тогда говорил Колчак? Кажется, больше ничего. У каждого из нас свой конец. Беспощадно-логический. Десятью годами раньше или позже, но неминуемый конец...»

«Потом снова скитания, приспособления, напрасные надежды, авантюризм наших лидеров, — думал Леонов, и снова пришло в голову это страшное слово с роковым значением — разочарование. — Так проходили мои годы... И вот теперь, спустя много лет, где-то на дне моря, я мучаюсь и не хватает во мне сил решить — всплывать или остаться в этой почетной могиле? Но я не могу, да и не хочу быть рыцарем. Все изменилось. Кто оценит мое мужество? Мы потеряли связь с жизнью, со страной и народом страны. Мы потеряли стержень и превратились в политических неудачников. Мы обманывали себя словами о выдуманной нами чести, выдуманной родине, выдуманных туманных идеалах, осуществить которые у нас не было ни сил, ни средств, ни даже морального права. И сами мы все выдуманные — жалкие, политические кукушки, у которых нет своего гнезда, а только одна ложь, ложь и

ложь... — И Леонов вспомнил о тех, кого развеяла буря революции и кто, подобно опавшим листьям, кружился теперь на задворках чужих стран. — Да, страшная судьба...»

«Вожаки наши были исполнены карьеризма, того состояния, при котором умерщвляется все живое. Да, мы неудачники, руководимые ненавистью, а ненависть плохой советчик», — сказал себе Леонов.

И снова мысли обратились в минувшее, когда он еще верил, страдал и эта вера и страдания двигали им. Леонов разочаровался давно, хотя вначале и не хотел признаться в этом разочаровании.

В январе 1919 года по льду через Финский залив он пробрался в Гельсингфорс к Юденичу, куда генерал прибыл с планами, одобренными державами Согласия. Леонов вспомнил свои поездки по Финляндии и Скандинавии, где он проводил мобилизацию реакционного русского офицерства. По заданию Юденича он составлял там кадр будущих формирований добровольческой армии. Это была организация нового противобольшевистского фронта, ближайшей целью которой было занятие северной столицы — Петрограда.

Белое командование и, в частности, Колчак осуществлению этой операции придавали тогда крупнейшее стратегическое и политическое значение. Наступление с северо-запада должно было оттянуть большевистские силы от Колчака и Деникина, но этого не получилось. И это было первым разочарованием Леонова. Инженер вспомнил свое «доблестное офицерство» за границей, которое занималось подсиживанием друг друга. А у самого белого движения на северо-западе существовал лишь висящий в воздухе штаб и... планы. Но не было ни денег, ни базы, ни людей, ни даже определенной надежды получить все это, как жаловался тогда не раз адмирал Пилкин. К самому Юденичу финны относились недоверчиво. Генерал и группировавшиеся вокруг него военные и штатские вели себя надменно. Они смотрели на Финляндию по старой привычке, как на царскую провинцию, а на финский народ, как на «тупую и близорукую чухну».

Маннергейм, бывший тогда главой правительства и желавший всячески помочь Юденичу в организации противобольшевистской борьбы, тщетно ждал к себе Юденича. «Маннергейм лишь генерал-майор русской службы, — говорил Юденич, — а я, Юденич, генерал от инфантерии; и не я к Маннергейму, а Маннергейм ко мне должен прийти для переговоров». «И так во всем и всюду шло у нас кувырком. Политическое недомыс-

лие всех этих Сазоновых, Карташевых, Горновых и прочих представителей единой, неделимой Расеюшки погубили все... Коммунисты оказались правы в определении исторических сил. Большевики правильно оценили тогда момент и одним актом, смело и убежденно, как хозяева положения, предоставив финнам в декабре 1917 года независимость, опрокинули все наши планы. «Мы отняли у Антанты ее солдат», — говорил Ленин, и отняли! А мы, «расейское правительство», в это время занимались фразой, и опять фразой по поводу Учредительного собрания, пока нас не раскусила эта самая «чухна».

«Политические страсти, тревоги, — думал Леонов, — постоянно занимали мою душу и мешали мне заглянуть в самого себя. Годы, как по ступеням лестницы, сводили нас все ниже и ниже; и когда политическая пена схлынула, то обнажилась моя роль — бандитизм. Ценой демагогической активности я вступил в их партию. Это пока их обманывает. Но себя я обмануть не могу... Так что же делать? Что делать?» — спрашивал Леонов, желая найти отклик в глубине самого себя. Но никто не отозвался на его голос.

— Разрешите, товарищ флагманский инженер?

— Да, пожалуйста, — ответил Леонов, услышав свое имя за дверью каюты; только при третьем решительном стуке он вышел из своей задумчивости. Леонов встал и открыл дверь.

— Приказано доложить вам, что мы подходим к району глубин, — сказал молодой подводник, у которого было беззаботное, счастливое лицо молодости.

«Чему он рад? Чему он улыбается? Все так запутанно, бессмысленно, отвратительно, а он радуется», — глядя на моряка, думал Леонов.

— Начальник, если вы можете, просит вас подняться к нему в боевой пост номер три, — сказал подводник.

— Есть. Идите, — сказал Леонов.

«Да, Кант был прав. Страдание — это побуждение к деятельности, и только в ней впервые чувствуем мы нашу жизнь, — вспомнил он. — А время близится неумолимо, и надо выбирать. А что выбирать? Что?» — спросил он себя и повалился на койку.

XXVI

Когда подводная лодка опустилась на предельную глубину, когда давление на ее корпус приближалось к двенадцати атмосферам, в пост управления поспешно вошел инженер Леонов. Он был бледен и необычно возбужден.

— Ржанов, прекратите погружение, — сказал он волнуясь. —Я не Леонов, а Васильев. И не Васильев — я Стучевский.

— Кто же вы: Васильев, Леонов или Стучевский, наконец? — спросил Ржанов.

— Возьмите мое оружие. Я должен объясниться.

Инженер вынул пистолет и положил его среди карт.

— Я слушаю, — сказал Петр спокойно, но это было лишь внешнее спокойствие.

— Там, между наружной и внутренней обшивкой, — начал Стучевский, — в отсеке кормового зарядного погреба заложен взрывчатый механизм...

— При скольких атмосферах он должен был взорваться?

— Ни фута ниже. На глубине шестидесяти метров.

— Ваша цель, Стучевский? — спросил Ржанов.

— Основная цель — это, извините меня, убрать вас...

— Благодарю вас за комплимент!

— Плюс люди, окружающие вас, — продолжал инженер, — затем скомпрометировать проект и снять его, таким образом, с вооружения...

— Еще?

— В своем корабле вы сумели соединить все лучшие боевые элементы разных классов подводных лодок, — говорил Стучевский. — Вы превзошли английскую «Темзу» с ее рекордной проектной скоростью; вы придали ей свойства японских типа «Я-5», «РО-62», «Я-68», германской типа «У-1», французской типа «Суркуф» и американской «Барракоды». Ваш проект так же оригинален, как и прост. Ваша система погружения, всплытия и управления на подводном ходу превзошла все известное до сих пор...

— Оценка врага — это лучшая оценка, — сказал Ржанов. — В царском флоте вы плавали на лодках?

— Никак нет. Моя специальность — минер.

— С каких пор вы стали инженером-подводником?

— С тех пор, как и вы. Вслед за вами. Точнее, вы были причиной того, что я стал подводником.

— Объясните.

— Видите ли, Ржанов, — это длинная история...

— Но наверняка поучительная.

— Для вас, быть может, для меня — нет.

— Я слушаю вас, Стучевский.

— Извольте. Я расскажу. — И он начал. — Я слежу за вами уже много лет...

— И что же?

— Да, слежу за вашим ростом и вашими удачами. Вам везет, Ржанов, чорт возьми! Вы будто обладаете секретом философского камня жизни. У вас есть хватка, что называется, бульдожья. Я говорю не только о вас, нет, — я говорю о вашей породе людей, большевистском типе, вы понимаете?..

— У вас есть сообщники здесь? — перебил его Ржанов.

— Был, теперь нет.

— Кто?

— Механик Самбуров.

— Его настоящая фамилия?

— Самбурский.

— Бывший сигнальщик? Плавал на «Совете»?

— Да.

— Еще?

— Больше никого.

— На эсминце «Яков Свердлов»?

— Нет.

— На берегу?

— И там нет...

— Михаил Викторович Затылкин?

— О, нет, — сказал Стучевский. — Затылкин брандер: в боевое дело он не годится.

— Вы выигрываете время, Стучевский?

— Вы не отвечаете мне взаимностью, Ржанов.

— При данных обстоятельствах, Стучевский?

— Впрочем, да...

— Продолжайте.

— Вам бы следовало извлечь заряд, — посоветовал Стучевский.

— Я предпочитаю это сделать в гавани.

— Это, впрочем, благоразумнее..

— Итак, вы спрашиваете меня о сообщниках? Они, конечно, были, но... иных уж нет, а те далече... Теперь я один. Досадно... — начал было Стучевский, но Ржанов прервал его:

— Извините, Стучевский, мы перейдем отсюда. Пройдемте в кают-компанию и поговорим там.

В продолжение трех часов рассказывал инженер Стучевский о своих, как он выражался, «зигзагах» жизни. Все молча сидели и слушали повествование врага. Повествование столь же откровенное, сколь и исполненное ненависти, смертельного

страха, разочарования, раскаяния и бессильной злобы. Вахтенный журнал корабля, куда академик Преображенский записывал показания Стучевского, был наполовину исписан его крупным, размашистым почерком.

— Да, я следил за вами, — говорил Стучевский таким тоном, словно речь шла о ком-то третьем, а не о нем. — Я специально поступил в Морскую академию, и только для того поступил, чтобы разрушать все то, что вы собирались создавать. Я это делал для того, чтобы противопоставить вам вашу же собственную силу. Иных средств я не видел. Так я учился, выучился, стал работать... Но я ошибся! Я не учел главного. Помните, у Гегеля есть место, где он говорит о корне всякого движения и жизненности?.. Но сила, направленная на уничтожение, уступает силе, направленной на созидание. Такова, видимо, природа вещей, и здесь кроется моя и наша ошибка.

Некоторое время он в упор смотрел на Ржанова своими умными, проницательными глазами, как бы желая заглянуть через них в глубь его души и увидеть там эту победившую его силу.

— Ну, дальше? — спросил Ржанов, также не сводя с него глаз, желая определить границу обмана в этом признании. Во взоре этого человека Ржанов не видел теперь того холодного огонька, той вызывающей наглости, которая всегда отталкивала от него Ржанова и которая скрывалась Стучевским за маской заученной учтивости. Что-то жалкое, просящее было теперь в этом взоре. Что-то разбитое, смятое было на душе этого человека, чего даже не могли скрыть теперь его умные глаза, хотя и силились это сделать.

— Дальше? — спросил Петр Ржанов.

— Дальше?.. — Стучевский чуть заметно улыбнулся краем своих тонко прорисованных губ. — Вы несколько раз спрашивали меня, один ли я? Да, я один, Ржанов. Я — осколок. Быть может, такие, как я, есть еще. И наверное, есть. Но все мы, как метеоры, падаем и сгораем в своем падении. Такие, как я, — это выкидыши истории... Вы меня понимаете, Ржанов? Я говорю об одиночестве в партийном значении...

— Допустим... Ваше настоящее имя?

— Я уже сказал: Валентин Арнольдович Стучевский.

О том же, что он служил Берлину, служил Лондону, служил Вашингтону, — об этом Стучевский умолчал. Это его шокировало.

XXVII

Горизонт на западе заволакивали тучи. Вдали погромыхивало и вспыхивала молния, отражаясь в неподвижной и потемневшей глуби вод. На залив и на корабли с неба лился тот особый матово-металлический свет, который бывает перед грозой на море, когда все предметы кажутся полупрозрачными, словно растворившимися в густом воздухе.

За кормой «Советской России», на шкентеле, протянулась длинная вереница катеров, отсвечивая на воде букетом белых, синих, палевых красок и сверкая надраенной медью в те мгновения, когда из-за туч на воду широким золотистым снопом падал солнечный луч.

У задрапированного, ковром застланного правого трапа — белый, словно лебедь, парадный катер. Над кораблем реет флаг нового командующего. На «Советской России» идет смотр.

Поздоровавшись с командирами и командой, флагман Михаил Александрович Кузнецкий проходит на левые шканцы, где выстроены молодые командиры, недавно произведенные. Он медленным шагом проходит вдоль строя, вглядываясь в лица, заглядывая в глаза. И сколько радости жизни, надежды, уверенности, кипучей жажды деятельности блещет на него из этих юных глаз!..

Флагман флота останавливается. Лицо его задумчиво. Быть может, он в эту минуту вспомнил свою юность, свое первое производство...

Начальник штаба Тимофеев что-то говорит ему, но из-за шума пролетающих в небе самолетов флагман не слышит.

— Начальник штаба просит меня сказать вам напутственное слово, — проговорил командующий улыбаясь. — О чем же сказать вам, молодые друзья? О том, что Россия любит вас, — вы это знаете. Что она верит вам, — тоже знаете. Что вахта, на которую вы заступаете, и почетна и ответственна, — знаете лучше меня. Знаете вы и о том, что вас засеяли семенами знаний и вам необходимо их взрастить урожаем сам-десять... Меньше нельзя, — добавил он решительно. — Верните стране те затраты, которые сделаны на вашу подготовку. Будьте в любом месте вашей работы центром, организующим творческую деятельность. Трудитесь так, чтобы каждый из вас давал толчок всей дальнейшей работе, делался двигателем новых достижений, нового движения вперед. Вот так я думаю, родные мои. А сказать, что ж? Сказать мне нечего, — прогово-

рил командующий, взглянув на начальника штаба. — А Родине нашей, великой и могучей, слава вовеки! — выкрикнул он и, взмахнув рукой, пошел прочь.

Мощное и раскатистое «ура!», как удар грома, прокатилось по кораблю.

Флагман обходит корабль. Командир линкора, начальник штаба флота, адъютанты сопутствуют ему. Он интересуется всеми мельчайшими усовершенствованиями корабля. Иногда он прикажет запустить агрегат и тогда внимательно изучает работу людей.

В батарейной палубе внимание флагмана привлекает автоматика управления огнем, в кормовой башне — смотрит заряжание, автоматическое и ручное. Комендоры управляют пушками ловко и четко, почти не уступая приборам. Командующий благодарит моряков за усердную службу. В ответ браво и весело раздается: «Служим трудовому народу!»

В посту управления Михаил Александрович останавливается у радиолокатора. Это экспериментальная новинка, которой еще нет ни в одном флоте мира. Он подробно расспрашивает о нем изобретателя Дмитрия Рябинина.

Немного волнуясь, Рябинин говорит о физических основах радиолокации, мощных радиоволнах, длиной от нескольких метров до нескольких сантиметров, импульсивной передаче и приеме коротких импульсивных сигналов, передаче радиоволн узкими направленными лучами и способах измерения промежутков времени продолжительностью в миллионные доли секунды.

— В миллионные? — переспрашивает флагман, как бы удивляясь.

— Так точно.

— Выходит, радиоволны обшаривают горизонт? — спросил Михаил Александрович, указывая на антенну локатора, направление которой непрерывно отмечалось на экране.

Рябинин подтвердил.

— Стало быть, — продолжал флагман, — мы можем точно определить направление цели, от которой отразились радиоволны. Так ли? — спросил он.

— Не только направление, но и расстояние в метрах или километрах с абсолютной точностью, — сказал Рябинин, указывая на шкалу, помещенную на экране электронной трубки.

— Понимаю, — сказал командующий, прищуриваясь и как бы что-то вычисляя про себя. — Ну-ка, до «Октябрьской» — сколько? — спросил он.

Рябинин ответил.

— А до новых крейсеров?

— Двадцать восемь кабельтовых.

— До «Совета» и ляпуновского дивизиона миноносцев?

— Тридцать пять.

— А до того дыма? — спросил флагман, вскидывая бинокль и указывая на проходящий за горизонтом корабль.

Рябинин взглянул на шкалу и дал точный ответ.

— Ведь экая штука! Угораздит же выдумать!.. — сказал командующий, отрываясь от экрана локатора и с восхищением глядя на Рябинина. При этих словах Дмитрий Рябинин до последней возможности вытягивается перед командующим и виновато улыбается.

— Всевидящее око, всевидящее око! — повторяет флагман, переводя взгляд на Большой рейд, где перед ним выстроен флот, стройными линиями кораблей уходящий за горизонт. — Ну-ка еще, ну-ка! — говорит Кузнецкий и, склонившись над экраном, погружается в наблюдение.

На экране «радиоглаза», как Рябинин называет свой аппарат, флагман видит четкую картину местности: линию берега, форты, маяки, движущиеся по рейду суда, пролетающие самолеты и в виде светящихся точек, яркие, как звезды, созвездия боевых кораблей.

— Ведь это сказка какая-то, Тимофей Тимофеевич, — говорит он начальнику штаба. — Право, сказка! Помните... о золотом блюдечке и наливном яблочке? Покатывай себе да гляди, что на белом свете делается... Вы чародей, Дмитрий Степанович, да что я говорю чародей: чародей чары деял, а вы действительность: умную, нужную. Вы... — произнес он и остановился. — Да что там!.. Разрешите мне лучше по старому русскому обычаю облобызать вас от лица флота... — И командующий троекратно целует Рябинина на виду всего флота, на мостике флагманского корабля, куда устремлены теперь тысячи и тысячи глаз балтийцев.

Начальник штаба поздравляет изобретателя, пожимает его руку, потом долго глядит на экран и с радостью, которой он не может скрыть, докладывает командующему о появлении на горизонте новой яркой звезды. Это возвращается с моря после испытаний новый подводный крейсер серии «ПР-1».

— Вот еще один богатырь духа! — говорит флагман. И, отдав приказание пригласить к себе Петра Ржанова и председателя правительственной комиссии Преображенского, удаляется в рубку и там подробно говорит с Рябининым

о локаторе, предназначенном для управления огнем артиллерии.

Петр Ржанов и Преображенский прибыли на флагманский корабль. Командующий встречает их на верхней площадке трапа. Ржанов рапортует об итогах похода. После доклада Петра Преображенский вручает начальнику штаба флота акт правительственной комиссии.

На ноке реи «Советской России» взвивается сигнал: «Командующий изъявляет строителям и экипажу «ПР-1» свою особую благодарность».

На подводном крейсере команда во фронте. К клотику мачты взбирается белый комочек флага... Это вымпел — боевая лента корабля. С этого мгновения подводный корабль вступает в боевой строй флота. Звучит гимн. Гремит «ура».

Командующий флотом, окруженный походным штабом, поднялся на мостик.

— Снимайтесь! — приказал он.

Величественно рассекая гладь моря, с нависшим кипящим буруном над кормой, с радугой сигнальных флагов на мачте, движется «Советская Россия».

На всех кораблях команды во фронте. Направо, налево здоровается командующий. Перекатами с корабля на корабль несутся ответные клики. Рядом с флагманом — могучая фигура члена Военного Совета Петра Ржанова, возле него академик Преображенский. В глазах старика слезы, — видимо, от ходового ветра. Он улыбается, он счастлив. Вот на правом траверзе его красавцы крейсеры: «Ушаков», «Сенявин», «Лазарев», «Нахимов», «Корнилов», «Макаров» и их лидер — «Коммунист». Петр знает, что в этих кораблях для Преображенского заключена вся его жизнь: большая, непраздная. Он знает также, как много слилось в этих именах для каждого русского матроса, для каждого русского сердца...

«Сегодня — та историческая грань, в которой преломились лучи русской воинской славы прошлого, настоящего и грядущего», — думает Петр, глядя вдаль.

Мысленно перелистывая страницы истории, он вспоминает героические годы гражданской войны, где выковывались мужество и бессмертная слава советских моряков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

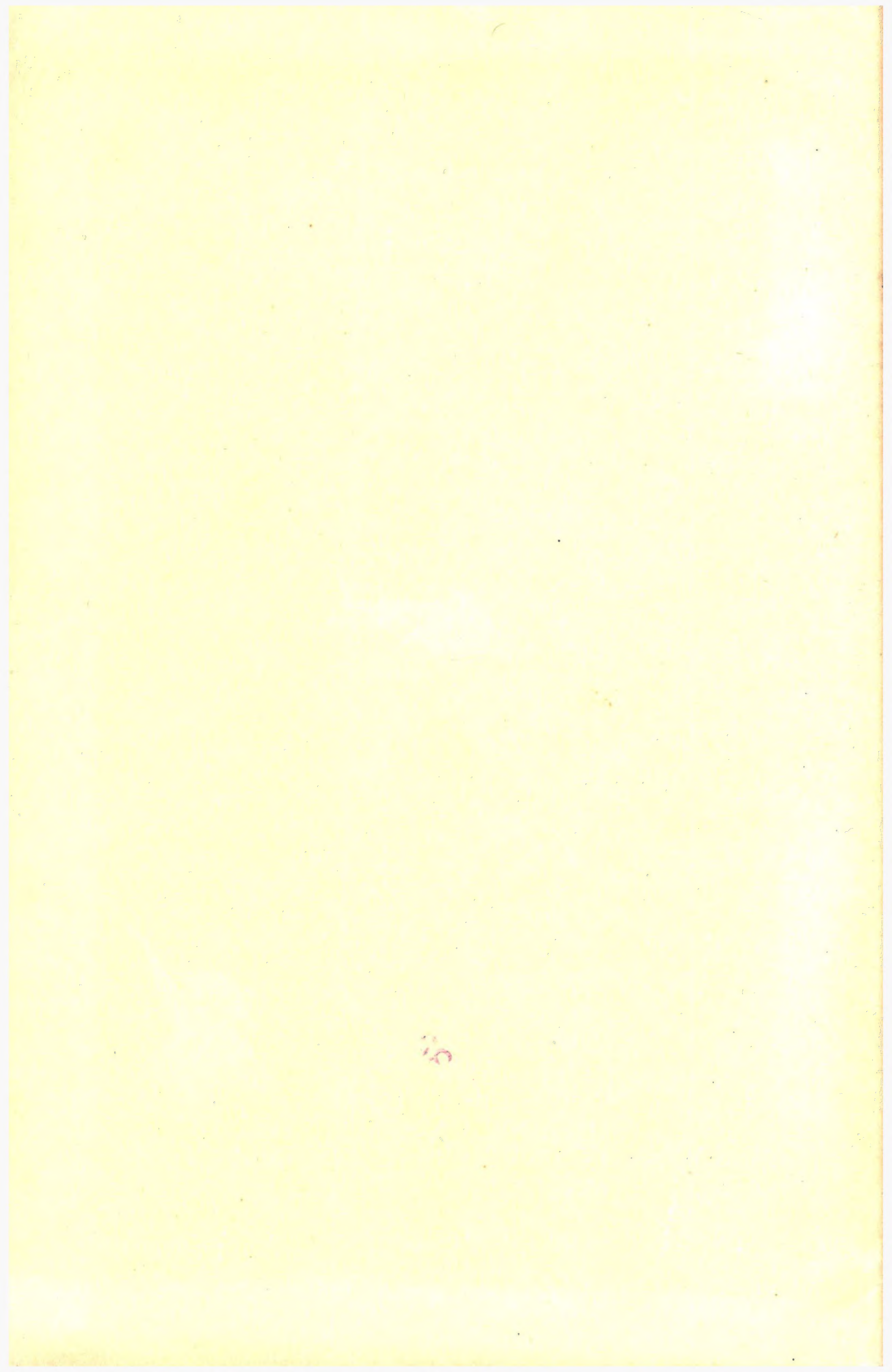
Шеин Георгий Георгиевич

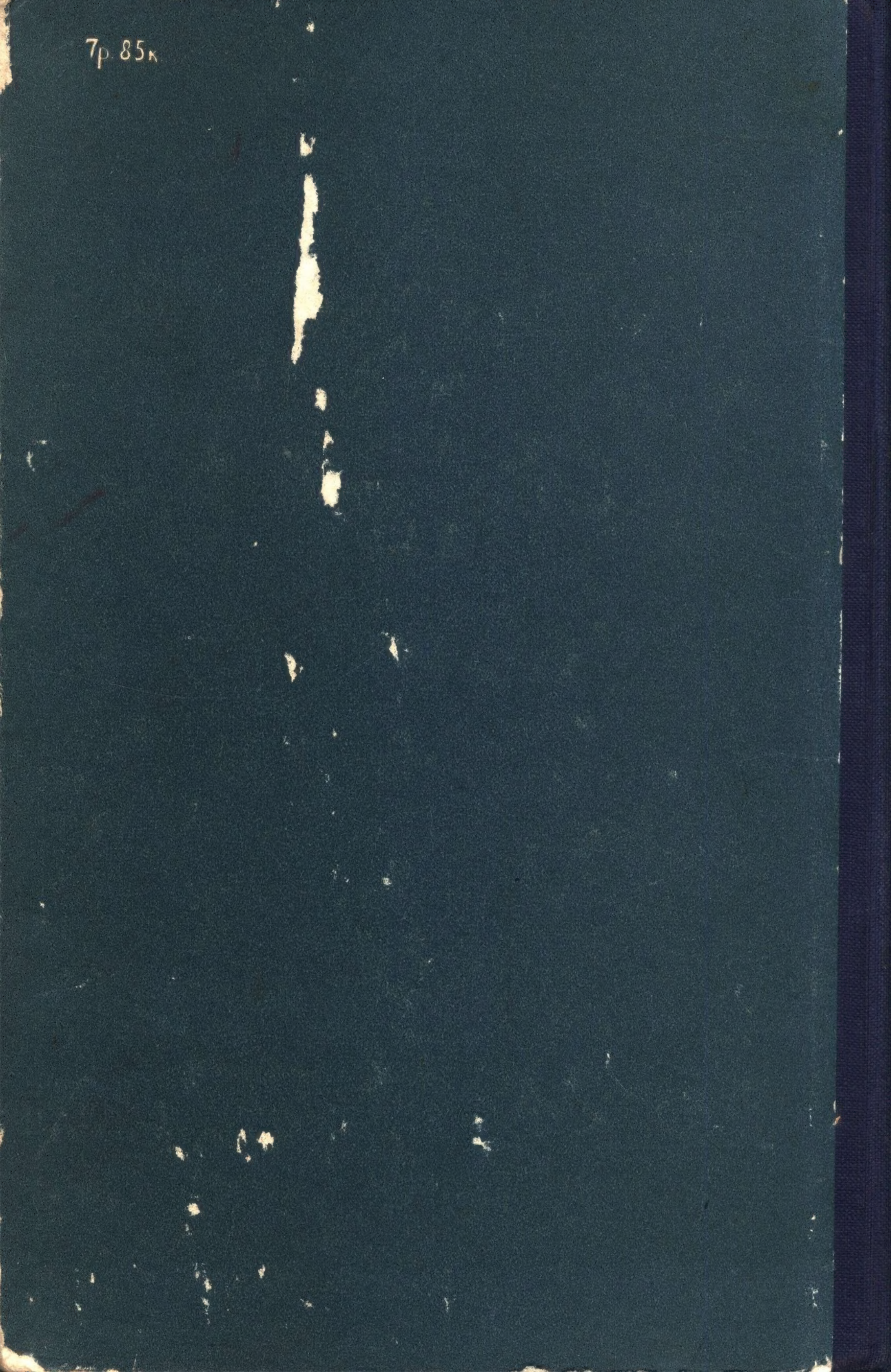
БУДНИ

Редактор *В. Сякин*
Переплет и титул *Б. Маркевича*
Фронтиспис и заставки *Ю. Реброва*
Худож. редактор *З. Ильинская*
Технич. редактор *Л. Волкова*

А04281 Подп. к печати 8/VI 1954 г.
Бумага $60\times92^1/_{16}$=11 бум. л.=22 печ. л.
+ 1 вкл. Уч.-изд. л. 20,4 Заказ 374
Тираж 90 000. Цена 7 р. 85 к.

Типография „Красное знамя"
изд-ва „Молодая гвардия".
Москва. Сущевская, 21.




7р. 85к


Г. ШЕИН
БУДНИ